

A woman with long blonde hair, wearing a sleeveless floral dress, stands in the center of a room. The walls are a vibrant green. To her right is a window with a white frame. To her left is a dark, leafless tree. The floor is dark, and several yellow and orange fruits are scattered on it. The text 'МАРЬЯНА РОМАНОВА' is written in white, uppercase letters in the upper right. The title 'Солнце в рукаве' is written in a stylized, handwritten font in the lower right.

МАРЬЯНА
РОМАНОВА

Солнце
в
РУКАВЕ



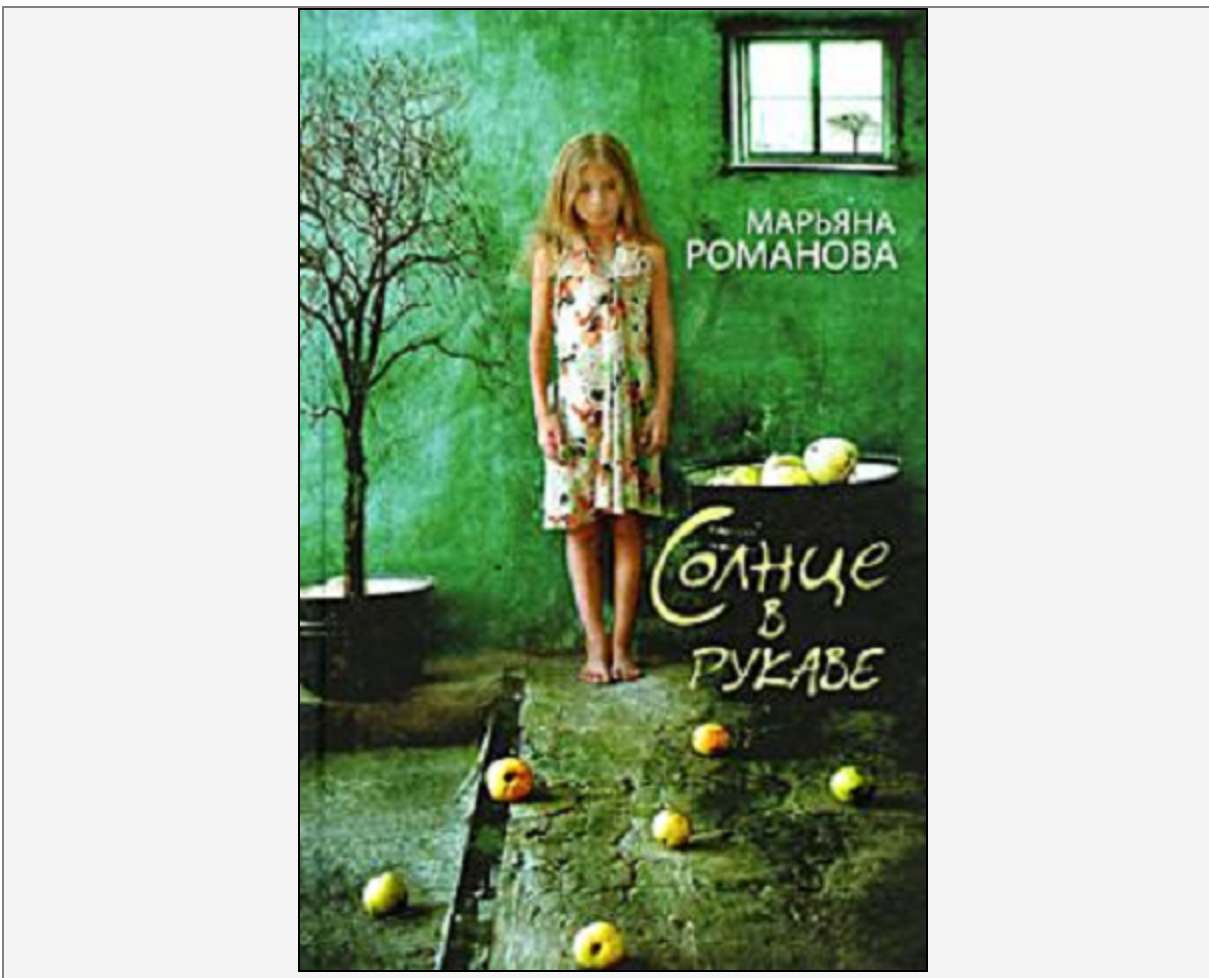
МАРЬЯНА
РОМАНОВА

Солнце
в
РУКАВЕ

- [Марьяна Романова](#)
 - [Солнце в рукаве](#)
 - [АННОТАЦИЯ](#)
 -
 -
 - [Марьяна Романова](#)
 - [Солнце в рукаве](#)
-

Марьяна Романова

Солнце в рукаве



Название: Солнце в рукаве

Автор: Марьяна Романова

Издательство: АСТ, Астрель

ISBN: 978-5-17-070703-4, 978-5-271-31505-3

Год издания: 2010

Страниц: 352

Формат: fb2

АННОТАЦИЯ

Проза Марьяны Романовой – глубокая, мелодичная и чувственная. Роман «Солнце в рукаве» – это психологическое расследование. С фрейдистской дотошностью автор пытается понять психологию ничтожества. Почему некоторые люди не смеют желать большего? Главная героиня, взрослая и неглупая горожанка, чувствует себя несчастной и потерявшейся. Она беременна, но вовсе не хочет детей. Она дважды выходила замуж за мужчин, которые ее не любили. Ей тридцать четыре, но она до сих пор боится своей бабушки. Зато по-детски влюблена в мать, истеричку и эгоистку. Она живет как будто бы по инерции и как будто бы чужую жизнь. Пока наконец не встречает человека, который помогает понять, почему все это с ней происходит. Это книга не о любви. В ней нет хэппиэнда. Но, приготовив концентрат горечи, автор все-таки оставляет послевкусие солнца.

Марьяна Романова

Солнце в рукаве

Вот так живешь себе, носишь каблуки и разноцветные платья, покупаешь абонемент в йога-клуб и появляешься там два раза в год, чтобы выпить ромашкового чаю. Спишь с эгоцентристами и невротиками, и еще иногда с богами, от которых пахнет ветром, солью и мускусом. И сначала они смотрят на тебя пристально, а в глазах их солнечные зайчики и поющие хором русалки, и они топят тебя, и учат летать и плакать, танцевать сальсу и скулить на обглоданную луну, но потом все равно оказываются эгоцентристами и невротиками. И их лица выцветают в твоих фотоальбомах, и иногда ты с хохотком рассказываешь о них подругам за бокалом вина – вот этот боялся щекотки, а этот потерялся в метро в Париже, а у этого на левой ягодице родинки в форме креста.

Ты любишь шоколад, картошку, все сыры, которые пахнут носками, мармелад из инжира, ванильную пастилу и густой какао, хотя понимаешь, что в твоём возрасте лучше любить сельдерей и солнечный свет.

Просыпаешься в полдень, заклеиваешь пятки пластырем – новые туфли опять жмут, – рисуешь стрелки на веках, чтобы быть похожей на Монику Белуччи, хотя объективно у тебя маленькая грудь, а нос великоват, и веснушки, и плоскостопие, и близорукость, и кариес, и аллергия на мед и лосось.

Ты печешь печенье с корицей и куришь кальян по вечерам, ради смеха заглядываешь на сайты знакомств, а однажды вообще обнаруживаешь там бывшего одноклассника под псевдонимом Мистер Двадцать Пять Сантиметров.

Весной у тебя лезут волосы, и ты пьешь витамины и заправляешь салаты оливковым маслом первого отжима.

А на ночь опять перечитываешь Бродского и плачешь, а потом съедаешь пакет шоколадных пряников и дважды пересматриваешь «Калигулу» – зачем?

Ты была влюблена четырежды и видела море двенадцать раз, а однажды пробовала рыбу-фугу, вот так-то. Мастурбировала теплой душевой струей, пила кефир, чтобы похудеть к купальному сезону,

вытравливала волосы пергидролью и целую неделю ходила блондинкой, тебе это не шло, писала стихи, хотя всегда говорила, что ненавидишь плохие стихи. Однажды переспала с иностранцем – то ли немец был, то ли бельгиец, познакомились в баре, сыграли две партии в бильярд, пили ром, потом он вроде бы пошел провожать тебя до такси, но как-то само собою получилось, что навязался в гости. Лопотал чего-то там, ты ни хера не поняла.

Раскладываешь пасьянсы, завариваешь пустырник, каждый август ловишь взглядом звездопад и загадываешь желания, преимущественно одни и те же, мечтаешь сделать татуировку, скорпиона там или веточку сакуры, но не хватает духу.

Пьешь красное полусухое, покупаешь путеводители по Рио и Амстердаму и вдумчиво изучаешь их от корки до корки, списываешь беспричинные слезы на предменструальный синдром, отчаянно торгуешься с таксистами, стараешься не есть полуфабрикатов; кто-то забывает у тебя книгу о хиромантии, и ты, нахмурившись, весь вечер разглядываешь ладошки.

Живешь себе, живешь, и вот однажды утром обнаруживаешь, что тебе – забавно, да? – тридцать четыре года.

А ты еще никогда не рожала детей и не ела омаров...

Когда Наде было десять, она жила с мамой в коммунальной квартире в Большом Палашевском, и был у них сосед по фамилии Либстер – долговязый, с лохматыми седыми бровями. На его двери висела картонка с фамилией – каждый день новая, потому что, вернувшись из школы, Надя красным карандашом исправляла «и» на «о», и получался Лобстер. Это казалось ей смешным. А Либстер залился – так яростно и ярко, что это усугубляло шутку. У него тряслись губы, краснело и даже будто бы отекало лицо, а глаза белели, и он гнался за ней по длинному коридору и кричал, что нынче же ночью проберется в ее комнату и садовыми ножницами под корень стрежет ей косы. Надя визжала, уворачивалась и ложилась спать в платке. Ни разу Либстеру не удалось ее поймать. Это продолжалось изо дня в день – красный карандаш, красное разъяренное лицо, красный платок на голове. Иногда ей снился Либстер с ножницами. Мама говорила: «Ну когда ты от него отвяжешься, ему почти семьдесят, он ветеран войны. В сорок четвертом ему чуть не ампутировали ногу. А ты знаешь, что его жена была балериной и она отравилась мышьяком еще при

Сталине? Он таким красивым в юности был, я видела фотографии...» Надя слушала рассеянно. Либстер был похож на циркуль – сухой, прямой, длинный, и у него была желтая, как у китайца, кожа, и пахло от него таблетками и ваксой, – он работал в обувной мастерской. Постепенно сосед привык: больше не краснел и не кричал, просто молча вешал новую табличку. Надин кураж тоже сошел на нет, и шалость превратилась в нечто почти машинальное, как чистка зубов.

Через два года Надя переехала в Коньково к бабушке, и больше Либстера никогда не видела. Но мама, которая иногда по-соседски с ним чаевничала, однажды вот что рассказала. Сначала Либстер радовался, что своенравная девчонка переехала и больше не будет его доставать. А однажды вернулся откуда-то, посмотрел на пожелтевшую истрепанную табличку, которую можно было никогда не менять, потому что ну зачем фамилия на двери, если живешь совсем-совсем один. И ему стало так тоскливо, как будто он вдохнул свинцовую пыль и теперь надо научиться жить с этой холодноватой тяжестью в желудке. Он уже сорок лет был один, но когда кто-то ежедневно писал «Лобстер» на его двери, это не так остро ощущалось. И он выпил водки, хотя ему это строго запрещено...

Гипертонический криз.

Тогда Надя впервые подумала о том, что у привязанности могут быть разные формы, и симбиоз – это тоже любовь отчасти.

Надя, Надежда – случайное имя, подвернувшееся под руку.

Всю жизнь Надя его ненавидела.

Ее собирались назвать Евой – не в честь первой женщины, а в честь отца, которого она ни разу в жизни не видела. Его звали Евгений. Ева Евгеньевна – звучит красиво. В юности мама увлекалась водным туризмом, посещала клуб, и однажды, в байдарочном походе по реке Катунь, встретила его, и он так красиво пел «Учкудук» у костра и так нежно на нее при этом смотрел, что через девять месяцев после той ночи родилась Надя. А когда мама была на шестом месяце беременности, Евгений утонул, и тело его нашли только через год. Зацепился спасательным жилетом за подводную корягу, такое случается.

Ей было пятнадцать, и она узнала, что история об утопленнике-отце – вымысел в готико-романтическом жанре. То есть отец существовал, и его действительно звали Евгений, он и в самом деле

пронзительно исполнял «Учкудук», а когда мама была на шестом месяце, эмигрировал в Израиль и там сразу же женился на стоматологине по имени Ада, и у них родился сын, на восемь месяцев младше Нади. Такое случается – причем гораздо чаще, чем несчастья в водном туризме. Мама видела фотографию этой Ады. Она оказалась сутулой приземистой брюнеткой с крупными зубами и тяжелым задком – тоже, можно сказать, коряга, только не подводная. Надя узнала случайно – был летний вечер, и к маме пришла подруга детства, они пили мускат с пахлавой, а Надя делала вид, что зубрит алгебру, а сама воровато покуривала в форточку. Сначала был шок. Когда тебе пятнадцать, почему-то ценишь лимонный привкус загадочного трагизма. Скончавшийся отец – это то, о чем она привыкла рассказывать в будничной и даже слегка насмешливой интонации, а все качали головой, вздыхали и причмокивали. И вот у нее ампутировали легенду, запросто, с пьяных глаз.

А потом она мамину интерпретацию поняла и даже приняла. Почему-то живо представила, как беременная мама близоруко щурится, рассматривая фотографии задастой стоматологини, а потом стоит у открытого окна, смотрит во двор и уныло думает: лучше бы ты утонул.

Тогда она впервые поняла, что в механизме любви есть некая пружина, способная привести всю страсть к знаменателю слепой агрессии.

Ей было семнадцать, и она влюбилась в подругу. Естественное желание эпатажа дамой пик легло на душную раннюю весну, и вот – пожалуйста. Аля была дочкой художников. Белая мышь, невысокая, уютная, с мягкими волосами, мягкой круглой грудью, мягким тихим голосом и мягким характером. Застенчивая, словно пастелью рисованная.

Они познакомились в одной из похожих на сквот мастерских. В девяностых годах их было много вокруг Бульварного кольца. Потом художников разогнали, мастерские отобрали, чудесная атмосфера испарилась, как лужа на солнце.

Вот что удивительно: Надя считала, что они с Алей одной крови – обе блеклые и немного никчемные. Однако у вялой тихони Али было уже три любовника к ее семнадцати годам, Надя же оставалась девственной.

А еще у Али был роман с известным художником, которому было уже под восемьдесят. Она подошла к нему на выставке за автографом, дрожащей рукой протянула какую-то смятую салфетку, краснела, заикалась взволнованно. А художник всю жизнь рисовал именно таких пастельных женщин, как она. То есть это не Аля была фамм фаталь (уговаривала себя Надя), просто художник всегда мечтал о такой, ангелоликой, чье застенчивое молчание можно принять за горьковатый трагический подтекст. И вот совпали карты. Художник был женат, у него были старые дети и взрослые внуки, но дважды в неделю Аля ночевала в его мастерской на Чистых прудах.

«Как ты можешь спать с таким стариком?» – спрашивала Надя с легким презрением, и если бы кто-то тогда сказал, что она завидует, она передернула бы плечами – так резко, что с них свалилась бы одна из любимых ею аляповатых шалей.

«У таких людей, как он, возраста нет, – отвечала Аля, – потому что за ними космос».

Надя жила у бабушки в Коньково, Аля – в огромной квартире на Сретенке. Ее родители были богемными шалопаями – не ложились раньше рассвета, охотно привечали чудаков, курили травку, хохотали, как подростки, просыпались к полудню и не обращали внимания на повзрослевшую дочь. В Алькином распоряжении была огромная комната с дубовым паркетом, антикварным пианино, картинами, ткаными скатертями и китайскими вазами. Надя любила ночевать у подруги.

И вот однажды – был май, пахло черемухой, они о чем-то смеялись, жгли ароматические свечи, разбавляли водку вишневым компотом и называли это «коктейль “Дача”», сплетничали, примеряли Алины платья... И как-то само собой вдруг получилось – то ли это было буддийской черепахой вынырнувшее на поверхность подсознание, то ли Надя просто перебрала с коктейлем «Дача» – но она вдруг качнулась в сторону Али, ткнулась губами в ее розовый рот, а та неожиданно ответила, подалась вперед, закрыла глаза... Они целовались отчаянно, будто обе об этом давно мечтали – хотя на самом деле конечно же нет... Потом молча уснули – Надя на своей кровати, Аля – почему-то в кресле. И на следующий день Аля позвонила и сказала, что больше не хочет ее, Надю, видеть.

Надя страдала почти до конца июля, а потом поехала с большой компанией в Крым, где и лишилась наконец чертовой девственности, и больше никогда об Але и о той майской ночи не вспоминала.

Тогда она впервые поняла, что желание невозможного – безусловный атрибут любви, но не ее причина.

Наде было тридцать четыре. Она сидела на неудобном высоком стуле, скрестив руки на коленях, и рассматривала искоса плакат, на котором была схематично изображена женская репродуктивная система. Матка похожа на неспелый резиновый баклажан, яичники – на поролоновые шнурки, а сама Надя была похожа на идиотку – во всяком случае, это читалось в глазах пожилого врача, хотя возможно, ни о чем подобном он и не думал.

Она, конечно, растерялась.

– Что значит, восемь недель? Это невозможно. Это гормональный сбой.

– Женщина, вы как акын. – Врач усмехнулся в седые усы. – Повторяю в сотый раз – это не ошибка. Беременность восемь недель.

Его спокойствие казалось оскорбительным.

Надя забежала в платную женскую консультацию на минутку, в обеденный перерыв. Хотела получить направление к эндокринологу – ее менструальный цикл вел себя как пьяная танцовщица, из тех, кого любил рисовать Тулуз-Лотрек. Белые ноги, взлетающие к потолку, мятые черные юбки, наглые рыжие волосы. То задержка, то месячные раз в две недели.

– Я не могу быть беременной. Я принимала таблетки. Я пустая.

– Что значит – пустая? – удивился врач. – Вам кто-то ставил бесплодие?

– Нет. По своей сути. Я бесплодна, но не физически. Всегда знала, что у меня не будет детей. Поэтому и предохранялась серьезно. Проверьте еще раз. Давайте я сдам кровь.

– Кровь сдавать все равно придется. А проверять смысла нет. Восемь недель.

– Даже в семнадцать лет я знала о предохранении больше, чем о сексе. Сейчас мне тридцать четыре. У меня никогда не было беременностей. Никогда, – упрямыствовала Надя. – Я не готова. Надо что-то делать. Я не готова совсем.

– Вам тридцать четыре. – Врач решил поиграть в психотерапевта. – Вы замужем?

– Да. Но это – другое.

– Как – другое?

– Мы не договаривались о детях. Мой муж сам как дитя.

– Если вас это утешит, я тоже никогда не хотел детей. Мне было сорок, когда родился сын. Случайно. И это было счастье.

– Я вас поздравляю, – мрачно сказала Надя. – Но я – не вы. Я не готова. Не могу.

Врач смотрел на нее молча. На столе, прямо перед ним, стояла сувенирная игрушка – стеклянный шар с собором Василия Блаженного. Встряхнешь – и над игрушечным собором закружатся белые блески – снежинки. Надя протянула руку, вопросительно посмотрев на врача. Тот ничего не сказал. Она потрясла шаром – энергично, как больной встряхивает градусником. И, глядя на медленное кружение ненастоящих снежинок, наконец заплакала.

От метро за ней увязался дворовый пес – лохматый, почесывающийся, с большой головой и мягкими ушами, уныло свисающими вдоль дворняжьей морды. Глаза у него были умные и лукавые – того и гляди подмигнет, точно добродушный уличный приставала, заигрывающий скорее по привычке, а не в расчете на успех. Надя останавливалась – останавливался и он. Смотрел на нее снизу вверх, чуть насмешливо. Пришлось притормозить у палатки с хот-догами и купить ему три.

– Кетчупом не поливайте.

Продавец хмуро смотрел, как женщина в дорогом немецком пуховике скармливает резиновые на вид сосиски засутившейся дворняге. Что-то пробормотал в несвежие усы на гортанном своем языке.

Надя положила последний хот-дог на асфальт, перед носом пса и без оглядки припустила через дворы. Она не умела оставлять за спиной, с детства. Ни людей, ни проблемы. Все пережитое не отпускалось на волю, а варилось в Наде, как в огромном переполненном котле. Иных людей она десятки лет не видела, но ее внутренний голос не принимал это обстоятельство в расчет и продолжал вести с ними свои собственные, преимущественно болезненные диалоги.

Она прекрасно помнила девочку по имени Леля, которая в старшей группе детского сада нарочно сломала ее куклу. Саму куклу было не то чтобы очень жаль – Надя предусмотрительно не приносила в детский сад любимые игрушки. Но самым обидным было вот это «нарочно» – с прохладцей в насмешливом взгляде девочка открутила кукле ногу, а потом детскими пластмассовыми ножницами отрезала синтетическую косу. А все потому, что неделей раньше какой-то мальчик, лицо которого давно воспринималось расплывчатым серым пятном, подошел к Наде и угрюмо сказал: «Давай дружить». Мальчик тот был нелюдимым и не улыбочивым, к тому же имел привычку ковырять в носу и меланхолично поедать извлеченные козявки. Это «давай дружить» воспринималось почти оскорблением – в детской иерархии Надя занимала не последнее место, она умела читать по слогам, знала несколько четверостиший Луки Мудищева и декламировала их всем желающим застенчивым шепотом. Можно ли сравнить – декламатор матерных стишков и убогий поедатель козявок?! Когда он так сказал, Надя растерялась и просто отошла, а через два дня вредная Леля (которая не то что срамного Мудищева, Агнию Барто не могла рассказать, не запнувшись) сказала, сощурившись: «Значит, тебе дружить предложили?» – и напала на куклу. Все это случилось за десять миллионов лет до нашей эры. Теперь Наде тридцать четыре, она взрослый человек, и все равно, когда не может уснуть, время от времени мысленно обращается к Леле: «Ну зачем ты это сделала? Неужели он тебе нравился? А даже если и так, неужели не видела, что мне было на него наплевать?!»

Поговорит так сама с собою, а потом вспоминает, что и Леля-то давно не девочка, наверняка она курит и толстая, возможно, ей изменяет муж, и она гоняется за его тонконогими любовницами, чтобы поломать их, как ту куклу. В этом месте Надя, хохотнув, успокаивалась.

Еще она помнила учителя физкультуры, который сказал: «Сурова, ты как робот, у которого случилось короткое замыкание!», когда она собиралась прыгнуть через «козла», но в последний момент испугалась и остановилась, неловко растопырив руки. Весь класс смеялся, а Надя стояла пунцовая. Ей было девять лет. В девять хочется быть принцессой, а не роботом. До сих пор при этом воспоминании у Нади к щекам приливает горячая кровь. «Как вы могли так со мною

поступить, Евгений Борисович? Вы же взрослый человек, вам было под пятьдесят. Как стыдно бы вам было, если бы вы узнали, что еще несколько месяцев вредные одноклассники при моем появлении изображали брейк-данс».

Она помнила некого Петю Сажина – им было по двенадцать, и на школьном дворе, за топодем, она рискнула его поцеловать. Потому что был май, и нос щекотали солнечные зайчики, и впереди было лето, и они сбежали с урока истории. А до того несколько месяцев она считала себя в Петю Сажина влюбленной, и он, покорно принимая такой расклад, носил за ней портфель. Поцелуй был по-птичьему быстрым, и Надино сердце тоже стало похожим на птицу – дурашливо веселую, кувыркающуюся в небе, роняющую невесомые перья. Петя Сажин улыбнулся, а потом вернулся в класс и рассказал всем, что Сурова – дура, и больше он к ней и на сто шагов не подойдет. Это было непонятно и обидно.

В воспоминаниях этих не было ни злости, ни жажды расквитаться – только странное желание переубедить обидчика. Это был своеобразный тренинг – прокрутив очередную сценку, Надя представляла обращенное к ней улыбающееся лицо. «Хорошо, что ты мне об этом сказала. Как же я был не прав».

Эта воображаемая чужая улыбка успокаивала – правда, ненадолго.

Она помнила всех – обидевших подруг, не перезвонивших мужчин, бросивших любовников, даже нахамивших продавцов. Помнила и тех, кого обидела сама, – воображаемые разговоры с этими были особенно неприятными, после этого она долго не могла уснуть и просыпалась разбитой.

Надя бежала от собаки, которая в ее воображении взывала к внутреннему голосу забрать ее домой, с мороза, а тому приходилось неловко отнекиваться, и наблюдать за этой придуманной мизансценой было противно.

Куртка запахнулась, холодный воздух обжигал горло, пряди волос выбились из-под шарфа, повязанного на голове. Только возле подъезда, убедившись, что собака за ней больше не плетется, Надя замедлила шаг.

Из подъезда пьяной стрекозой выпорхнула Надина мать – блестящие черносливины глаз, завитые пегие кудри, платье в цветах,

румянец, улыбка. Мать всегда одевалась не по погоде. Самозванным солнцем она была, которому все нипочем.

У Нади – удобные немецкие ботинки, немного стоптанные – да, некрасиво, но все-таки дождь, да и грязь московских окраин. У матери – желтые туфли с перепонкой, будто она летает над асфальтом. У Нади обычное для уставшего жителя мегаполиса выражение лица – рассеянная неприветливость. Мать – сияет, как начищенный самовар, словно не верит в конечность энергии и готова тратить ее по-мотовски, на кого попало.

Мама, мама... Цветная карусель бестолковых свиданий, порхание с одного цветка-пустышки на другой, лихорадочный полет над пыльным городом. Сколько у нее было мужчин – Надя не помнила, хотя были времена, когда она называла каждого из них отцом. Разумеется, не по своей воле.

Наде было восемь, и маме ее хотелось, чтобы она называла каждого задержавшегося в их доме мужчину отцом. Ей казалось, так правильно, для всех.

У Нади появлялся берег на горизонте, а когда берег есть, легче плыть. Можно говорить подругам: «Мы с отцом были в субботу на оптовой ярмарке» или: «Отец починил мой старый велосипед». Казалось бы, какая разница, кто именно чинил побренькивающий «Орленок» – отец или сердобольный Арам Арамович из металлоремонта: когда-то у него был с Надиной мамой роман-однодневка, он сам говорил, что таких роскошных женщин в его жизни не встречалось, и охотно (а главное – бесплатно) брался за любую предлагаемую Тamarой Ивановной работу. Но для детей восьмидесятых наличие отца все-таки играло роль.

Мужчине вручался козырной туз – его признавали вожаком маленькой гордой стаи.

А у самой мамы появлялась волшебная иллюзия устаканенности. Почти чеховская идиллия – семья пьет чай с вишневым вареньем в нежном свете замаскированной старомодным абажуром кухонной лампочки. Патриархальная, картинная семья, как из рекламного ролика фруктового йогурта, – только настоящая, а не придуманная маркетологами.

Только вот мужчины, все эти «отцы», которым Надя в какой-то момент даже потеряла счет, были сезонными. «Летнего» отца –

добродушного доморощенного барда, который научил Надю брать аккорды и пообещал показать грозную и прекрасную реку Белая, сменил «осенний» – мрачноватый алкоголик, холодный, как месяц, в котором он появился. Его участие в Надиной жизни ограничивалось ежевечерним: «Девка, ты бы ложила пораньше. Мы с мамкой твоей люди взрослые, нам нужна личная жизнь. А при тебе как-то неудобно». «Осенний» отец любил водку и песни Высоцкого. Однажды утром Надя нашла маму плачущей, под ее глазом набухал фиолетовый синяк. Но именно с «осенним» Тамара Ивановна казалась особенно счастливой – улыбалась загадочно и порхала, как будто бы из ее лопаток росли невидимые стрекозиные крылья.

«Зимний» отец был не то аспирантом, не то доцентом – у него была свалявшаяся борода, немодные очки и поношенный рыжий портфель. Он говорил: «Доброе утро, сударыни» или «Извольте ли молока в чай?» и считал, что старомодные словесные реверансы подчеркивают его интеллигентность. На самом же деле смотрелось это – восьмилетняя Надя, конечно, не могла подобрать точного определения, но спустя много лет нащупала правильное слово, – мудаковато.

«Весенний» отец был младше мамы на семь лет. Ясноглазый мальчишка с веснушками, тряпочной сумкой и сквозняками в голове. Он громко и заразительно смеялся, складывал для Нади бумажных голубей, курил на подоконнике, по-девичьи болтая ногами. Он был веселым и добрым, как ретривер. Надя успела к нему привязаться – пожалуй, к единственному из всей ярмарочной вереницы сезонных отцов. Он был открытым и добрым, с удовольствием помогал ей с уроками, а однажды сварил для нее густой и пряный шоколад, который Надя ела столовой ложкой, жмурясь от удовольствия. У них были планы на лето: всем вместе рвануть на крымский мыс Тарханкут в его стареньком «Москвиче».

Но в середине мая он неожиданно исчез – просто однажды вечером не пришел к ужину, и больше они его никогда не видели. Тамара Ивановна пила валериановые капли и обзванивала морги, а притихшая Надя вдруг заметила, что пропала серебряная сахарница. Валериановые капли сменила водка. Успокоившись, Тамара Ивановна провела инвентаризацию. Отсутствовали: денежная заначка, несколько золотых колец и недорогой, но очень красивый бобровый полушубок.

Надя проплакала всю ночь: впервые в жизни она почувствовала себя брошенной.

Мама же быстро успокоилась и нашла какого-то Ивана Ивановича, который на четвертый день знакомства сказал, что бобер – некомильфо, и купил ей норку.

Не успев уклониться от порывистого поцелуя, Надя ощутила легкое ментоловое дыхание матери, потом влагу на носу, а потом и химический запах стойкой губной помады.

– Ребенок, ты что-то исхудал. Пойдем, что ли, перекусим куда-нибудь? Посидим, поболтаем...

– Я обещала бабушке. Фильмы ей везу. Акунина нового. Абрикосы.

– Да нужны ей твои абрикосы, – скривилась мать. – Я в прошлый раз йогурты привезла, так все стоят, стухшие.

– Как она там?

– Все, как обычно, – бухтит, хамит, воюет. – Мать смешно сморщила перепудренный нос.

Надиной бабушке было за восемьдесят, и она всегда была невозмутимым баобабом. То есть Надя никогда не бывала в странах, где растут баобабы, и едва ли знала наверняка, как они выглядят, но почему-то они представлялись негнибаемыми вековыми деревьями с толстыми стволами, которые мрачно подставляют спины саванным ветрам и переживут всех, их воспевающих. У бабушки был гренадерский рост, подбородок, как у звезд американских боевиков, прямая спина и зычный басок. Характер соответствовал внешности – она всегда была единственной правой, единственным неоспоримым авторитетом, и горе тому, кто смел не то чтобы спорить (на такое никто из ее окружения не отважился бы), но даже бровью повести таким образом, что это могло быть истолковано как молчаливый бунт.

Все изменилось прошлой осенью. Однажды утром бабушка привычно вышла в магазин за маковым рулетом к завтраку и там упала, как робот, в сердце которого произошло короткое замыкание. Прохожие вызвали «скорую», и сначала все думали, что это давление или сосуды, но пришедшая в себя бабушка-баобаб вспомнила, что последние недели ее мучили боли в животе, и заставила снулых врачей взять все возможные анализы. Тогда и констатировали запущенный рак желудка. Бабушка подписала отказ от химиотерапии и операции и

отправилась домой умирать. Врачи дали ей три месяца, не больше. И за эти месяцы бабушка сдулась, как забытый после вечеринки воздушный шарик, ее голос потерял сочность, лицо совсем сморщилось и посерело, ей стало трудно ходить и больно дышать. Однако жизнь почему-то цеплялась за ее похожее на мумию тело и никак не хотела дотлевать. Прошло не три, а целых восемь месяцев, а баобаб все подставлял спину саванным ветрам, мрачно невозмутимый.

Надя наняла для бабушки сиделку – татарскую женщину по имени Алия. Та поселилась в смежной комнатке, и за небольшую плату дочиста, как нравилось бабушке, отмывала квартиру, готовила протертые супы, следила за тем, чтобы лекарства принимались по расписанию, созванивалась с врачами и поддерживала бабушку под локоть, когда той хотелось прогуляться по коридору. Бабушка Алию ненавидела – впрочем, это было правилом, а не исключением. Той было все равно – к своим неполным сорока она успела похоронить двух мужей и сына, пережитое горе сделало ее панцирь стальным. Три раза в неделю бабушку навещала Надя, и еще три раза – ее мать.

– Ладно, мам, пойду я. – Надя поежилась на ветру. – Не хочу потом в час пик добираться до дома.

– Ну, смотри сама, – легко согласилась мать. – Ты бы забежала ко мне на недельке. Заказали бы суши, поболтали бы.

В переводе с маминого диалекта «поболтать» означало послушать, как она, мама, будет в инфантильной щебечущей интонации обсуждать мельчайшие подробности своей личной жизни. Мама любила быть как на ладони, и каждый взгляд, брошенный на нее случайным прохожим, обмусоливался с въедливостью психотерапевта.

– Конечно, заскочу, – пообещала Надя.

Поговорила с бабушкой – как будто ножом наелась. Смертельный номер – в который раз на арене цирка Надежда Сурова.

– Что-то ты распустилась, располнела, обабилась!

Перочинный ножик, тонкий и легкий, заветный секрет мальчишеских карманов, исчез в глотке, озорно сверкнув в свете софитов.

Па-ба-ба-бам, барабанная дробь, ассистент в расшитом камнями трико с лукавым видом извлек из реквизитного чемоданчика тесак для рубки мяса. Бабушкина голова, маленькая и желтая, утопала в

подушке. Глаза блестели. Надя отвела взгляд и повертела в руках апельсин.

– Я бы не поверила, что тебе всего тридцать четыре. В твои годы иные девочками смотрятся, а ты... И такие мешки под глазами. Пьешь, что ли?

Стальное лезвие плавно заскользило по языку, зрители перестали шуршать конфетными фантиками и потрясенно умолкли. Болезнь сделала бабушку похожей на персонажа кукольного театра. Невесомое тело, слишком тонкая шея, даже голова, казалось, усохла, а лицо потемнело, как печеное яблочко.

– Пьешь, я и так знаю. С Данилой своим и пьешь. Готова поспорить, он еще тебе и изменяет. Во-первых, по нему сразу видно, что кобель, во-вторых, я и сама бы от тебя загуляла, будь я мужиком.

Изогнутая турецкая сабля, антиквариат, тусклая сталь с россыпью ржавых пятнышек-веснушек. Как же она поместится в хрупкой циркачке, такая огромная? Зрители вытянули шеи. А какой-то толстяк, утерев потный лоб рукавом измятой рубахи, брезгливо шепнул: «Это же подстава... неужели никто не видит?.. Вас же дурят! Это не по-настоящему, нет!»

Но это все по-настоящему. Желтая слабая бабушка внимательно рассматривала притихшую Надю. Желтая слабая бабушка – но она сильнее, потому что Надя никогда не смела возразить, молчала, как загипнотизированная. Почистить апельсин? Бабушка скривила сухой рот. Она не хочет фруктов. Не хочет смотреть «Семнадцать мгновений весны» – а раньше любила, и Надя специально принесла диск. Не хочет разгадывать сканворды.

– И почему ты такая... Всю душу в тебя вложила, а ты... Непутевая. Продавщица.

...Ей почти сорок, и она никто.

Наде есть что возразить – это не навсегда, так получилось, и зарплата очень даже высокая, это же элитный салон, туда не так просто было устроиться, а у одной из Надиных сменщиц – высшее филологическое образование. И кто виноват, что она, Надя, которая мечтала поступать в текстильный, с детства собирала лоскутки и ловко обшивала кукол, уже десять лет не покупает платья – все сама, по найденным в Сети выкройкам. Кто помешал ей поступить – уж не бабушка ли? Не бабушка ли, в те годы еще сильная, полная, румяная, с

сочным баском, орала, что такие «модельеры», как Надя, заканчивают свою жизнь на помойке? Что умение прилежно сшить платье по выкройке еще не означает талант?

Надя возражала, но молча и обращаясь к той бабушке, сильной и сочной, бабушке из прошлого. А разве есть смысл выплевывать обидные фразы в это пергаментное прозрачное лицо?

– Приходишь, сидишь тут, как божий укор. Мне укор. Мол, на, посмотри под занавес жизни, кого вырастила. На что время растратила. Расплывшаяся неудачница, пустое место, ноль...

Бабушка отвернулась к стене и заплакала. Слез почти нет, организм обезвожен. Но и так понятно, что заплакала, – по выражению лица. Без слез – страшнее даже.

Бабушка уставилась в стену, Надя – в окно.

Овации, барабанная дробь, артистка ушла за кулисы, с пафосом раскланявшись. Сняла пыльный потный костюм, хозяйственным мылом смыла грим, со всеми простилась, привычно выблевала в раковину окровавленные внутренности, утерла рот и ушла домой, сжимая в кулаке записку: «Купить бабушке творог и портулак».

Позвонила подруге, Марианне. Та недавно делала аборт от женатого любовника. Получилось в духе бульварного романа: сначала она швейной иглой прокалывала кондомы прямо через упаковку, а потом рыдала на Надиной кухне, запивая водку валериановыми каплями.

– Он сказал, что это все... Что он предупреждал – никакой ответственности!

– Но он правда же предупреждал, – вяло возражала Надя.

– Он же говорил, что любит! – Марианна заплаканно промаргивалась и просила еще водки.

– Когда он это говорил? Когда ты разрешала кончить тебе в рот?

– Я была уверена, что все изменится, как только он узнает о маленьком. – Она скривила ярко накрашенный рот и погладила себя по животу.

Короткая кофточка, прокачанный смуглый пресс, акриловые ногти. Бедная Марианна.

– Что он только о ней не рассказывал. О жене. И ноги не бреет, и пахнет от нее детской отрыжкой, и смотрит «Дом-2»... Какие же мужики все-таки беспринципные.

– Твой еще не самый. Раз не ушел к хорошенькой любовнице от... Сколько их у него? Детей? Двое? Трое?

– Двое. Восемь месяцев и шесть лет. А жизнь – дерьмо.

А потом Марианна протрезвела, выпалась, сделала мелирование и вакуумный аборт и улетела зализывать раны на Кипр, где в пляжном баре познакомилась с кем-то, предсказуемо женатым и детным. Есть женщины, которые всегда почему-то влюбляются в женатых. То ли тайные мазохистки, подсевшие на странный сорт кайфа – когда только что целовавший их мужчина заискивающе лепечет в трубку мобильного: «Я был на совещании, солнышко, поэтому и отключал телефон... По дороге могу заехать в супермаркет, что тебе взять, мороженого?» Может быть, они слушают это и чувствуют себя особенными, вынужденными хранительницами опасного секрета. То ли в глубине души они ненавидят самих себя. И чтобы почувствовать себя полноценными, им необходимо воровать чужое. Сравнить себя с кем-то, кто смотрит «Дом-2» и пахнет детской отрыжкой, и превосходство почувствовать.

Прошло два месяца, и Марианна уже азартно прокалывала презервативы нового любовника. И подсыпала ему в коньяк труху из состриженных ногтей, приготовленную по рецепту из трехтомника «Приворотные заговоры мира».

Иногда Надя думала: а хорошо, наверное, быть такой инфантильной, как Марианна. Она идет по жизни легко, не сомневаясь, по-детски требуя. Истоиво радуется сбывшимся желаниям и быстро забывает о неудачах.

Однако первой, кому позвонила Надя, узнав о беременности, была именно Марианна.

– Ничего страшного. – Она сказала именно то, что Надя желала услышать, именно теми словами. – Я о тебе позабочусь. Знаю отличную клинику и отличного врача, будешь как новенькая.

– Значит, ты думаешь...

– А как иначе? – перебила Марианна. – Или ты хотела его оставить?

Слово «его» она произнесла с презрительным недоумением, словно речь шла о кариозном зубе.

– Не знаю... С одной стороны, я не готова. А Данила – тем более. С другой – мне уже тридцать четыре. А он... Я сомневаюсь, что он

когда-нибудь повзрослеет.

К Надиному мужу Даниле менее всего подходило определение «муж». Муж – это нечто из области уютно пропахшего борщами мещанства. Творожный пудинг на завтрак, рубашки благоухают разогретым утюгом и лимонным отбеливателем, дети румяны и не ковыряются в носу, а на устремленной к свежепобеленному потолку елочной верхушке – хрустальная звезда.

Отутюженные рубашки, ха.

Данила, не будучи истинным бунтарем или бэдбоем, любил выглядеть так, что люди при его появлении... ну не то чтобы шарахались, но все-таки на всякий случай отводили взгляд. А то мало ли что.

Бритый череп – только по центру выкрашенная Надиной краской «Огненный махаон» дорожка, словно официальная граница между мозговыми полушариями. В брови – шпажка, в ноздре – кольцо, в языке поблескивает фальшивый бриллиант. Все руки – от кистей до предплечий – в татуировках. Нечто брутально-китайское – драконы, мечи, боевые монахи. Темные глаза мутновато смотрят на мир из под буйно разросшихся бровей. Неизменная кожаная куртка-косуха, дешевые толстовки с изображением солистов «Manovar» и «KISS», утюгоподобные ботинки на толстой рифленой подошве.

Они познакомились пять лет назад, на Воробьевых. Непромытый панк на раздолбанном байке и девушка в белом сарафане и алых туфлях.

Конечно, была страсть.

Собственно, страсть не просто «была», она стала первым кирпичиком их отношений, а впоследствии – единственным связующим звеном. Что-то изменилось в ней, Наде, в ту ночь, когда она переступила порог его захламленной квартиры.

Произошло это часа через полтора после того, как Данила сфокусировал свой нарочито мутноватый взгляд на ее лице.

Надя была не из тех отчаянных девиц, что вооружаются сомнительными феминистскими лозунгами (почерпнутыми главным образом из сериала «Секс в большом городе» да на женских сетевых форумах), встречают каждое воскресное утро в постели нового мужчины, с которым познакомились в баре накануне вечером, и

воспринимают случайный секс чем-то вроде эквивалента походу в спортзал – и то, и другое полезно для здоровья.

Первый ее мужчина был случайностью. Бархатные крымские ночи, помноженные на домашнее крепленое вино, в итоге дали ураганный ветер в голове, – ветер этот подхватил Надю, как смятый бумажный стаканчик, весело закружил и уверенно понес в сторону какого-то сильно загоревшего отдыхающего, которого спустя несколько месяцев она и вспомнить не могла. Это был Надин протест миру, в который ее искусственно поселила бабушка. Миру, где девушки ходили, потупив взор и распрямив спину, крахмалили воротнички строгих блуз, говорили тихо и строго.

Сначала было ощущение шалости – у нее от волнения дрожали руки и пылали щеки. Он тыкался в ее шею носом, почему-то влажным. Как большой дружелюбный щенок. Надя еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Потом они поделили остаток ночи поровну. Ему – безмятежный сон, в который он упал как в глубокий черный омут. Ей – серовато-рассветная пустота. Надя сидела на подоконнике в чужом номере старенького пансионата, смотрела на очертания спящего чужого мужчины, и ей было не то чтобы горько, но как-то не по себе. В половине шестого утра она отыскала под кроватью босоножки и тихо ушла, и больше никогда того мужчину не видела. Собственно, секс ей и не запомнился – осталось ощущение чего-то смутно-сладкого и неприятно липкого.

Потом был жених – тихий мальчик с нервно гуляющим кадыком и пробивающимися рыжеватыми усиками, неуверенными, нежными, как щеточка для пудры. Домашний, серьезный, младше Нади на год.

Одобренный бабушкой.

Однажды (к тому моменту у них было восемь свиданий – консерватория, кафе-мороженое, прогулка в парке, три театральных премьеры, балет в Большом, выставка современной живописи) Надя осталась у него ночевать.

Он угощал портвейном и почему-то паровыми котлетами, Надя же нервно ерзала на стуле. Ей кусок в горло не лез. Она знала, что должно произойти, и ждала этого. Не то чтобы желала, да и разве могли его усики и котлеты разжечь животную страсть. Скорее, было любопытно повторить то, крымское, почти забытое.

Надя делала вид, что пьет портвейн, а сама посматривала на часы и нервно болтала ногой под столом.

Он тоже волновался, анекдоты какие-то рассказывал, она слушала рассеянно, и он смеялся за двоих, и смех его дрожал, как молочное желе. А потом вдруг сорвался с места и прыгнул на нее, как молодой козел. От него пахло вареной курицей и немного потом, костлявое колено больно упиралось ей в бедро. Он раздел Надю до трусов, а потом вдруг убежал в ванную, зажав рот обеими ладонями. То ли портвейна перепил, то ли нервничал сильнее, чем ей казалось.

«Что я тут делаю? – думала Надя. – Что я тут делаю?» Она не оделась, так и сидела в одних трусах на шаткой кухонной табуреточке.

А потом он почистил зубы, выпил сладкого крепкого чаю, и все наконец произошло. Было неудобно и липко, а утром отчего-то стыдно смотреть ему в лицо. Зато мальчик счастливо заглядывал ей в глаза и даже пытался строить планы, за которые его почему-то убить хотелось. Как наступит лето, и они поедут вдвоем в Абхазию. Как он закончит учиться, и они смогут снять квартиру. В конце концов, Надя не выдержала, соврала, что у нее болит живот, и ушла домой, а потом подкинула в его почтовый ящик короткое извинительное письмо. Потом ее бабушке звонила мама мальчика. Называла Надю легкомысленной стервой и беспринципной хищницей. Это было приятно – наверное, потому что в глубине души она всегда чувствовала себя плюшевой овцой.

После был муж. Ее первый муж и первый мужчина, в которого она влюбилась. Егор. Все были против. Бабушка – предсказуемо, мама – вяловато, почти на грани равнодушия.

На Егора она смотрела как на чудотворную икону. Между ними всегда чувствовалась дистанция. Они делили кров и хлеб, но так и не стали по-настоящему близки. Не было животной страсти – только ее нежное обожание.

С Данилой все было по-другому.

Она и сейчас, когда столько лет прошло, не смогла бы объяснить внятно, что именно привлекло ее в Даниле, там, на Воробьевых горах, что зацепило. Почему она не шарахнулась в сторону, когда такой человек подошел к ней с нагловатым: «Привет! Хочешь пива?» Почему разговор получился таким легким – они болтали и смеялись, пока Надя не продрогла окончательно.

У них не было ничего общего. Тихая воспитанная девочка – платья пастельных оттенков, томик Тургенева под подушкой и смутные мечты. Надя всегда была задумчивой тихой гуманитарной девочкой. А Данила даже «Мастера и Маргариту» не читал. Да он вообще ничего не читал, кроме субботнего номера газеты «Спорт-экспресс». Не знал, кто такие Бродский, Джармуш, Ханеке, Мацуев, Хлебников. Ничем, кроме байков и компьютерных игр, не интересовался. Иногда любил сходить в кино – на блокбастер с погонями, драками и перестрелками.

Впрочем, эта невероятная пустота внутри не мешала ему производить впечатление человека обаятельного. Мрачной была лишь внешняя оболочка – те, кто знал Данилу ближе, считали его человеком открытым и отзывчивым. Он умел так улыбнуться, что все улыбались в ответ, и так рассмеяться, что все смеялись.

Смотровая площадка на Воробьевых облюбована ветрами и сквозняками, они вольготно гуляют, спутываясь в клубки, играя в чехарду. Куртку Данила ей не предложил, но и это Надю отчего-то не смутило. А ведь в бабушкиной системе ценностей, которая давно стала частью Надиного ДНК, мужчина в первую очередь должен был быть «джентльменом».

В ту ночь они ни о чем особенном не говорили – ни открытий, ни откровений.

Жил он у черта на куличках, в одном из похожих друг на друга окраинных районов – серые блочные пятиэтажки, скучные скверы, алкоголики у круглосуточных продуктовых палаток.

– А байк не уведут? – спросила Надя, когда он припарковался у подъезда.

Данила посмотрел так, что она поняла и без слов, – у *него* не уведут.

В прихожей он ее поцеловал. Для него это, видимо, было естественно – поцеловать пришедшую в гости девушку. Для Нади – приключение.

Целоваться с ним было... как падать в пропасть американской горки. Пропадь не настоящая, поэтому весело так, что визжать хочется. Но падаешь-то и в самом деле, и адреналин скручивает кишки в морской узел.

Данила теснил ее куда-то – в одну из комнат. В какой-то момент мягко подтолкнул ладонью в грудь, и с неловким «ой» она упала на диван.

И вот там, на продавленном, брюзгливо поскрипывающем диване, и случилось чудо. Как будто бы стокрылый огнедышащий дракон проснулся у нее в животе, расправил дрожащие перепончатые крылья, разросся в ширину и заполнил собою все ее существо. Так, что она и сама на несколько мгновений стала раскинувшим крылья драконом. Надя не собиралась оставаться ночевать у полужнакомого мужчины, но как-то незаметно провалилась в сон. На его плече уснула, как будто бы была героиней романтического кино.

Только утром Надя увидела, в какой грязи и нарочитой нищете живет тот, кто сумел разбудить в ней горячего медового дракона.

В комнате было довольно темно – солнечный свет, прилипнув с любопытством к годами не мывшемуся окну, не без сожаления улетал обратно. Окно обрамляли занавесочки, которые выглядели скорее издевкой, нежели предметом интерьера: полуистлевшие, выгоревшие, сероватые от пыли, кое-где прожженные сигаретами. На подоконнике, с которого давно облупилась краска, стояло треснувшее блюдечко – маргинальная импровизация на тему пепельницы. Мебели было мало – вся старая и разномастная. Полуразвалившаяся «стенка» – на пыльных полках разноцветные кучи непредсказуемого хлама – от треснувших мотоциклетных шлемов и обрезков проводов до старых номеров журнала «Крокодил».

Надя обернулась, бросила взгляд на кровать, на которой они провели ночь, и ей стало дурно.

Бабушка была из тех старомодных хозяйшек, что не ленились крахмалить простыни. Постельное белье менялось строго раз в неделю, перед сном и Надя, и бабушка непременно принимали душ, всегда, какой бы ни была степень усталости. «Грязное» белье было на самом деле вовсе не грязным, и пахло от него Надиным ванильным лосьоном для тела.

Постель Данилы напоминала лежбище бомжей. Продранное одеяло, из которого то тут, то там выглядывали комья желтоватой ваты, серая простынка, подушка без наволочки, вся в каких-то пятнах.

Надю затошнило.

В ванной – крошечной, с облупившейся плиткой – она умыла лицо прохладной водой. Отметила, что зубная щетка нового знакомого выглядит так, словно ею не первый год моют унитазы в общественных уборных.

Надя подумала: надо бы убраться отсюда поскорее, пока он спит. Раз уж она сыграла в популярную московскую игру – «независимая девушка снимает на ночь сильного самца», – надо быть последовательной. Уйти не попрощавшись, возможно, нацарапав торопливую записку: мол, было здорово, как-нибудь позвони. А телефонного номера при этом не оставлять.

Но получилось по-другому. Данила проснулся – и улыбнулся ей так приветливо и ясно, что она растаяла и согласилась вместе позавтракать. По пути в душ он подхватил Надю на руки и закружил – легко, как будто она была невесомой балериной. Этот жест показался ей трогательным, была в нем какая-то детская, дурашливая нежность. Она поцеловала его в плечо, отметив, что кожа на вкус солоноватая, словно Данила только что искупался в море. Волосы его были чистыми, шелковыми. В этой квартире он казался чужим.

Данила быстро пророс в нее, распространив по венам ядовитые споры. Одно свидание, другое, смех, соленый вкус его кожи, он прокусил ей губу, и была кровь, она пришила ему две пуговицы и сварила компот из ранней клубники. Встречали рассвет на Воробьевых, валялись в прохладной траве Лефортовского парка, кидали плоские камушки в фонтан на ВВЦ, танцевали степ в ирландском пабе, взбирались на крышу двадцатиэтажного дома и вызывали туда курьера с пиццей. Пиццу съели, а корочками кормили ворон. Были на дне рождения его приятеля, подарили живую шиншиллу – вертлявую, мягкую, с испуганными глазами-изюминами. Много говорили и много смеялись.

Не прошло и двух недель, и Надя впервые произнесла вслух – «это оно». «То самое». Пусть они разные, пусть бабушка, мельком увидев его в окно, поджала твердые губы и пробормотала то ли «а что еще можно было ожидать от такой неудачницы, как ты», то ли «только через мой труп», а может быть, и то, и другое сразу. Наде было все равно.

К слову, бабушкино отрицание было не единственным негативным обстоятельством.

Была еще некая Лера – длинное надменное лицо, пшеничные волосы до талии, татуированные крылья на лопатках, – которая миллион лет Данилу знала, весь этот миллион лет с ним спала, снисходительно прощая прочих любовниц и считая его безусловной собственностью. О ней Надя узнала не сразу. Данила сам обмолвился – между дел, нехотя, и тут же попытался перевести разговор на другую тему, но оторопевшая Надя вцепилась в него, надавила и все выведала. У Леры тоже был мотоцикл, когда-то она работала манекенщицей, но из модельного агентства ее выгнали за те самые татуированные крылья. У профессиональной модели не должно быть тату.

– Но как же так... А я? – В Наде не было злости, только обида, недоумение.

И еще надежда, что раз он держится так уверенно и непринужденно, то все возможно распутать, исправить, решить.

– А что ты? – Он поцеловал ее в макушку. – Я тебя люблю.

Это было сказано не впервые. Надя уже успела пережить, пересмаковать это «люблю», впустить его в сердце, принять как должное.

– А... она? Зачем тогда она?

– Ну ты понимаешь... Лерка мне как сестра. Почти.

– Ничего себе, сестренка! Тогда это называется инцест.

– Да что ты, в самом деле? Это правда ничего не значит. Не могу же я сказать, что не буду с ней больше общаться. Мы в одной компании. Она тоже всегда на Воробьевых.

– Я и не прошу перестать с ней общаться, – возразила Надя. – Мне просто хотелось бы, чтобы ты больше с ней не спал.

– Ну... Я попробую. – Только Данила мог сказать эти слова таким тоном, что его не хотелось немедленно убить, а потом вырезать сердце и пустить на котлеты.

– То есть ты не обещаешь?

– Наденька... Я *тебя* люблю. У нас особенные отношения, разве ты не видишь? Думаешь, я часто такое говорил? Я сразу понял, что у нас что-то получится. Поэтому и решил быть с тобой честным.

– Разве это честность? Это только звучит как честность. А на самом деле ты просто пытаешься узаконить обман.

– Долой пафос! – Он открыл бутылку легкого пива о краешек стола.

Протянул ей, и Надя послушно сделала глоток. Ее мутило.

– Боюсь, у меня так не получится...

– Все будет хорошо. – Он притянул ее к себе и крепко, до боли, обнял. – Лера – это же просто так... Но если не получится, неужели ты думаешь, я предпочту это «просто так» тебе?

Это были именно те слова, которые Надя рассчитывала услышать. Она до конца так и не поняла, шли они от сердца или от головы. При всей своей дремучести Данила был неплохим психологом – у него был талант чувствовать людей.

В ближайшие недели он не давал повода для ревности. Почти все время они проводили вместе. Он звонил Наде по сто раз на дню, встречал ее у магазина в конце смены, а на выходные забирал к себе. С бабушкой к тому времени она почти не разговаривала. Надя ждала, когда Данила предложит ей переехать. Даже вещи начала собирать.

А потом она познакомилась с Лерой. Та сама к ней подошла. Была какая-то вечеринка, в переполненном баре у Данилы оказалось много друзей, а Надя чувствовала себя потерянной. Она сидела у стойки, пила колу со льдом и теребила жемчужный браслет.

Лера выглядела так, что все оборачивались ей вслед, – то был особенный сорт драматического маргинального шика, который трудно воссоздать искусственно. Растрепанные волосы, стянутые в небрежный хвост, кожаные штаны, десяток потускневших серебряных браслетов, густо подведенные глаза, черная помада на губах, простая белая майка, ошейник с шипами.

– Жемчуг и джинсы? Интересно. – Насмешливый тон обесценивал комплимент, а в прицеле пристального взгляда зеленых глаз захотелось скукожиться, притянуть колени к груди и обнять их.

Надя ничего не ответила, только настороженно рассматривала незнакомку. Блондинка была пьяна – не то чтобы на ногах не держалась, но глаза ее блестели, а взгляд был мутноватым, как у сонного карася.

– Лера.

Грязноватая рука с обкусанными ногтями потянулась к Наде, и та машинально ее пожала (подумав, что надо не забыть протереть ладони проспиртованной салфеткой, когда странная девица отойдет).

И только потом поняла, кто перед ней.

– Значит, вот ты какая. – Лера беззастенчиво рассматривала ее. В новой знакомой не было агрессии, только концентрированное любопытство. – Что ж, ничего, нормальная. Только вот можно совет? Никогда не носи золотые сережки с жемчугом. Так только бабки делают... А может, водки выпьем?

И не дожидаясь ответа, просигналила бармену, который поздоровался с ней как с родной, расцеловал в обе щеки, спросил о новостях, на что Лера невозмутимо ответила: «Да вот, полюбуйся. Очередная баба Данилы моего. Конечно, она получше, чем те, что были до. Но все равно...» – В этом месте Лера скривилась и показала кончик языка. Бармен расхохотался, а пунцовая Надя не знала, как принято поступать в таких ситуациях. Выплеснуть колу ей в лицо и гордо уйти? Уйти просто так, незаметно затеряться в толпе? Позвать Данилу и попросить его разобраться?

И то, и другое, и третье показалось ей инфантильным, и она просто осталась на месте.

А Лера миролюбиво подвинула к ней стакан, на дне которого плескалась водка. Она пила водку на американский манер – как коктейль. Лед, лимон, соломинка. Надя сделала осторожный глоток и закашлялась, блондинку это развеселило.

– Откуда же ты взялась такая? Где он тебя подцепил?

– Слушай, ты, конечно, прости... Но это, по-моему, не твое дело. – Надя старалась говорить спокойно, но прекрасно понимала, что на фоне уверенной, невозмутимой и пьяной Леры она выглядит несколько беспомощно.

Та расхохоталась – так искренне и сочно, что в уголках ее глаз заблестели слезы. Небрежно смахнув их пальцем, она размазала тушь. Надя мстительно решила не говорить об этом. Вот пусть и ходит как панда, раз такая наглая.

– Сколько вы уже вместе? Неделю, две?

– Почти месяц, – с некоторым вызовом ответила Надя.

– Да не кипятись ты. Не видишь, что ли, я – безопасна.

Надя покосилась на стальные шипы ее ошейника. Перехватив ее взгляд, Лера гордо улыбнулась:

– Купила в зоомагазине. Классный, да? Меня продавец спрашивает: у вас питбуль? Умора... Я потом вернулась в этот магазин,

за мышами. И на мне был ошейник. Продавец достал из ящика иконку и валокордин и только потом принял деньги... Ха-ха.

– За мышами? – машинально переспросила Надя.

– Ну да. У меня же удав дома, – буднично объяснила блондинка, потягивая водку. – Он ест мышей. Другие удавы могут есть раз в неделю, но мне достался обжора... Вообще-то я его не сама купила. Любовник подарил. Две недели назад.

– Так у тебя... кто-то есть? – встрепенулась Надя.

– Ты о чем? – нахмурилась блондинка, но потом лицо ее прояснилось, и она выдала миру новую порцию беспечного хохота. – Ну ты и смешная. Любовники у меня, конечно, есть. И всегда были. Любовники меняются, Данила – навсегда... Да не надо так на меня смотреть, взглядом убить невозможно. А убить по-другому у тебя кишка тонка.

– Я вовсе не...

– Ну конечно. Все вы вовсе не. А мне потом расхлебывай – с вашей ненавистью... Но вообще ты молодец, зацепила его чем-то. – В ее взгляде явственно читалось «уж не знаю чем». – Обычно девушки остаются рядом с ним на неделю, максимум две. Мало кто продержался целый месяц.

– Мало кто? – Надя и сама не знала, зачем задает эти уточняющие вопросы, точно зная, что ответ ее, возможно, ранит.

– Щас вспомню... Пару лет назад одна дамочка была. Взрослая, под сорок. Но ничего, красивая. И богатая. Было забавно наблюдать, как она пытается нашего Данилу подкупить. Подарила ему новый байк, представляешь? Правда, оформила на себя и, когда он дал ей от ворот поворот, отняла. Хотя зачем этой клуше спортбайк, ума не приложу. Они были вместе почти полгода. Это было так не похоже на него... Некоторые наши общие друзья даже думали, что поженятся. Но я-то сразу знала, что этого не будет.

– Потому что она была настолько старше?

– Да при чем тут возраст, – поморщилась Лера, – Данила мой умеет смотреть сквозь такие глупости... А потом еще одна была. Каюсь, я сама их познакомила. Одноклассница моя, Юлечка. Такой цветочек, что блевануть хочется. Носит накрахмаленные блузки и поет в церковном хоре. Увязалась однажды за мной. Притащила я ее к нашим, смеха ради. А Данила запал.

Взгляд Леры помутнел, улыбка погасла, лицо посерьезнело.

– Я потом у нее спрашиваю: а что твой Боженька обо всем этом думает? Разве уводить чужих мужиков – не грех? А она мне в ответ – Лерочка, я ходила в монастырь к святой Матронушке. Загадала встретить суженого, а тут и Данила. Так что это ты, мол, здесь лишняя, а наш брак небесами предсказан. Сволочь малодушная... Конечно, я не могла такое с рук спустить. Пару раз макнула ее мордой в грязь. Зря, наверное. Всю зиму они вместе были, а первого марта Данила пришел ко мне, с самого утра, пьяный. Принес бутылку рома, пачку пельменей и фильм про Петрова и Васечкина. Говорит, давай напьемся, и ни о чем не спрашивай. Я, конечно, сама все поняла. А Юлечка эта потом за мной хвостом ходила и под дверь мою самодельных кукол с булавками в глазах подкладывала. Тоже мне, верующая.

– А мне-то ты зачем такое рассказываешь?

– Сама не знаю, – почти дружелюбно улыбнулась Лера. – Наверное, потому, что я за прямоту. Не хочется, чтобы ты обольщалась впустую.

– Или просто хочется пометить территорию?

Лера помолчала, потом подалась вперед, и такая чернота была в ее глазах, что Надя даже отшатнулась.

– А ты злая... Только вот бесполезно все. Даю вам максимум месяц.

– А мы поженимся, – вдруг выпалил ее внутренний адвокат, которому Надя слова не давала. – Уже договорились обо всем. Пригласить тебя на свадьбу или ты напьешься и испортишь все? А потом будешь подбрасывать мне самодельных кукол?

В тот момент, глядя в побелевшее Лерино лицо, она думала – пусть даже вырвавшиеся слова будут фатальными для ее романа, но их стоило произнести, только чтобы отправить в нокаут эту вампиршу.

Надя подхватила стакан с водкой и быстро отошла, растворившись в клубной давке, как рафинад в стакане горячего чая.

Забавно, но через полгода после того разговора они и правда поженились. Все важное в жизни Данилы происходило, как правило, спонтанно и словно по не зависящим от него самого обстоятельствам, не стал исключением и брак. Однажды ночью они возвращались откуда-то по Большому Каменному мосту, и навстречу им попались жених с невестой. Они были сильно пьяны и шли, поддерживая друг

друга. У жениха были разбиты очки, а пышное платье невесты было измято и заляпано красным вином. Она была похожа на побитую дождем бабочку. Встретившись взглядом с Надей, невеста рассмеялась, а потом вдруг сорвала с волос украшенную жемчужинками фату и нацепила ее на Надю. Данила посмотрел, удивленно сказал: «А что, тебе очень идет», – и добавил: «А может быть, нам и правда стоит пожениться?.. Такого опыта у меня еще в жизни не было».

Надя согласилась, понимая, что все это в шутку. И на следующее утро они так же, запросто, шутя, отправились с паспортами в грибоедовский дворец.

В абортарий Марианна вступила как прима на сцену – в алом платье, с усталой полуулыбкой на перепудренном лице. Надя в растянутом спортивном костюме пряталась в ее тени. Впрочем, не было ничего удивительного или даже обидного во всепоглощающей силе Марианниного блеска. Она родилась солнцем, а у тех, кто встретился на ее пути, было два варианта – стать планетой ее орбитальной системы или и вовсе с ней не общаться. Большинство выбирали последнее, именно поэтому у Марианны не было подруг.

Это сама Марианна цинично назвала абортарием небольшую платную клинику на Цветном бульваре. Наверное, ей казалось, что проблему можно обесценить нарочито пренебрежительным отношением.

Надя принесла с собою бутылку минеральной воды, обезболивающие таблетки, запасные трусы и Библию, которую положила в самый последний момент, потому что на нее случайно упал взгляд, а в знаки судьбы она не то чтобы слепо верила, но на всякий случай брала их в расчет. Кстати, она так и не смогла вспомнить, откуда в доме взялась Библия, да еще потрепанная такая, явно не раз читанная. Сама она, воспитанная атеистами, смутно верила во что-то неопределенное. В энергетическое поле Земли, которое может наградить за хорошее и бумерангом вернуть плохое. В то, что Вернадский называл ноосферой, а читатели газеты «Оракул» – высшим разумом.

Данила был крещеным, но не воцерковленным. Да и какая там церковь, если у него на лопатке – оскалившийся череп, а шею украшает стальная цепочка с кулоном-змеем.

И вот Марианна плыла, как пятипалубный корабль, – в контексте, разумеется, стати, а не габаритов. Она держалась так уверенно. Администраторша – молоденькая шатенка в накрахмаленном белом халатике – встретила ее как родную. Надя же нервничала, не знала, как себя вести, теребила пуговицу и пряталась за спиной подружки.

– Марьяш, что же делать-то с тобою? – шутливо пожурела Марианну администратор. – Третий раз за год.

– Кофе сварить, например, – подсказала та с улыбкой кинозвезды. – Я подружку привела. Она впервые. Боится.

– А вот это зря, – подмигнула девушка. – Сейчас оформим вас, возьмем анализы, отдохнете, а в четыре доктор сможет вами заняться. Потом поспите пару часов. И все.

Для девчонки-администраторши это легкомысленное «и все» было просто привычной словесной конструкцией, у Нади же как будто все внутренности инеем покрылись.

Дернула Марианну за рукав – как строгую маму, у которой семилетняя Надя пытается выклянчить мороженое.

– А может, все-таки зря? – спросила она почему-то шепотом.

– Было бы зря, ты бы не согласилась прийти... Сурова, хватит уже играть романтическую героиню. Вляпалась, да. С другой стороны, ну с кем не бывает.

Администраторша подала кофе с печеньем и принесла журналы. Надю пригласили в кабинет. Врач оказалась полной женщиной с недобрим отечным лицом и тонкими губами, которые она зачем-то подводила малиновым карандашом.

– Возраст, – скомандовала она.

– Мой? – испугалась Надя.

– Не мой же.

– Тридцать четыре. Было.

Толстуха посмотрела на нее более внимательно.

– Первая беременность?

– Ну да. Подвел презерватив. – Надя пыталась говорить спокойно, но получалось как-то неестественно, будто бы даже с вызовом. Из-за этого она чувствовала себя дура-дурой. Неуместная вызывающая небрежность – двенадцатилетка рассказывает одноклассникам о первой выкуренной сигарете.

– И хотите прерывать? – нашла нужным уточнить врач.

– Я пока не готова иметь детей. – Сказав это, Надя почувствовала себя еще более жалко. Зачем она оправдывается перед этим роботом в халате? Если бы не рекомендация Марианны, она никогда не доверилась бы такому бестактному врачу.

– Ну хорошо. Сейчас я вас посмотрю в кресле, потом медсестра возьмет кровь, придется немного подождать. Но сначала вам надо оплатить все на ресепшн. Ася подсчитает.

Надя вывалилась из кабинета, расстроенная и красная. Марианна уткнулась в журнал и была поглощена поеданием карамели на палочке – эротико-гастрономический акт, рассчитанный на единственного мужчину, находившегося в поле зрения. Он пришел с беременной женой на УЗИ. Женщине явно нездоровилось – она была непричесанная, бледная и чуть ли не в домашних тапочках. А Марианна – сплошные ломаные линии в своей хаотичной идиллии, полные губы, недвусмысленно обнимающие леденец, острые локти, длинные ресницы, нервно подрагивающий носок серебристой туфли. Мужчина смотрел на нее как на «ламборджини – диавло», прекрасный и недоступный. Смотрел и смотрел, пока бледная жена не дернула его за рукав.

Надя получила счет, как в тумане отсчитала деньги. Купюры были заложены в Библию. Одобрительная улыбка администраторши будто намекала, что ничего особенного Надя не делает. Тривиальный поступок современной горожанки. Да, мы такие. Спим с мужчинами, иногда делаем аборт и не собираемся за это оправдываться.

Что произошло дальше, Надя толком и не поняла. Это было как во сне. Вот она стоит у кассы, рассеянно прячет сдачу в карман. А в следующую секунду – уже бежит по улице, прижимая сумку к груди.

Надя зачем-то бежала по Цветному бульвару. Как будто кто-то мог ее догнать и силой заставить сделать аборт – раз уж она заплатила. Но почему-то идти спокойно не могла – ноги сами взлетали над асфальтом.

Пробегая мимо цирка, она обратила внимание на молодую маму, которая вела по ступенькам сыновей-погодков. Если бы это был фильм, мелодрама, то дети непременно оказались бы светлокудрыми румяными вундеркиндами с особенным взглядом, всепрощающим и серьезным. Принявшая решение женщина получает знак судьбы и

понимает, что поступила правильно. Хэппи-энд, титры под соул Уитни Хьюстон.

Но это был не фильм.

Поэтому и дети оказались отвратительными. Старшему было не больше пяти. Он ел мороженое, и густые сливочные капли текли по его отглаженным штанишкам. Выражение лица у него было какое-то телячье. Из кармана курточки выглядывал пластмассовый робот с, похоже, откушенной головой. Младшему же идти в цирк не хотелось, он и сам ежесекундно был главным клоуном собственного шоу. Он падал в пыль, упирался, канючил. Усталая мать пыталась говорить с ним по-взрослому:

– Сынок, но у нас ведь уже есть билет... Билет такой дорогой... А потом я куплю тебе самокат!

– Я хочу не самокат, а велосипед! – заверещало маленькое чудовище и, к Надиному ужасу, зубами вцепилось в щиколотку матери.

Впрочем, той, судя по всему, было не привыкать. Она спокойно оторвала сына от ноги и потянула его по ступенькам, как привыкший к своей участи бурлак.

Надя положила ладонь на живот и заплакала.

«Я не готова, – подумала она. – Не готова совсем. Что же я наделала».

Данила сидел в кресле, закинув ноги на подоконник, а из продранного носка торчал большой палец. В одной руке Данила держал пульт от телевизора, в другой – недоеденный батон докторской колбасы. Да, он так и ел колбасу – откусывая прямо от батона. На голове его почему-то был мотоциклетный шлем. Данила переключал программы – не мог определиться между автогонками и порноканалом. Визг шин сменяли влажные всхлипывания имитирующей оргазм актрисы.

«И вот отец моего ребенка», – подумала Надя.

Чтобы привлечь внимание, ей пришлось подойти и ударить кулаком его по голове – ну то есть по шлему. Данила не обиделся, наоборот – довольно заулыбался. Ему нравилось, когда Надя ведет себя, как он выражался, «по-свойски». Он притянул ее к себе, обнял пахнувшими колбасой жирными руками.

– Кикимора моя пришла, бледная... Посмотрим порнушку? – Грязнопалая рука ленивой ящерицей проникла под ее футболку.

– Почему ты в шлеме?

– Да вот, хочу его купить. Приятель продает. Пытаюсь понять, удобно мне в нем или нет.

– И долго ты так сидишь?

– Неа, – он лучезарно улыбнулся. – Часа, может, максимум два... Слушай, а ты не принесла мармеладных долек? Я тебе эсэмэску писал.

– Не увидела, наверное... Данил, поговорить надо. Выключай телевизор.

– Ты что, он же сейчас кончит! – возмутился Данила.

На экране мулат с лицом умственно отсталого равнодушно ублажал силиконовую блондинку. Та изображала воссоединение с божественным, но то и дело косилась мутноватым глазом в камеру.

Надя отняла у мужа пульт и решительно выключила телевизор. И тогда он посмотрел на нее внимательно и заметил все: старый спортивный костюм, невымытые волосы, сухие губы. Это было непривычно. Урожденная серая мышка, Надя гордилась своим умением держать лицо. Она никогда не считала себя красивой – на смену подростковым комплексам пришла ранняя трезвость. Оценивала себя объективно: ничего хорошего. Ее не научили себя любить. Впрочем, в этом «ничего хорошего» не было ни капли злости. Надя смотрела на свое зеркальное отражение и спокойно констатировала: черты лица – мелкие, волосы – серые, тяжеловата в кости. А потом так же спокойно лепила из этой серой фактуры другую женщину – если не привлекательную, то по крайней мере безупречно ухоженную. У нее была привычка вставать на полчаса раньше всех в доме. Эти полчаса – Надины. В эти полчаса – она себе и скульптор, и Галатей. Мыла волосы, смазывала их специальным блеском, тщательно пудрила лицо, завивала и подкрашивала ресницы. И так каждый божий день, много лет. Привести себя в порядок было для нее как почистить зубы. Это надо было сделать, даже если выходной и никто не видит, даже если похмелье, даже если грипп и температура сорок.

Данила к этому привык и воспринимал как должное. За четыре года брака он впервые увидел жену такой.

– Что-то случилось? – испугался он. И наконец снял шлем.

Надя решила не юлить. Не начинать издалека. Выпила залпом не пригодившуюся в больнице минеральную воду и сказала:

– Я не сделала аборт.

– Что? – заморгал по-девичьи длинными ресницами муж. – Какой аборт?

– Не доходит? Я беременна.

И пусть она держалась непринужденно и даже чуть насмешливо, но все равно следила за его реакцией с волнением. Эти удивленно округленные светлые глаза были как гонец с письмом о помиловании, когда твоя голова уже лежит на влажной смрадной плахе.

Данила как-то странно дернулся и опрокинул бутылку пива, стоявшую у его ног. Карамельная пена впиталась в светлый ковер, распространяя запах солода и сауны.

– Ты это... Не разыгрываешь меня?

– Считаешь, это самая лучшая тема для розыгрышей, да?

– Ты... Мы...

– Не планировали, знаю. С другой стороны, и не планировали от этого отказаться. Помнишь свадьбу?

Данила, конечно, помнил. Он кружил ее в доморощенном танго, Надя счастливо повизгивала, на новоявленном муже были простые джинсы и взятый напрокат фрак, и он был похож на рок-звезду. У Нади свадебного платья не было – посоветовавшись, они решили, что пенные кружева – это мещанство. Красный вязаный сарафан, белый вязаный берет, туфли в стиле шестидесятых – лаковые, с перемычками, – цыганские цветные браслеты. Она была похожа на уличную художницу (какими их воображают обыватели, а не на настоящую, разумеется – настоящим уличным художникам не до богемного выпендрежа, они одеваются практично и тепло), а не на невесту. Кто был похож на невесту – так это Надина мама, которая явилась в чем-то белом, шелковом и длинном, и это было, конечно, бестактностью, но Надя была так счастлива, что даже не обиделась. На свадьбе мама выпила шампанского, у нее сияли глаза, она танцевала с байкерами, годившимися ей в сыновья, если не во внуки, а те называли ее «Тома».

И вот Данила кружил Надю по комнате, кружил и вдруг шепнул ей в ухо:

– А у нас будут дети?

И она почему-то ответила:

– Не знаю. Наверное, нет. Я не знаю, что делать с детьми. Потому что мама всю жизнь не знала, что делать со мною. И в итоге ничего не делала. Я так не хочу.

А он рассмеялся и сказал, что она – находка.

– В мою жизнь дети не вписываются. У меня каждый день как последний. Но все же может измениться, да?

– Конечно, – согласилась счастливая Надя. – Оставим вопрос открытым?

И они оставили вопрос открытым, а сами растворились в жасминовой июньской ночи, так, будто это была последняя ночь в их жизни. А она бы подошла на роль последней – такая пряная, немного душная, с бархатным небом, теплым асфальтом, шампанским и джазом.

И вот теперь та ночь далеко, и даже воспоминания о ней потускнели, а свадебный альбом Данила однажды повез показывать каким-то друзьям, да там и потерял. Бледная беременная Надя стояла перед ним и ждала ответ. Словно предлагала ему себя новую, вместе с той жизнью, которая обычно сопровождает появление малыша. С жизнью, от которой взрослый ребенок Данила так долго бегал – как выяснилось, по кругу.

– Что ж. – Он как-то неуверенно притянул ее к себе. – Попробуем?

И Надя кивнула, хотя слово «пробовать» наименее всего подходило к разрастающимся под ее кожей клеточкам, которые уже через несколько недель оформятся в силуэт крошечного человеческого существа.

Вечером позвонила Марианна.

– Ну ты даешь. Как маленькая. Не ожидала от тебя, Сурова. Хотя и всегда понимала, что ты не в себе.

– Прости, – буркнула Надя.

– Да мне-то что? Жизнь – твоя. Скажи спасибо, что я деньги твои вернула. Принесу тебе завтра.

– Здорово, – обрадовалась Надя. Она совсем забыла об оставленных в клинике деньгах. – Марианка, спасибо тебе. Ты... настоящая.

– Я-то – возможно. А вот что с тобой?

– Я... С Данилой поговорила.

– И что? Он уже пакует чемоданы?

– Представь себе, нет!

Прозвучало это как будто бы даже с гордостью, хотя Надя и понимала, что гордиться-то нечем. Лучшая подруга думала, что ее

супруг сбежит, узнав о беременности. А он – не сбежал. Хороший повод для гордости – несбежавший муж.

– Обрадовался? – не поверила Марианна.

– Растерялся сначала. А потом... Вроде бы да. Он ведь тоже не мальчик. Скоро сорок.

– Не смей меня. Ему всегда будет четырнадцать. В этом его трагедия. Даже когда он будет прикрывать лысину шиньоном, все равно ему будет четырнадцать. Только об этом никто не будет знать, кроме него и меня.

– Тебя?

– Потому что я проницательная. А ты веришь людям на слово. Спорим, вы весь вечер занимались воздушными замками? Он рассказывал, как бросит своих мутных друзей и пойдет работать в офис, возьмет ипотеку, чтобы малыш жил в просторной квартире, бросит пить пиво и даже постирает футболку?

– Ну прекрати... – Голос Нади погас.

То ли подруга – вечная неудачница и двоечница, поверхностная, смешливая, читающая только детективы современных авторесс – оказалась проницательнее, чем можно было предположить, то ли Данила был настолько примитивным, что его могла разгадать даже не увлекающаяся психологией особа.

Он действительно весь вечер строил планы – вдохновенно, как поэт. Если бы кто-то наблюдал за ними через окно, то решил бы, что Данила декламирует стихи – причем непременно торжественные, с изрядной долей пафоса, мужские, рубленные с плеча. Что-нибудь вроде Маяковского – не истекающее кровью «Лиличка», а нечто остроугольное, чеканное. Гвоздимые строками, стойте немцы! Слушайте этот волчий вой, еле прикидывающийся поэмой!

– Мы возьмем ипотеку и купим дом! – взволнованно бросал Данила, а она любовалась им, притихшая. – Я куплю костюм и найду работу!

Надя никогда его таким не видела. Странный диссонанс – в те минуты он, и без того инфантильный и моложавый, выглядел совсем мальчишкой, смешным, самоуверенным, категоричным. И в те же минуты Надя слышала от него самые «взрослые» обещания – за все четыре года супружества.

– Никогда не буду тебе изменять. Надеюсь, получится сын. Но и дочь – это тоже неплохо. Буду катать ее на санках. Меня так папа в детстве возил. Папа бежит, а я в шубе, по сторонам таращусь. Шуба тяжелая, снег блестит.

– Какой снег, какие санки? – смеялась Надя. – Сначала он будет орать по ночам и писать на ковер.

– Мы это переживем. Все переживем. Знаешь, я даже рад. У меня появится смысл.

И Надя тоже радовалась, и ее не смущало и брошенное вскользь «даже». Которое, если проанализировать, означало, что ребенок был все же нежеланным и неожиданным, – просто Данила нашел в себе силы, смирившись с обстоятельствами, наполнить их смыслом. Жизнь по законам позитивного мышления.

Но Наде не хотелось углубляться в бытовую философию.

Она скомкала прощание с Марианной. Ей хотелось почувствовать себя счастливой.

Данила, опустошенный планированием, заперся в кухне с ноутбуком и пивом. Страстно, как пианист Денис Мацуев, он барабанил пальцами по клавиатуре макинтоша – общался с кем-то в аське. Возможно, рассказывал друзьям о предстоящем отцовстве. Возможно, писал какой-нибудь очередной подружке, что на рассвете она приснилась ему в сетчатых чулках.

Надя полила цветы, накрашила ресницы, налила себе сок и долго тянула его, сидя на подоконнике.

Надя и Марианна работали вместе с восемнадцати лет. Должности, которые они занимали, назывались красиво – «стилист-консультант первой категории», но это скорее была прихоть владельца бутика, в котором они и работали. Обычные продавщицы. Ненавязчиво показать покупательницам вещи из новой коллекции, постараться убедить взять в примерочную как можно больше платьев, кому-то сделать скидку, кого-то даже и обсчитать.

В тот день они развешивали платья, небрежно сброшенные им на руки одной из посетительниц магазина. Надя работала скорее машинально, Марианна же – порывисто, с раздражением. Покупательница была из тех, кем так мечтала стать она сама, – мечтала пылко, тщетно, много лет. Мечтала, а над ней только

посмеивались, манили пальчиком из-за угла, но в последний момент захлопывали перед самым носом дверь, в свой круг не пускали.

Уверенные в завтрашнем дне жены респектабельных мужчин. Сытые и добрые. Им не надо, как Марианне, просыпаться в восемь утра от противного пиликанья будильника. В восемь утра – а ведь она сова, с удовольствием спала бы до обеда, а потом переползала бы в пенную ароматную ванну, зная, что спешить некуда, что впереди еще один длинный, сладкий, тягучий как ириска, благословенный день. Эти женщины плывут мимо, точно вальяжные белобокие яхты, и в сторону ее не посмотрят. Им не надо выживать, они могут позволить себе просто жить.

Может быть, именно поэтому Марианна выбирала мужчин женатых, чтобы хоть на секундочку нащупать призрачную иллюзию превосходства: он выбрал меня, меня он любит и целует меня, и мы вместе едем в Париж на выходные. Бесполезно – эти женщины все равно не обращали на нее внимания, не принимали всерьез. И это было едва ли не более оскорбительно, чем мужское вранье. Мужчины всегда обманывали Марианну – намекали на развитие отношений, на то, что чувства серьезные, а воссоединению мешают обстоятельства, но все может измениться. А потом бросали ее, всегда неожиданно. Едва ли они подразумевали подлость, просто это древняя городская игра – притворяться, что с любовницей у тебя всерьез, – и они играли по правилам, в глубине души полагая, что это доставляет ей удовольствие, помогает в самооправдании.

Марианне мечталось хоть как-то сбить с этих женщин спесь. С них, с этих самодовольных шхун, которым выпал штиль да зеркальная гладь голубых морей, в то время как ее саму швыряет в сторону порывистый ветер и накрывают с головою холодные темные волны. А ведь она ничем не хуже, а если присмотреться, даже лучше.

Так считала сама Марианна.

Надя видела другое.

Даже в приглушенном свете Марианну нельзя было принять за респектабельную даму. Даже в строгом деловом костюме (униформе «стилиста-консультанта первой категории») она умудрялась выглядеть той-с-которой-спят, а не той-на-которой-женятся.

Марианна, безусловно, была красавицей, однако красота эта была нервной, ломаной, электрической.

Буйные кудри, которые она красила в огненно-рыжий, – эффектно, да, но это мишура, цирковые фанфары, притворяющееся бриллиантом стекло. Широкие брови вразлет, бронзовый загар, – Надя давно пыталась убедить подругу, что не стоит так часто наведываться в солярий, это давно не в моде, да и темная иссушенная кожа добавляет лет. Бесплезно – у Марианны был годовой абонемент. Тело – длинное, тонкое, с годами чуть «поплыла» талия, потяжелели бедра, но Марианну это совсем не портило, хотя сама она так не считала.

Она ярко красилась и носила в пупке золотую серьгу в виде теннисной ракетки.

Однажды Марианна загрипповала, и Надя привезла ей лимоны и варенье. Женатые любовники не спешили помочь – они по первому зову мчались к ней здоровой, предлагающей веселье и плотский пир, но под надуманными предлогами игнорировали ее рассопливившуюся. Видимо, не хотели нести бактерии в семью.

И вот Марианна встретила ее в мятой пижаме, сонная, с собранными в пучок волосами. Высокая температура вымотала ее, лишила сил, и против обыкновения она держалась задумчиво и апатично.

Надя смотрела на нее, чисто умытую, ленно откинувшуюся на подушку. Смотрела с изумленным восхищением.

Это была *другая* Марианна.

Вдруг стало заметно, какой у нее чистый высокий лоб, какой гордый профиль, какая нежная шея. А глаза без обрамления зеленых мерцающих теней были не такими кукольно-огромными, зато ясными.

И вот они развешивали платья и вяло обсуждали какой-то французский фильм, который минувшим вечером показывали по НТВ. Главная героиня, которую играла губастая грустная красавица, никак не могла определиться между мужем и любовником: оба были благородны, умны, хороши собой, но, приближая к себе кого-то одного и, соответственно, отдаляя другого, героиня чувствовала себя обделенной. Марианна утверждала, что все это надуманная чушь и в жизни так не бывает, потому что женщин, таких, как французская красавица, и даже в сто раз лучше (в этом месте она самодовольно приосанилась), полным полно, а мужчин, хотя бы вполовину столь привлекательных, как ее муж, – днем с огнем не найдешь. В реальной жизни мужчина, столкнувшись с первым же ее экзистенциальным

кризисом, нашел бы себе торговку лимонадом, простую и сочную. А капризная красавица прописала бы в сервант бутылку коньячного спирта, и годы полетели бы, как разноцветные кабинки карусели, и вот ей уже сорок пять, и она отечная, злая и в антиварикозных чулках. А торговка лимонадом родила бы ее бывшему мужу минимум троих детей, располнела бы, пропахла тестом и ванильным сахаром, и мужик все равно ушел бы к другой. Потому что они всегда так поступают – уж Марианна-то знает.

И в тот момент, когда она это озвучила, а Надя открыла было рот, чтобы ей возразить, в магазин вошел мужчина, который одним своим видом сделал ненужными все возможные опровержения.

Не то чтобы он был невозможно хорош собою – не было в нем отточенной подиумной слащавости, модной симметрии, холодного лоска. Зато было что-то гораздо более важное – во взгляде, в полуулыбке, с которой он посмотрел на притихших продавщиц, в уверенной походке. За ним чувствовалось космическое спокойствие. Почему-то хотелось опереться на него, прижаться спиной. А может быть, Надя просто устала в неудобных туфлях.

Он был похож на Кларка Гейбла в роли Ретта Батлера – концентрированная энергия «ян».

Мужчина коротко поздоровался и устремился к полке с расшитыми бисером шальями.

И Надя повела себя как Надя – пожалуй, чересчур резко отвернулась, смутилась, закусила губу и преувеличенно сосредоточенно начала перебирать вешалки, ненавидя себя за то, что ей уже тридцать четыре года, а она все еще так стесняется мужчин.

Зато Марианна повела себя как Марианна: приосанилась и мельком взглянула на себя в зеркальную колонну – так полководец осматривает свою армию перед решающим сражением.

Надя любила наблюдать за ней в такие моменты. Привычно отступив в тень, она ждала развития событий.

Марианна же – живот втянут, плечи расправлены, глаза сияют многообещающим космическим голодом – пошла в атаку. Прихватив первый попавшийся под руку галстук, шагнула к мужчине. И промурлыкала:

– Позвольте вам помочь.

Не голос – мёд, не янтарно-прозрачный, луговой, а терпкий, с едва заметной горчинкой, каштановый. Не взгляд – электрический ожог медузы. И галстук скользит в тонких смуглых пальцах, точно змей-искуситель.

Мужчина растерянно моргнул – не ожидал, смутился наглых приглашающих глаз, остолбенел от ярмарочной яркости. Что-то приглушенно ответил – Надя не расслышала. Марианна откинула голову – огненные волосы при этом шелковым водопадом рассыпались по гибкой спине – и расхохоталась так, словно услышала самую смешную шутку в мире. И вот они уже сблизили головы над галстуком и что-то оживленно обсуждают.

Хотя пришел он явно не за галстуком – Марианна перехватила его у полки с шальями. Наверное, тоже женат. Пришел выбрать супруге шаль, а тут эта бестия, и не деться теперь никуда. Супруге – это точно. Слишком интимный подарок для коллеги, слишком вызывающий – для матери, слишком классический – для взрослой дочери.

И снова будет танго, пластику которого Марианна давно выучила наизусть.

Он пригласит ее поужинать. Марианна наденет одно из лучших своих платьев, они закажут что-нибудь чувственное, вроде бифштекса с кровью, будут много пить и много смеяться. Потом он поймает для нее такси, для проформы они распрощаются, и Марианна шагнет к нему, как в пропасть. Ее горячие губы якобы случайно ткнутся в его подбородок, от нее будет пахнуть ванилью и вином, и они будут целоваться как в первый раз.

Потом он смущенно скажет: «Подожди, я сейчас!» И напишет жене смс – это если он тактичен, а если эгоист, то и позвонит, прямо при ней, отступившей на шаг в сторону.

«Дорогая, я засиделся с приятелями в баре... Да, с Колей и Мишкой, точно. Ну что ты, это спорт-бар, здесь пиво и футбол... Посижу тут еще пару часиков?... Спасибо, ты у меня золото!»

И они поедут к Марианне, выпьют еще, скомканное платье полетит на пол. Вынужденная торопливость придаст их любви особенный смысл. На прощание он поцелует Марианну в лоб, и она уснет счастливой.

Потом они встретятся еще. Возможно, он свозит ее в Хорватию или в Париж. Держась за руки, они будут гулять по улочкам города, где

их никто не знает, где они могут безнаказанно притвориться, что вот эта украденная неделька и есть их будничная жизнь.

А потом, решив, что он – мужчина всей ее жизни, Марианна перейдет к активным действиям. Будет нарочно дозваниваться до него по вечерам, когда жена рядом, – сначала под извиняющимися предложениями, потом и просто так. Возможно, она позвонит и самой жене, бездарно сыграв роль «доброжелательного анонима».

Она будет мучить его истериками и депрессивной хандрой, бегать к ворожеям и – коронный номер! – протыкать кондом иглой.

И однажды он удивленно посмотрит на эту рыжую скандалистку и подумает: а куда же делась та красавица с космосом в зеленых глазах и каштановым медом в голосе?

И если он тактичен, то попробует все ей объяснить, а если эгоист – пропадет просто так. Перестанет отвечать на звонки и все. Марианне почему-то чаще попадались последние.

Да, все именно так и будет.

Это случалось уже тысячу раз.

Ну а пока они просто воркуют над галстуком, а Марианна, наверное, прикидывает в уме, какое нокаут-платье предпочесть для первого ужина.

И Наде почему-то стало вдруг противно, к горлу подступила тошнота. Она глубоко вдохнула, всерьез испугавшись, что ее тщательно выверенный завтрак – каша, фрукты, сок и никакого холестерина – окажется на мраморном полу. И тогда ее уволят. И тогда она пропала.

Покупателей все равно не было, и Надя, оглядевшись по сторонам, выскользнула из бутика.

В Торговом центре у нее была любимая кофейня – она открылась недавно, в невыигрышном месте, в полутемном закутке. Ее совсем не рекламировали, и иногда Наде казалось, что кофейню кто-то открыл для проформы.

Там подавали невероятные пирожные, похожие на те, что Надя ела в детстве. Слоеные «язычки» с айвовым вареньем, шоколадные «картошки» с тремя запятыми сливочного крема, эклеры, корзиночки с грибочками из теста – кондитер был ретроградом, притом невероятно талантливым.

Она заказала свежий апельсиновый сок со льдом и лимонный пирог. Тошнота немного отступила.

Что же это такое? Тот самый токсикоз или прорывающаяся наружу обида за Марианну? И обида ли? А вдруг маскирующаяся зависть?

Со стороны Марианна производила впечатление пассажира «Титаника», который только отплывает от берегов, и все нарядные и смеются, но зрителям-то известно, что будет впереди. Это так, но сама-то Марианна искренне считала себя счастливой. Да, после каждого разрыва с очередным любовником она некоторое время хандрила, но эта грусть не оставляла на ней несмываемых следов. Просто в какой-то момент слово невидимый рубильник переключался у нее внутри.

– Не помешаю?

Надя подняла глаза. С ней так редко знакомились в общественных местах, что ее это даже не раздражало. Скорее вызывало любопытство – чем именно она привлекла приставалу. Не то чтобы Надя считала, что ей нечем привлечь мужчину. Просто ее привлекательность была неброской. Надю надо было разглядывать – уметь разглядеть. Те, кто сумел, понимал, что она красавица. Даже не так – внутри нее сидит красавица. Возможно, даже лучше Софи Лорен. А те, кто не умел ее видеть, думали, что Надя – просто серая мышка, без внутренних черт.

Перед ней стоял мужчина, который несколькими минутами раньше вручил свою визитную карточку Марианне.

– Вы...

– Да, это я. Мы только что виделись. Так можно мне присесть? Кофе хочется.

– Садитесь, конечно. – Пожав плечами, Надя приняла независимый вид.

Этот «независимый вид» (который бабушка называла менее интеллигентно – «рожа протокольная») был ее слабым местом. Как только в радиусе пяти метров появлялся привлекательный мужчина, Надя становилась скульптурой Мухиной – решительной, суровой и тяжеловесной. Ее губы сжимались в нитку, как у старухи, стеклянисто мертвел взгляд, она начинала казаться неумной и злой. А на самом деле просто стеснялась.

– Надо же, я только что подумал о вас. И вдруг вижу – вы сидите. У меня так часто бывает. Наверное, я экстрасенс.

«Есть более подходящее слово, тоже бабушкино, – “пиздобол”», – подумала Надя.

Но вслух пришлось спросить:

– И что же вы обо мне подумали?

– Посмотрел на вас, и пришла в голову известная фраза: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду».

– Хочется верить, что я не такая истеричная, как та графиня.

– К тому же вы более хороши, чем Софья Андреевна, – мягко улыбнулся незванный гость.

И попросил у подоспевшего официанта двойной латте. Он держался так естественно, как будто бы был тысячу лет знаком с Надей, как будто бы они нарочно договорились встретиться за этим столиком – вот сейчас дождутся кофе, а потом привычно обсудят штрихи своей жизни – от фатальных перемен до никчемных бытовых зарисовок.

– Марианна – моя лучшая подруга, – зачем-то сочла нужным сказать Надя.

Но получила в ответ взгляд, заставивший почувствовать себя городской сумасшедшей.

– Я и так понял. Причем она совершенно точно старинная подруга, родом из детства.

– Почему это вы так решили?

– Уж слишком вы разные для того, чтобы сблизиться в сознательном возрасте. А я – психолог. Вот. – Он протянул визитную карточку, на плотной сероватой бумаге – логотип Центра психологической поддержки и имя – Борис Сопиков.

– Очень приятно. Надежда.

– Может быть, на «ты»?

– Только если вы не собираетесь предложить мне психологическую поддержку.

– А что, это было бы обидно? – рассмеялся Борис.

– Обидно то, что моей лучшей подруге предлагают постель, а мне – психологическую помощь.

Запиликал мобильный. В окошке мерцало Марианнино имя – то ли обостренное шестое чувство хищницы подсказало, что за спиной ее

в данный момент происходит нечто, не вписывающееся в рамки дружбы, то ли – просто заволновалась, что Надя одна обедать ушла. Вообще-то им строго-настрого запрещалось обедать вместе – кто-то всегда должен был дежурить в бутике. Но Марианна правила часто игнорировала. «Ничего страшного, подождут полчаса!» – рассуждала она. Надя набрала эсэмэску – «потом!» – и отключилась.

– Надя, откуда же ты знаешь, что я предложил ей переспать? – Брови нового знакомого взлетели вверх, как у пластилиновой куклы из мультфильма.

– Может быть, я тоже психолог, – улыбнулась она. – Только без визитной карточки... А на самом деле, если ты ищешь приключений, предлагаю и правда переключиться на нее.

– То есть в вашей паре она ищет приключений, а ты – стабильности?

– Нет. В нашей паре я замужем и жду ребенка. – Надя сказала это и покраснела.

Подумалось: «Все-таки я не умею этого. С мужиками общаться. Не умею вообще, несмотря на два брака за плечами. Вот Марианна бы сейчас парировала. Смutilа бы его, загнала в угол, вызвала на поединок. Почему так? Одним дано, а вторым – сколько бы книг ни прочесть – никогда?»

Если Борис и удивился, то виду не подал.

– Наверное, ты не поверишь, но мне просто любопытны люди. Я часто знакоблюсь. Это не значит, что я маньяк или что-то вроде того.

Волосы Марианны – холеные, огненные. Ее смех, ее приглушенный вибрирующий голос, ее взгляд. «Просто знакоблюсь», конечно.

– Ты оставишь мне номер?

– Какой номер? – не сразу поняла она.

– Номер твоей кредитной карточки... – улыбнулся он. – Ну Надя, телефонный конечно же.

– Зачем? Я буду подопытным кроликом для какой-нибудь диссертации?

– Господи, ты невыносима. – Улыбка Бориса была обезоруживающей и без какого-либо подтекста; простая честная улыбка Христа. – Ты мне понравилась. И я прошу телефонный номер.

Я представился. Оставил рабочий и мобильный телефон. Моя фамилия легко пробивается в «Гугле».

– Но...

– Да, ты ясно дала понять, что замужем и ждешь ребенка. Но почему я не могу встретиться с тобой за кофе... скажем, в среду, часов в шесть вечера? Или ты воспитывалась в мусульманской семье?

«Я считаю, что три с половиной минуты совместного кофепития – недостаточно, чтобы заинтересоваться человеком всерьез. Я считаю себя не той женщиной, которая может вызвать интерес с первого взгляда. Я считаю, что он хорош собой и может получить любую, и в этом свете его внимание ко мне кажется особенно подозрительным», – подумала Надя.

Но вслух сказала:

– Да, я свободна вечером в среду.

В последние месяцы Надина интимная жизнь представляла собою пустыню Сахару, с сухими горячими ветрами, колючими перекачиполе, белым, будто бы застиранным, небом и волшебными дворцами на горизонте – но как только сделаешь шаг вперед, белокаменные стены рассыплются в прах.

Медовый дракон, распутившийся в ее животе, давно сложил волшебные перепончатые крылья. С годами их с Данилой близость стала похожа не на страстное танго, а на совместное поедание немного остывшей каши. Надя и сама не заметила, как это произошло. Она уставала на работе – весь день на каблуках – и злилась, когда обнаруживала его дома, розового, выпавшегося, с ноутбуком на коленях. Иногда она не понимала, что делает рядом с этим хроническим лентяем и слабохарактерным бездельником, у которого ветер в голове. А потом ловила себя на мысли, что этот самый ветер – и есть волшебная дудочка, на зов которой она годами идет вслепую. Она, Надя, слишком земная. Чужой ветер ее одурманивает, тревожит, заставляет удивленно поднять лицо, близоруко прищуриться и полететь над серым городом, широко раскинув руки. Ветер ускользает, дразнит, а она пытается его поймать, сомкнуть ладони на его прозрачном запястье. Для кого-то любовь – стабильность, а для нее – погоня за призраком. И почему так получилось – не разберешь. Не ходить же к психотерапевту, как все эти напыщенные дамочки, которым так отчаянно и зло завидует Марианна.

Иногда Данила не прикасался к ней неделями.

Минувшим вечером она собралась с духом пожаловаться вслух, а он вдруг испугался так, словно его попросили переспать с полуразложившимся трупом. У него брезгливо дернулся подбородок, а во взгляд словно добавили желатин, и он стал студенистым и мутноватым. Просунув вялую руку под ее свободную блузу, Данила несколько раз сжал Надину левую грудь – эротизма в этом движении было не больше, чем в плановом осмотре у маммолога. Она, конечно, почувствовала себя уязвленной, руку оттолкнула, заплакала даже. Он утешал – вроде бы искренне. Тормошил ее, перебирал ее волосы, заварил мятный чай. Надя успокоилась, но не развеселилась.

– Ты же понимаешь, что происходит? Мы живем как брат и сестра. Просто живем рядом. Нашим отношениям не так много лет. У нас будет ребенок. А мы...

– Вот когда родится ребенок, все и наладится... Надюш, ну не могу я так... Ну у тебя живот же.

– Во-первых, мог бы подойти со спины, – криво усмехнулась она. – А во-вторых, еще и десяти недель нет, какой там живот.

– Ты же понимаешь, о чем я... Ну не дуйся на меня. Хочешь, я скачаю какой-нибудь фильм?

– Давай. Немецкую порнушку, например. И пожалуйста, пожестче.

– «Неспящие в Сиэтле» сойдут за жесткое порно?

– Валяй!

Потом Данила терпеливо сидел перед экраном и смотрел вместе с нею кино, которое, во-первых, видел десятки раз, а во-вторых, не любил. Ни фильм в частности, ни жанр в целом. Наверное, надеялся, что она скажет – ладно уж, мол, я понимаю, что тебе надоели эти переслащенные сопли, ступай на кухню и поиграй в «Doom» от души. Она всегда так делала. Но не в этот раз.

А Надя исподтишка рассматривала насупившегося мужа. Вот он, близко, и запах его невымытых волос, его любимой лимонной туалетной воды, его такой знакомый профиль. Но где он на самом деле, одному богу известно. О ком он думает за вечерним расслабляющим бокалом вина, кто ему снится на рассвете, кого он представляет в красном кружевном белье?

Однажды, давным-давно, она попробовала поговорить об этом с Марианной:

– Скажи мне, вот как ты думаешь – когда умирает страсть?

Марианна, разумеется, решила, что она в опасности, и, будучи опытным рескью-ренджером, заказала для подруги двойную порцию драмбуи со льдом. И, вероятно, хотела пошло пошутить, но, встретив Надин печальный взгляд, осеклась.

– Я не знаю. Правда.

– Но как ты думаешь?

– А как я могу думать, если моим самым длинным отношениям меньше сезона? – передернула загорелыми плечами она. – И знаешь, в этом что-то есть. Все меня желают, считают неприкаянной... Зато у меня не кончается страсть.

Надя разочарованно выпила драмбуи.

– Однажды у меня был любовник, который едва успел жениться, – помолчав, все же вспомнила Марианна. – Его страсть кончилась спустя четыре месяца после свадьбы. Он рассказывал мне, как психотерапевту, что его жена стала холодна, что в их отношениях что-то треснуло... ну и прочие слова, которые обычно говорят мужики, которым хочется и сходить налево, и не выглядеть конченными мудаками.

– А ты что? Что ему ответила?

– Что он мудака. – У Марианны был низкий вибрирующий смех. – Что же еще?.. А ты же спрашиваешь, потому что...

– Просто потому что, – решительно перебила Надя. – Интересно стало.

Марианна с понимающим вздохом подозвала бармена, и больше в тот вечер они к опасной теме не возвращались.

Надя вспомнила об этом именно в тот день, когда она сидела напротив темноглазого улыбчивого Бориса, который казался ей похожим на Кларка Гейбла в роли Ретта Батлера и который говорил вроде бы и невинные вещи, но смотрел на нее с неким подтекстом. Вспомнила – и по ее телу разлилось терпкое имбирное тепло, и это было удивительно и совсем на нее не похоже.

И так не вовремя.

Надя вернулась на рабочее место. По пути зашла в туалет, умыла лицо ледяной водой. Из зеркала на нее смотрела раскрасневшаяся

почти красивая женщина с блестящими глазами. Женщина, которую давно не хочет муж. И в то же время женщина, которую, возможно, желает другой мужчина. То, что с Борисом этим ничего у нее не будет, – факт. Она густо припудрила лицо торопливыми вороватыми движениями, но румянец никуда не исчез. Наде стало стыдно, хотя она и понимала, что это инфантильная реакция. В сущности, ничего не произошло. Мужчина с глазами больной собаки познакомился с двумя женщинами, записал телефонные номера обеих и будет выбирать. Нормальная жанровая сценка, московские декорации нулевых. Любая нимфетка научилась ловко жонглировать феминистскими лозунгами, а на самом деле происходит то же самое, что и тысячи лет назад, – самки сдают самцам. Марианна сидела на подоконнике и красила ногти, не обращая внимания на слоняющихся по залу покупательниц. Наглость была в ее природе, поэтому воспринималась без раздражения, как нечто естественное. Как наглость кошки, которая всегда займет самое уютное место в доме. На нее почти никогда не жаловались покупатели, хотя она была классической продавщицей из пародийного скетча – слушала «Jamiroquai» в айпode и не убавляла звук, когда ее спрашивали о наличии размера, лениво болтала по телефону, и ее никто не осмеливался перебить. Однажды Надя видела, как женщина, собиравшаяся купить джемпер за полторы тысячи долларов, терпеливо ждет у кассы, а Марианна рассказывает какой-то приятельнице о том, как на кубинской вечеринке она танцевала с кем-то смуглым и пахнущим океаном. Женщина была покорной придворной, а Марианна – императрицей в будуаре.

Зато Наде всегда попадало за двоих. В их союзе она была девочкой для битья. На нее прикрикивали, ей хамили, а самые творческие из недовольных придумывали обидные эпитеты.

– Ну и где ты так долго была?

Надя сама не могла понять, почему врет.

– Да так... В туалете задержалась, потом остановилась водички попить.

– Тебе плохо, что ли? Хочешь, иди домой, а я тебя прикрою?

В последний (вернее, единственный) раз, когда Марианне довелось ее «прикрыть», случилась катастрофа. Ветреная, ненадежная, легкомысленная, она забыла закрыть кассу и снять Z-отчет. На следующее утро управляющая бутиком, надменная женщина по имени

Наталья, кричала так, что дрожали стены из пуленепробиваемого итальянского стекла. Объектом истерической дрессуры была, разумеется, Надя. Марианна, как шустрый анапский краб, боком смылась вглубь магазина и начала с озабоченным лицом перевешивать туда-обратно платя.

– Да ладно, ерунда. Ты мне лучше расскажи, что у тебя с мужиком этим.

– Каким? – У Марианны заблестели глаза, было понятно, что ей и самой не терпится рассказать.

– Сама знаешь. С тем, с которым ворковала.

– Да ладно тебе... Нет, на самом деле он в моем вкусе. Зовут Борис... Может, пойдем покурим?.. Черт, прости, тебе же нельзя. Ничего теперь нельзя.

«Ничего теперь нельзя. В том числе и спрашивать, что, мол, у тебя с мужчиной, когда речь идет о человеке, с которым ты договорилась встретиться вечером в среду. За спиной этой хищницы договорилась, вне зоны сияния ее наглых глаз».

– Короче, мы во вторник идем в тир.

– Куда? – Удивление было как горсть песка в глаза.

– А что такого? – приосанилась Марианна. Ей с детства нравилось удивлять, при наилучшем раскладе – шокировать. – Не вечно же по кабакам ходить.

– Это... он предложил? Или ты?

– Вообще-то он сказал, что ненавидит спортивные клубы, зато по вторникам стреляет в каком-то продвинутом тире. Там даже автоматы Калашникова есть.

– И живые мишени? – усмехнулась Надя. – Я в детстве читала такой рассказ, потом уснуть не могла. Нищий мужик подписал контракт с подпольной киностудией, которая специализировалась на съемках жестокостей. Они должны были запытать его и убить, но за это перевести крупную сумму его семье.

– И?

– Ничего. Там открытый финал. Он подписывает контракт и уходит прощаться с семьей. Я, помню, плакала. Мне лет двенадцать было.

– А при чем тут мой Борис? – повела татуированной бровью Марианна.

Надя предпочла не обращать внимания на это внезапно появившееся «мой».

– Да не бери в голову. Ты сказала, что тир продвинутый, вот я и подумала, что там по контракту работают гастарбайтеры. Мишенями. Пошутила я, расслабься.

– Да уж... Ну так вот, я и напросилась пойти с ним. – Марианнино лицо вновь обрело привычную обезьянью подвижность. – И ты должна мне помочь.

– Что? Отвести тебя туда за руку, как католическую невесту к алтарю?

– Дура, – беззлобно хмыкнула она. – Мне носить нечего. Ты мне платье могла бы сшить.

– Платье – в тир?

– Ну и что. Долой мещанские предрассудки. Зато я там буду самая... хм, броская.

– А не ты ли совсем недавно хвасталась, что у тебя тридцать платьев? – вспомнила Надя.

– Так это вместе с зимними, вечерними. Я же не пойду стрелять из автомата Калашникова в декольте и жемчугах.

– А что, ты могла бы.

– Нет, мне нужно что-то... милое. У меня даже есть задумка. Знаешь что, а давай я заеду к тебе вечерком, с тканью, и мы что-нибудь придумаем.

В Марианнином «а давай» не было ни миллиграмма просьбы, скорее это была вежливая форма планирования – в приказном порядке.

– Да тебе и делать ничего не придется, – уловив сомнение (если бы Марианна догадалась о его причинах!) в выражении Надиного лица, быстро добавила она. – Просто раскроим и все. А потом я отнесу это в ателье.

– Что же с тобой сделаешь, – вздохнула Надя. – Конечно, приходи.

Тамара Ивановна никогда не интересовалась подробностями жизни дочери. Лишние детали ее утомляли. Дочь есть, вроде бы здорова, может быть, не очень счастлива, но и уныние ей несвойственно – этой информации вполне достаточно. Но вот как зовут ее подруг или мужчин, в которых она влюблялась, что любит есть на завтрак и кем мечтала стать, когда ей было тринадцать, посещает ли гинеколога и где планирует провести отпуск – все эти

мелочи вроде бы кружились где-то рядом, но они были как снежинки, которые подхватил порыв ветра и которые мгновенно растают при соприкосновении с теплой кожей.

В детстве Надя еще как-то пыталась удержаться в круге маминого внимания. За редкими совместными чаепитиями что-то рассказывала о школе, о друзьях. Но в какой-то момент поняла, что мама, хоть и сочувственно кивает, и скорбно качает головой, и даже иногда задает наводящие вопросы, на самом деле всегда думает о чем-то своем. Как синхронный переводчик, который повторяет слова, но не вдумывается в смысл. Она притворяется слушательницей, в конце концов для нее, неудавшейся актрисы, ничего не стоит изобразить внимание. Но она никогда не помнит, о чем они говорили вчера.

Немного (но все-таки очевидно) округлившийся живот дочери Тамара Ивановна, разумеется, тоже не заметила. Хотя Надя нарочно надела сарафан с завышенной талией и объемными рюшами – фасон, видимо придуманный для дополнительного унижения беременной человеческой самки.

Надя сидела напротив нее, в кафе, картинно выпятив живот. Она подчеркнуто отказалась от любимого мамой джин-тоника, а рядом с мобильным телефоном положила упаковку витаминов «Фолиевая кислота». Бесполезно: мама щебетала о своем, как радующаяся мартовскому теплу городская птица.

О своем – это, конечно, о мужчине.

Иногда Наде казалось, что мама – не целый человек, а половинка, особенный биологический вид, который не выживает в одиночестве. Рядом с мамой всегда должен был находиться мужчина. И каждый из этих мужчин на какое-то время становился центром ее вселенной, вокруг которого равнодушными планетами вращались все разговоры.

– Надя, я бы так хотела, чтобы вы познакомились... Уверена, он тебе понравится. А мне интересно твое мнение, ты же знаешь.

Надя усмехнулась – нет, мнение Тамару Ивановну не интересовало никогда, просто ей хотелось создать более плодородную почву для разговоров. Пока мужчина не представлен, можно о нем всего лишь рассказывать, пытая собеседника подробностями. Как он, задумавшись, покусывает дужку очков, и это так мило; как он любит собак, как пришел на свидание не с традиционными розами, а с кактусом в горшке; какие у него большие руки. Если же мужчина

продемонстрирован, то можно требовать ответные реплики. Правда же, он мило покусывает дужку очков? Заметила, какие у него большие руки? Можешь себе представить, чтобы человек его уровня принес женщине кактус? Интересно, что он хотел этим сказать?

– Он скульптор. Хочет, чтобы я была натурщицей. Но мне, наверное, для этого надо чуть-чуть похудеть. – Мама кокетливо рассмеялась, прикрыв ладонью рот. У нее были неудачные коронки на передних зубах, и она стеснялась.

– Мам, ну ты же просто можешь попросить его сделать тебя чуточку тоньше. Это ведь даже не фотография.

– Ну как же, все равно, – жеманничала Тамара Ивановна. – Кстати, он уже слепил мой бюст.

– А колонну?

– Что?

– Ну как же – бюст обычно стоит на колонне. Иначе это несерьезно.

– Нет, ты не поняла. – Мама придвинулась ближе. – Не тот бюст. Настоящий. То есть грудь. Он сделал слепок моей груди.

– Зачем?.. Ты уверена, что он не опасен?

– Какая ты приземленная. Он же художник. У него другое видение мира.

– Надеюсь, он не попросит слепок твоей вагины... Мам, а ты ничего не замечаешь?

Тамара Ивановна близоруко прищурилась и осмотрелась.

– Стены в кафе покрасили, что ли? – после небольшой паузы выдала она.

– Да не здесь. А во мне. Неужели не замечаешь?

– Ты... Купила новые клипсы? Угадала?

– Эти клипсы подарила мне ты, на семнадцатилетие. Вторая попытка!

– Поправилась? Конечно, заметила, но решила тебя не расстраивать. Но раз уж ты сама заговорила, могу посоветовать отличный слабительный чай. Через неделю будешь летать по квартире, как мотылек.

– Мам, а тебе не кажется, что я поправилась... хм... несколько локально? – Надя похлопала ладонью по обтянутому жуткими рюшами животу.

И только тогда цветные стекляшки в голове Тамары Ивановны сложились в мозаичную панель. И сначала она, округлив и глаза, и губы, сказала что-то вроде «о!», потом несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, закрыв глаза и положив ладонь на диафрагму. Надя знала, что этому упражнению когда-то научил ее любовник, оперный певец. Мама всегда так делала, когда нервничала.

– Значит, ты...

– Да, – с улыбкой кивнула она. – Сейчас я закажу себе безалкогольного вина, как бы убого это ни прозвучало. И мы это отметим.

– Но... Как же мне теперь быть? – не спешила радоваться мама.

– В каком смысле?

– Ты не обижайся, но... Я сказала скульптору, что мне сорок три. Я чувствую себя на сорок три. А если у меня появится внук...

– Скажи, что мне пятнадцать, – разозлилась Надя. – Я твоя непутевая дочь-подросток, которая залетела от учителя физкультуры. Кстати, ты ни хрена не выглядишь на сорок три.

Иногда Надя видела это словно наяву. В такие минуты у нее портилось настроение, серело лицо и беспомощно подрагивали ресницы, как будто бы где-то глубоко внутри нее просыпалась другая Надя, маленькая, с дурацкой мальчишеской стрижкой, в собравшихся «гармошкой» колготках и неглаженном платье. И этой маленькой Наде так хотелось плакать, что большая Надя запиралась в ванной, включала воду и, сидя на прохладном кафеле, позволяла себе быть слабой. Хоть на пять минут – этого достаточно, чтобы влажная чернота отступила, ненадолго, до следующего обидного воспоминания.

Ей пять лет. Она сидит на скамеечке в игровой комнате детского сада и прижимает к груди потрепанного тряпичного мишку. От мишки пахнет гороховым супом, у него надорвано ухо, и вообще – это не ее мишка, общественный, но в данный момент никого ближе у Нади нет. Мишка создает хотя бы иллюзию сочувствия, он теплый и рядом, а все остальные – и воспитательница Евдокия Петровна, и нянечка Софья Алексеевна – смотрят на нее так, словно она описалась на торжественной линейке. Брезгливо смотрят, искоса, а разговаривают так, словно ее и рядом нет.

Евдокия Петровна, монументальная дама в пластмассовых бусах, говорит:

– И что нам с этой Суровой опять делать? Вот дождется она, оставлю девчонку на улице. Пусть сидит на лавке и сама ждет свою вертихвостку.

«Вертихвостка» – это она о Надиной маме.

Мама опять забыла Надю из садика забрать.

А на улице – февраль, и давно стемнело. У Нади, как и у многих одиноких людей, живое воображение: она уже видит себя на обледеневшей лавочке, в нарядном красном пальто. Сжимает пальцы в рукавичках и шепчет тряпичному мишке, чтобы тот не боялся и не переживал. Хотя мишку, должно быть, отберут, это же собственность детского сада.

Горячие слезы затекают за воротник шерстяного платья, шея чешется.

– Каждый раз одна и та же история, – вторит ей пожилая нянечка Софья Алексеевна, от которой дети из младших групп стараются держаться подальше, не отдавая себе отчет, почему им так отчаянно неуютно рядом с этой румяной аккуратной старушкой.

Дети-то из старших групп все давно поняли. И Надя тоже знала, в чем дело. Просто Софья Алексеевна – ведьма. Она и в детский сад устроилась на работу потому, что любит поедать маленьких детей. Но поскольку она умна и дальновидна, на людях она ест как все – пересоленные щи и картофельное пюре с паровыми котлетками. Но как только наступает ночь, у нее бледнеет лицо, клыки желтеют и вытягиваются, зрачок становится кошачьим, а на подбородке вырастает покрытая седыми волосами бородавка. Об этом Наде рассказали во время тихого часа, под строжайшим секретом. И с тех пор она цепенела от ужаса, когда водянистый взгляд Софьи Алексеевны останавливался именно на ней.

– Уже половина восьмого, – хмуро смотрит на часы воспитательница. – Муж меня убьет. Он думает, что у меня любовник.

– Пришел бы и сам посмотрел, – хмыкает Софья Алексеевна. – Ладно, давай закрываться. Возьму ее к себе.

Надя разжимает похолодевшие пальцы, тряпичный мишка падает на ковер. «Только не это, только не к ней!» – шепчет она.

– Точно? – сомневается Евдокия Петровна.

Понимает, наверное, что нянечка собирается Надю съесть. Может быть, даже жалеет ее в глубине души. Хотя это вряд ли. Ей же проще будет – в группе останется всего девятнадцать детей.

Надя умоляюще смотрит ей в глаза.

– Ну хорошо, – решается воспитательница. – Оставим на двери записку для этой вертихвостки. – И, обернувшись к онемевшей от страха Наде, приказывает: – Сурова, чего сидишь, одевайся давай!

– Я лучше на лавочке, – беспомощно шепчет Надя. – Мама скоро придет. Я подожду.

Но ее уже никто не слушает. Евдокия Петровна, напевая какой-то шлягер, красит губы в странный морковный цвет. Софья Алексеевна повязывает перед зеркалом оренбургский платок. Сегодня она еще более румяная, чем обычно. Может быть, из-за того, что в комнате сильно натоплено, а может быть... может быть, предвкушает горячую свежую кровь.

Надину.

Надя пытается застегнуть пальто, но пальцы не слушаются. Евдокия Петровна со вздохом ей помогает. Улучив момент, Надя жалобно шепчет в ее перепудренное лицо:

– Пожалуйста!.. Не поступайте так со мной. Я не хочу к ней.

От возмущения голос Евдокии Петровны становится похожим на ночь за окном – таким же ледяным и неприветливым.

– Да как ты вообще смеешь?! Думаешь, мы обязаны с тобой возиться?!

– Она меня съест, – всхлипывает Надя. – Съест же.

Коротко бросив: «Дура!» – Евдокия Петровна нахлобучивает фетровую шляпу с огромным замшевым цветком и уходит.

Дома у Софьи Алексеевны пахнет лекарствами и пряниками. Наде вспоминается сказка о колдунье из пряничного домика. Целую вечность она тянет время в ванной, моет руки ароматным мылом и рассматривает в зеркале свое бледное лицо. До тех пор, пока нянечка не стучит в дверь: «Выходи уже, Сурова! Создает же Бог таких копуш!» Надя замечает на стеклянной полочке под зеркалом маникюрные ножницы и, подумав, прячет их в рукав.

Она не позволит ведьме застать ее врасплох. Будет бороться. В конце концов, добро всегда побеждает зло.

Правда, Надя вовсе не была уверена в том, что она – это «добро».

Скорее всего, она не добро и не зло, просто маленькая беззащитная девочка. Именно поэтому ее сюда и привели.

Софья Алексеевна возится у плиты. Мнет дымящуюся картошку деревянной колотушкой, сверху посыпает мелко накрошенным укропом, ставит тарелку перед Надей.

– Жри вот. Больше у меня ничего нет.

Надя робко устраивается на краешке стула. Она голодна – в животе словно надули крошечный, наполненный садняще холодным воздухом, шарик.

Софья Алексеевна наливает себе вино – темное, как кровь. Надя отводит глаза – неприятно смотреть, как старушка пьет. Сердце колотится, картошка обжигает язык. На стене она замечает черно-белую фотографию – красивая женщина в темной соломенной шляпке прижимает к груди букет полевых ромашек и застенчиво улыбается. Нянечка перехватывает ее взгляд.

– Это ваша внучка? – вежливо спрашивает Надя.

– Нет у меня никаких внучек, – резко отвечает Софья Алексеевна. – Я это, не видно, что ли?

Надя не верит. Конечно, ведьма врет, заговаривает ей зубы. Думает, что раз Наде всего пять лет, она совсем глупая и не может отличить красавицу с ромашками от сморщенной старухи с мясистым носом.

– Столько поклонников было. – От вина (или в предвкушении крови?) у нее заблестели глаза. – Генерал ухаживал один. И еще один, партийный начальник. Мне уже сорок пять тогда было, но я была очень даже... Кочевряжилась. Думала, что навечно такой останусь, раз дотянула до сорока пяти. А потом... Рак нашли. Два года по больницам бегала, потом по бабкам. Мастэктомия, четыре курса химии... В сорок пять выглядела девочкой, а в сорок восемь – почти старухой. Поправилась сильно... Такая депрессия была, жить не хотелось. Все думала, а может, я зря тому партийному начальнику отказала? Был бы у меня ребенок, все не так уныло... Но потом устроилась в детский сад и поняла, что детки такие мне на хуй не нужны. – Она басовито хохотнула и допила вино. – Все сопливые, злые какие-то... Или страшные, ни кожи, ни рожи, как вот ты... Что смотришь на меня так? Что молчишь?

– А можно еще картошки? – помявшись, попросила Надя.

Мама появляется часа через два. Не то чтобы она пьяна – так, немного навеселе. Наверное, выпила бокал шампанского. Она и сама была как шампанское – искрящаяся, с блестящими глазами и серебряным смехом. Надя бежит к ней по коридору, но спотыкается и плашмя падает на паркет. Спрятанные в рукаве маникюрные ножницы, о которых она и думать забыла, летят под ноги Софье Алексеевне. Та поднимает их, с удивлением рассматривает и бормочет: «Еще и воровка. Неудивительно, у такой-то мамы».

Надя вскидывает взгляд, ждет, что мама вмешается, защитит.

Но мама молчит.

Она пришла не одна, за ее спиной перетаптывается какой-то незнакомый мужик в бобровой шапке. У него пышные усы, и в них блестят льдинки.

Мама и Надя идут домой, незнакомый мужик в шапке плетется за ними, на два шага позади. Мама веселая, возбужденно шепчет:

– Прости меня, малыш. Это Вадим, знакомый Нинки из бухгалтерии. Он из Ижевска, всего на два дня приехал... А она мне про него столько рассказывала. Он ювелир, представляешь?

– Мам, ты же обещала...

– Я пыталась дозвониться в детский сад, они не брали трубку.

– Но ты обещала.

– Малыш, ну не капризничай. – Мама смешно морщит нос. – Зато дома будет жаркое.

– Он что, останется ночевать? Мама, но я не хочу...

– Не дуйся. В субботу пойдем в зоопарк, получишь сахарную вату. Поспишь на раскладушке разок, ничего страшного... – И, понизив голос, добавляет: – Может, мы с тобой еще в Ижевск переедем... Ты лучше расскажи, что ты у Софьи Алексеевны делала?

– Она ведьма. – Надя смотрит под ноги, на снег.

– Глупости. – Мама хочет взьерошить ей волосы, она всегда так делает, когда дочь обижена, но сейчас на Наде шапка. И она просто проводит по шапке ладонью. – О чем вы говорили.

– А что такое мастэктомия?

– Это она тебе рассказала? – хмурится мама.

Надя кивает.

– Ведьма, – покачав головой, резюмирует мама.

Мужик в бобровой шапке глухо покашливает в усы.

Мама давным-давно выбрала себе ампула вечного ребенка и за долгие годы вросла в него, как жирный гриб-паразит в измученное дерево. Да, именно так: она ловко паразитировала на этой самопровозглашенной детскости. Ей нравилось, чтобы жизнь танцевала вокруг жизнерадостным карнавалом, она же – беззащитная, неактивная – благодарно принимала данности.

Лет с десяти у Нади начало формироваться ощущение, что она старше мамы.

Каждое утро она вставала по будильнику, расчесывала коротко подстриженные волосы (косы, густые и блестящие, были отстрижены, когда Надя пошла в школу, – маме было лень каждое утро просыпаться раньше и возиться с ее волосами), готовила бутерброды – себе и маме и уходила в школу, оставив на столе записку: «Мамочка, не забудь выпить таблетки после завтрака».

Мама увлекалась гомеопатией. Истоиво лечила все то, чем на самом деле больна не была: бронхит, гастродуоденит, анемию, мерцательную аритмию.

«Женщина, вы здоровы, как конь. На вас пахать можно», – однажды сказала ей врач «Скорой помощи», которую вызвала Надя, когда после какого-то телефонного разговора (вероятно, очередной любовник дал ей отставку) мама осела по стенке, приложив ладонь к левой груди. Мама оскорбилась и с тех пор общалась только с гомеопатами и самозваными лекарями, которые охотно подкармливали ее самоидентификацию слабости.

Ни разу мама не помогла ей с домашним заданием, ни разу не проконтролировала, чтобы зимой Надя носила шапку и теплые рейтузы, чтобы не пропускала плановые прививки. С Надиными подругами была знакома, охотно привечала их дома, не различая лиц и не интересуясь деталями.

Лучшей школьной подругой была Марианна.

– Надь, я прихожу к тебе в гости уже четыре года. Почему она называет меня то Юлей, то Нинель? – однажды возмутилась она.

– Не обращай внимания, у мамы своя реальность. Что с нее возьмешь.

«Что с нее возьмешь» – это Надя не сама придумала. Так говорили о маме окружающие, а та и рада была.

Всеми признанная инфантильность будто бы даже маме льстила. Как будто бы «инфантильность» и «моложавость» – синонимы.

Мамины любовники... Их лица – ярмарочная карусель, калейдоскоп, лоскутное одеяло. Лица опускаются вглубь памяти, как камни на дно темного пруда. Впрочем, некоторые вопреки законам физики остаются на поверхности.

Марк Макарович, нервный и бледный, инженер с замашками и амбициями диссидентствующего поэта. Он лихо рифмовал «любовь» с «кровью», а «весну» с «сосной» и притом смел считать себя непризнанным гением. К тому же у него была явная паранойя, которая маме казалась безобидным романтическим штришком. Он на полном серьезе считал, что преследуем властями. Что его телефон прослушивается, а чей-то раздолбанный ржавый «Москвич», не первый год гниющий в сером сугробе под окном, на самом деле шпионский пункт, начиненный хитроумными устройствами. Так и жил – эдакий неуловимый Джо из бородатого анекдота.

А ночью, под одеялом, иногда глухо кричал «огооонь», и Наде оставалось только догадываться, чем они там с мамой занимаются.

Был еще Филипп Семенович, рыжебородый инженер, простой, как батон «Нарезной», но с претензией на рафинированность. Он носил вельветовый костюм с кожаными заплатами на локтях и все время говорил «ну знаете ли», будто хотел придать любой своей будничной фразе особенную многозначительность. От него едва ощутимо, но все-таки пахло кошачьей мочой. Десятилетняя Надя не могла понять, почему так. Но однажды Филипп Семенович рассказал (разумеется, маме, а Надя привычно подслушивала под дверью кухни), что встречался он с какой-то библиотекаршей из Химок, и был у нее кот – еще более стервозный, чем сама библиотекарша. Однажды ночью кот, которому не нравилось присутствие посторонних на его территории, выразил протест единственным доступным его биологическому виду способом – нассал в карман любимого пиджака Филиппа Семеновича. Утром был скандал. Филипп Семенович решился на ультиматум – либо кот, либо он. Библиотекарша, хоть и после минутной заминки, но все же выбрала кота. «А ей уже сорок два, вот дура, кому она еще нужна была», – резюмировал он. Десятилетней Наде было необъяснимо неприятно все это слушать, мама же держалась молодцом и даже кокетливо посмеивалась. И вот библиотекарша осталась коротать бабий век со своим котом, а Филипп Семенович сдал в химчистку испорченный пиджак, сбрил бороду и встретил маму. О том, что кот с разгромным счетом выиграл у химчистки, знала, похоже, одна только Надя – остальные запах не чувствовали. И чем больше Надя узнавала того, о ком мама периодически говорила «твой будущий новый отец», тем больше ей хотелось разыскать кота и пожать ему лапу.

Филипп Семенович, конечно, не тянул на хрестоматийного злодея, но почему-то его присутствие раздражало до дрожи в коленках. По утрам он ел вареные яйца с ножом и вилкой. По вечерам, закинув ноги в дырявых носках на журнальный столик, читал газету «Советский спорт». Иногда, поймав мамин взгляд, он выставлял вперед скрюченные на манер кошачьих когтей пальцы, обнажал коричневатые зубы курильщика-хроника и говорил: «Арррр!» – видимо желая намекнуть, что он – хищник, а мама – беззащитная лань. Такая вот у них была игра, с легким эротическим уклоном. И вот когда Надя слышала это кокетливое «арррр!», ей хотелось зажать уши, зажмуриться и бежать куда глаза глядят.

Однажды она так и сделала – побежала. Сорвалась с места, подхватила куртку, в подъезде долго не могла попасть в рукава. Мама выбежала за ней на лестничную клетку: «Куда ты, бешеная? Стой же!» Наде было и весело, и противно. Весело, потому что «арррр!» осталось вне зоны видимости, а противно – потому что это не навсегда. Пришлось, послонявшись по бульварам и сжевав две булки с творогом в «Елисейском», вернуться обратно. Да еще и мама обиделась.

Самым противным в Филиппе Семеновиче было то, что он пытался Надю поучать. Однажды подсунул ей «Анну Каренину».

– Мне десять лет, – хмуро напомнила Надя. – Я Джека Лондона люблю.

– Вырастешь душой, – сделал вывод Филипп Семенович. – Кто сказал, что возраст – это преграда пониманию? Вот твоя мама старше меня на двенадцать лет, и ничего.

Надя не поняла, как связаны Джек Лондон и разница в возрасте между мамой и ее придурковатым любовником. Но это тоже было в его характере. Речь Филиппа Семеновича была похожа на вдохнувшего веселящий газ балеруна. Он крутил словесные фуэте, перескакивал с темы на тему, иногда пытался ухватиться за ключевые слова, но все равно терял нить.

Однажды Надя услышала, как он говорит маме:

– Твоя девчонка меня ненавидит.

– Да ну тебя, – отмахивалась хохотушка-мама, – Надька просто серьезная. Ты преувеличиваешь.

– Она так смотрит на меня. Как волчонок. Иногда перехвачу ее взгляд, и мурашки.

– Она на всех так смотрит. Ну что я могу поделать, замкнутая девочка.

– Ее надо показать психиатру, – понизил голос Филипп Семенович, и Наде, прячущейся под обеденным столом, захотелось потихоньку подползти к его ногам и вцепиться зубами в щиколотку.

Она понимала – нельзя. Иначе мама ему поверит. И тогда Филипп Семенович победит, а ее, Надю, выживут из дома. Сдадут в школу на пятидневку, а то и вовсе в лагерь для трудных подростков. И она пропадет, а Филипп Семенович в своем отвратительном вонючем

пиджаке будет читать в ее любимом кресле и хранить одежду в ее шкафу.

– Девочка странная, – гнул свою линию он. – У меня есть знакомый доктор, я предварительно проконсультировался.

– Прекрати. Давай лучше сходим в кино.

Так и жили. А в один прекрасный день все решилось само собою – Филипп Семенович встретил в троллейбусе ту самую библиотекаршу с котом. Надина мама потом всем говорила, что библиотекарша – ведьма, приворожила мужика, потому что разве можно по доброй воле уйти от нее, спелой, к библиотекарше, высохшей и варикозной?

Надя маме сочувствовала, но в глубине души была довольна.

Обнаженная Надя рассматривала себя в зеркале. Они были удивительно похожи, три женщины семьи Суровых. Мама – чуть выше и стройнее, и глаза у нее – немного голубее, а волосы – оттенка спелой пшеницы, в то время как у Нади и бабушки – серые какие-то. У всех троих круглые лица, сдержанный румянец, позволяющий не пользоваться пудрой, прямые широковатые носы, светлые ресницы и брови, красиво очерченные, но тонкие губы. Простая русская красота, неброская. То есть это мамыны слова – о простой красоте. Надя же всю жизнь считала себя – нет, не уродом, конечно... Не вполне дурнушкой, но и не дотягивающей до миловидности, как-то так. И бабушка эту версию поддерживала – в юности Наде казалось, что так справедливо, потом же она часто вспоминала бабушкино презрительное: «жопка низко висит», «ноги похожи на бутылочки из-под пива», «брови как у альбиноса», «волосенки жиденькие», «мордой не вышла, так хоть бы училась хорошо» – и недоумевала: зачем? Вот была у нее школьная подруга, Сашенька. Без слез не взглянешь – тощая, жилистая, как марафонец, кривоногая, глазки – маленькие, на лбу – воспаленные прыщи. Сашенька эта воспитывалась мамой, которая надыхаться на нее, ангелочка своего, не могла. Все приговаривала, не стесняясь окружающих: «моя красавица», «точеная фигурка», «аристократический высокий лоб», «личико твое, как солнышко». Последнее почему-то особенно запомнилось Наде, запало в душу.

Личико твое, как солнышко.

И так она смотрела на Сашеньку убогую свою, как верующий на икону чудотворную. И Сашенькино эго под лучами этого взгляда благодарно распускалось, сочно цвело. У Саши – модная прическа, у

Саши – балетная осанка и кокетливый взгляд, Саша ведет себя как принцесса. И к концу школы все научились смотреть сквозь ее кривые ноги и прыщи. Как будто видели за всем этим что-то более важное. Личико твое как солнышко. Считалось, что Сашенька – красавица. За ней все мальчишки увивались. А за Надей – никто. Ноги похожи на бутылочки из под пива, так-то.

Было время, когда Надя старательно вытравливала из себя маму и бабушку.

«Как ваша девочка удивительно на вас похожа», – говорили бабушке все подряд, от приятельниц до провизорш в аптеке. Та равнодушно пожимала плечами, Надя же прятала в карманах сжатые кулаки.

Ей было пятнадцать, когда она покрасила волосы в иссиня-черный цвет. Краску купила в ларьке, самую дешевую, польскую. Дождалась, пока бабушка уснет, прокралась в ванную, размешала порошок, аккуратно вымазала густую темную массу на волосы, замоталась в старую простыню и села на пол – чуда ждать. На упаковке была фотография лукаво улыбающейся черноглазой красавицы. Пока краска впитывалась в волосы, Надя рассматривала красавицу эту и думала: нежели она и в самом деле такая добрая и открытая? Или просто прикидывается, для съемок?

Выдержала сорок минут, как было написано на упаковке. А потом еще пятнадцать – чтобы наверняка. Сунула голову под мощную струю воды в почти предновогоднем ожидании чуда. Высушила волосы бабушкиным старым феном. С распускающейся улыбкой подошла к зеркалу и... отшатнулась даже.

– Что это тут еще происходит? – Бабушка материализовалась за спиной; видимо, ее разбудил звук фена.

Надя хотела быстро намотать вокруг головы полотенце на манер чалмы, но конечно же не успела. Вера Николаевна увидела черные волосы и расхохоталась как баба-яга.

– Что это ты удумала? В кого превратилась? Это же курам на смех!

Она была права. Курам на смех. Черный, как сам космос, цвет совсем не подходил к бледной коже. Надя выглядела уставшей, нездорово-синюшной, как покойница, и даже какой-то... старой – пятнадцать-то лет!

И вдруг бабушка сделала нечто такое, чего Надя ожидать никак не могла, и даже так растерялась, что в ее глазах высохли проступившие было слезы. Вера Николаевна шагнула вперед, обняла внучку за плечи, ласково потрепала ее по еще не высохшим волосам и сказала:

– Пойдем в кухню, чайку тебе заварю.

И Надя послушно пошла, ведомая неожиданной лаской. Как безмозглая крыса на звук волшебной дудочки. Из бабушки – ее неприветливой холодной бабушки – словно на минуту выглянул живой человек, и даже ее морщинки как будто бы стали другими, расправились и стали похожи на солнечные лучики.

И она действительно заварила для Нади чай с бергамотом и даже выдала ей половинку тульского пряника с вареньем, хотя обычно строго отчитывала Надю за ночное обжорство. Наде иногда нравилось почитать перед сном в постели с парочкой сдобных печений. Бабушка же, если замечала такое, грубо вырывала из ее рук тарелку, а потом заставляла Надю пылесосить кровать и пол прямо посреди ночи. Пылесос гудел, соседи стучали чем попало по батарее, а бабушке – хоть бы что, у нее же воспитательный процесс.

Надя удивилась, но чай с благодарностью приняла. Ей необходимо было успокоиться.

А бабушка уселась напротив, подперла сухую щеку маленьким кулаком, с жалостью взглянула на черноволосую Надю и сказала:

– Понимаю, как ты переживаешь... Знаешь, мне самой как иногда тебя жалко? И неудачница, и никчемная, да еще и страшенькая... Конечно, тебе хочется хоть как-то себя приукрасить, но вот что я тебе скажу. В твоей ситуации лучше принять все как есть. Научиться с этим жить, понимаешь?

Надя недоуменно смотрела на бабушку поверх кружки с чаем.

– И чем дальше, тем тебе будет сложнее... Да еще и подруга у тебя красивая, я этого не одобряю. И так на твоём фоне любая выиграет, а ты еще и так сглупила, что выбрала самую яркую.

Она имела в виду Марианну.

Марианна всего однажды побывала в бабушкиной квартире, и это было ужасно. Она была антиподом Веры Николаевны, они невзлюбили друг друга с первого взгляда, оцетинились как соперничающие кошки – правильная домашняя и закаленная, прожженная дворовая. Марианна потом сказала, что бабушка Надина – сволочь и ведьма, и

больше она в этот ужасный дом не придет, лучше уж встречаться на нейтральной территории, например, на Старом Арбате. К тому же там уличные музыканты, некоторые из которых волнующе сероглазы. А Вера Николаевна сказала, что Марианна сволочь и проститутка, и больше она эту девку в своем доме не потерпит.

– Ты, Наденька, из тех, кому лучше вообще не наряжаться, никак себя не украшать. Потому что любое украшательство привлечет к тебе внимание, а этого допустить никак нельзя.

– Почему? – пересохшими губами спросила пятнадцатилетняя Надя.

– Потому что ты – урод, – невозмутимо и даже ласково констатировала бабушка. – И не надо так на меня смотреть. Ты должна благодарна мне быть за то, что я хоть правду скажу.

И вот теперь, спустя почти двадцать лет, Надя снова рассматривала себя в зеркале, с привычным привкусом ненависти к себе, к своему простому круглому лицу, борясь с нарастающим желанием разбить стекло.

Нужно было на что-то отвлечься. Надя решила приготовить творожники. Ничто так не успокаивало ее, как механические машинальные действия, к которым она относилась почти как к медитации.

Разбила яйца в кастрюлю, руками замесила творог, сахар, муку. Получившаяся масса была теплой и приятно обволакивала ладони. Пальцы работали ловко и привычно. На ближайшие три четверти часа ее единственной заботой стало, чтобы творожные шарики получились ровными и одинаковыми.

Данила находился здесь же, на кухне. Отвернувшись к стене, прилип к экрану ноутбука – как обычно, играл в «Doom». За годы жизни с ним, взрослым ребенком, она научилась не вздрагивать, покрывшись мурашками, когда компьютер вопил что-нибудь вроде: «Я выпущу тебе кишки, подонок!»

Взрослый ребенок.

Надя вздохнула – машинальная непрошенная мысль была болезненной, как пощечина. Что же она наделала? Справится ли она одна, сможет ли быть дважды хорошей матерью? Для ребенка самопровозглашенного, который разбрасывает по кухне поп-корн, гоняет на мотоцикле в дождь, а потом небрежно швыряет заляпанные

грязью джинсы на полку с ее нижним бельем; который не умеет вставать по будильнику, готовить даже бутерброды, принимать хоть какие-то трудности как повод для борьбы, а не очередную тренировку благодостной индифферентности. И для второго ребенка, настоящего малыша, который пока еще похож на зернышко, набухающее в ее животе?

Изменится ли он, Данила, когда в доме появится малыш? Хотя бы чуть-чуть? Нет, на полноценную помощь она и не рассчитывала, это было бы совсем наивно, но вот если бы он хотя бы научился быть более самостоятельным, отвечать за себя, принимать хоть какое-то участие в самообслуживании...

Данила обернулся от мерцающего экрана, рассеянно посмотрел на нее и произнес одно слово:

– Изюм.

– Что? – растерянно переспросила Надя.

– Изюм, – с терпеливой интонацией учителя, который привык, что среди учеников иногда попадаются и слабоумные, повторил он. – Не забудь положить в творожники изюм. Будет вкуснее.

Творожный шарик, выскользнув из пальцев, с коротким хлопотным звуком упал на стол. Надя опустила на табурет, машинально откинула челку со лба, чертыхнулась – рука-то вся в тесте.

– Данил, мне надо бы с тобой поговорить.

Он то ли не обратил внимания, то ли просто не услышал. Продолжал напряженно всматриваться в экран, по которому бегал нарисованный человечек в окровавленной военной форме. У электронного солдата, мимоходом отметила Надя, был квадратный подбородок, который многие почему-то называют волевым, густые брови и маленькие пустые глаза. «Наверное, он плох в постели. Поэтому и старается компенсировать мужскую слабость агрессией», – почему-то подумала она, и это было глупо. Как может быть плох или хорош в постели тот, кого не существует, за которым нет ни прошлого, ни характера, ни истории?

Надя подошла к мужу со спины и сделала то, на что никогда не решилась бы в другой день, – захлопнула крышку ноутбука.

«Макинтош» Данилы был святыней, к которой Наде даже прикасаться запрещалось. Данила за ней так не ухаживал, как за этим

ноутбуком. Ни один предмет не был им столь же восторженно любим. Он мог целый сезон не мыть автомобиль, но вот монитор дважды в день протирал специальной тряпочкой.

Такой компьютер был им не по карману. О покупке спорили два месяца и даже вроде бы пришли к выводу, что Данила ограничится менее пафосным «Toshiba». Но Данила не был бы Данилой, если бы однажды не вернулся домой с блестящими глазами и коробкой в руках.

– Откуда? Откуда такие деньги? – ахнула Надя, которая в первый момент даже – вот дура! – обрадовалась.

Думала, он заработал. Загорелся идеей обладать ноутбуком, напрягся и – все получилось. И так теперь будет всегда, ведь он попробовал победу на вкус, а победа – это наркотик, на который подсаживаешься с единственного крошечного глотка.

Но нет – выяснилось, что деньги Данила одолжил у товарища. «Как одолжил?! – опешила Надя. – Ведь у нас все распланировано! Мы же неделю назад все траты расписали и выяснили, сколько можно тратить, чтобы хватало на все!»

Но выяснилось, что муж все просчитал. Они сэкономят на еде и развлечениях. Элементарно, разве нет? Вместо мяса будут покупать сосиски, откажутся от глупостей вроде кино и пиццы на дом. Тогда легко получится вернуть долг – месяца уже через три.

В тот вечер Надя кричала так, что в итоге слегла с мигренью. Ей вовсе не было свойственно решать проблемы истерическими выпадами. Но легкость, с которой он принял решение о вынужденном аскетизме, сводила с ума.

– С какой стати я должна есть дурацкие сосиски?! – орала она. – Почему ты решаешь за меня, имею ли право ходить в кино?! Почему у тебя ноутбук по завышенной цене, а я не могу купить даже колготки?!

Данила даже спорить не пытался – просто грустно смотрел на нее из-под насупленных бровей. У него здорово получалось особенное выражение лица, что-то вроде «ну разве можно на меня сердиться, что с меня вообще возьмешь, ну ты посмотри на меня, я же такой обаятельный, хоть и раздолбай!»

Тогда они как-то перекрутились. Надя взяла дополнительные смены, немного заняла у Марианны – та как раз купалась во внимании очередного женатого любовника и денег не считала.

И вот Надя захлопнула крышку ноутбука – на пластик цвета стали налипли творожные крошки и облачко муки. Данила обернулся, и в его глазах, как в детском kaleidoscope, появились, сменяя друг друга, причудливые комбинации цветных стеклышек: недоумение, ярость, агрессия.

– Ты... Какого хрена ты это сделала?

Надя опустила на стул. Перед глазами стояла пелена, похожая на колебание раскаленного воздуха.

– Я не верю. Не верю в нас. Ничего не получится. Правда.

– Что? – Он мелко заморгал оленьими ресницами.

Новый kaleidoscope: растерянность, обида.

– Что ты несешь? – Он неловко дернул рукой, как угловатая марионетка. – Ты головой думаешь или... яичниками?

– Ничего не получится, – спокойно и как-то отрешенно повторила Надя. – Это не работает. У нас с тобой. Я знала. Я ведь хотела от него избавиться.

– От кого? – Он вскочил с табуретки, присел перед ней на корточки, осторожно взял ее безвольные руки, заглянул в ее лицо. – Надюш, ты с ума сошла? Почему это у всех получается, а у нас нет?

– Потому что... – У нее не получалось посадить предчувствие в клетку из знакомых слов. – Потому что мы другие. Мы этого не хотели. Мы не готовы.

– Надюша, дорогая моя, да у тебя же это гормоны. Правда, я читал. Ну скажи мне, что ты так не думаешь.

– Читал? – удивилась она.

– Конечно. Да я целыми днями в Сети торчу, все про беременных читаю. И про детей.

Надя наконец сфокусировала взгляд на его лице. Глаза большие, смотрит взволнованно. Знакомая нежность проснулась где-то в области солнечного сплетения. Вяло шевельнулась, приоткрыла один мутноватый глаз, недовольно повела пушистым хвостом. Зачем вы меня растормошили, я так от вас устала. Но я вам отомщу. Приведу с собою сырость, которую будут впитывать ваши подушки и от которой у вас появятся преждевременные морщинки под глазами. И вам будет горько. И вам будет тошно. И вы пожалеете, что не дали мне вздремнуть.

И сырость действительно пришла – некрасиво скривила Надин рот, полилась по ее щекам, щекотным ручейком заползла в воротник домашнего платья. Данила отвел ее в комнату, усадил в кресло, зачем-то принес плед, хотя в квартире было жарко и душно.

– Все будет хорошо. Я тебе обещаю... Потом покажу тебе, сколько всего интересного нарыл. Нам столько всего надо обсудить. Будет ли у нас коляска или слинг. Будем ли мы делать прививки? Как долго ты будешь кормить... Надя, я буду хорошим отцом. Правда. Правда. Правда.

Он повторял это «правда», как магическое заклинание. Заговор, который мог что-то изменить.

Как ни странно, ей стало легче. В голове прояснилось, стало даже как-то неловко за собственные слова, хоть и породило их искреннее отчаяние. Она с надеждой смотрела на мужа, в его взволнованные глаза, на его решительно сжатые губы. Пыталась нащупать чувство чужого крепкого плеча... и никак не могла.

Платье, сшитое Надей для подруги, подразумевало ассоциации – Венеция, весна, невинность, наглая мушка на щеке перепудренной красавицы, жадный мужской взгляд из-под темных бровей, запретная страсть в нише полуразрушенного палаццо. Декольте, оборки, кружева, легкость шелка, нежность пастели и глубокое, как омут с русалками, декольте. Когда Марианна в этом платье взяла в руки автомат (или что там это было, она совсем не разбиралась в оружии), сотрудники тира синхронно достали мобильные телефоны. Снимали с ухмылками, исподтишка, не догадывались, наивные, что такой реакции она и ожидала, что она нарочно позировала – хлопала ресницами и оттопыривала прорисовывающийся под шелками круглый зад. Вечером того же дня ролики с Марианной в тире появились на «Ю-тьюбе».

Стрелком она была предсказуемо никудышным – длинное платье мешало правильной стойке, отдача казалась невыносимой для ее плеч. Потом на нежной, как у большинства рыжих, коже набухнет синяк, и Борис, косвенный виновник, будет осторожно дуть на него, и это будет первая минута их настоящей близости. Да, одна мишень ей покорилась – неискушенное сердце мужчины, который ее сюда привел. Бориса. Они будут близки на исходе того же затянувшегося дня, и для него это будет спонтанная страсть, а для нее – отточенный сценарий бенефиса.

Из тира они поедут в тихое итальянское кафе и закажут один десерт на двоих, и там он даже не будет врать об одиночестве в семье, а скажет все как есть – у них с женой есть договоренность о некоторой свободе. Не то чтобы они гуляют направо и налево, но если у кого-то из них случается «настоящее», то второй не будет препятствовать. Ведь истинная близость – это стопроцентное принятие.

– Я бы так не смогла, – облизнет губы Марианна. – Я собственница.

– А я знаю, – ответит Борис. – У тебя это на лбу написано.

Марианне, с одной стороны, будет обидно. Обычно мужчины ей лгут. То есть не то чтобы обводят вокруг пальца доверчивого Буратино – нет, она опытный игрок и прекрасно знает правила. Просто они вдвоем – мужчина и Марианна – разыгрывают древний сценарий. Он рассуждает об одиночестве, а она его жалеет и понимает все-все. При таком раскладе получается, что она – не просто подобие резиновой куклы из секс-шопа, которую вынимают из шкафа раз в неделю, чтобы потерзать, а потом, свернув в рулон, положить на место. Нет, она Женщина, мудрый эмпат, она не похожа на ту истеричку, в паспорте которой стоит штамп о браке и которая не хочет видеть в нем пойманного льва. Марианна не такая, она льва разглядит, раздразит пряным запахом горячей крови, а потом выпустит на волю. С другой стороны, Борис был честен, и пусть это так непривычно, но разве на честность обижаются? Он предпочел играть открытыми картами, рассказал ей все еще до того, как они решили снять номер в отеле на час. Он дал ей возможность выбора, предложил честное сказочное перепутье, архетипический камень с надписью: «Налево пойдешь – сам умрешь, направо пойдешь – коня потеряешь». Допив кофе с виски, она, конечно, все равно пошла налево. Наклонившись к его покрасневшему уху, она сама произнесла: «Не хочу сегодня расставаться с тобой». И они отправились в отель, и Марианна даже не спросила, откуда ему известен путь в это временное унижительное гнездышко любви. Продумал все заранее? Или шел по натопанной тропе?

А на следующее утро невыспавшаяся, но все равно красивая, Марианна рассказывала Наде о том, что это была за ночь, и какой он спокойный и опытный, и что ей кажется – это судьба.

– А как же его жена? – спросила Надя. – Она тоже твоя судьба?

Марианна хохотала, беззаботная.

– Жена – это просто человек, который живет с ним рядом. Человек, который в любой день может и переехать. Если так выпадут карты.

– Ну-ну.

– Кстати, Сурова, а чего это ты сегодня такая красивая? – прищурилась она.

Надя сшила платье и себе, и это было, конечно, не «палаццо-Казанова-мушка-на-щеке» – обычный длинный просторный сарафан в стиле гаремной принцессы.

– Просто так. Данила все время говорит о беременности. Мне захотелось почувствовать себя... желанной.

– Данила? Все время говорит? – присвистнула Марианна. – Верится с трудом, но раз уж так тебе угодно...

Надя, пробормотав что-то невнятное, уткнулась в полку со свитерами, и будь ее подруга чуть менее зацикленной на себе, она бы непременно заметила и внезапное смущение, и нервную улыбку, и покрасневшие уши. Но Марианна не заметила ничего – она находилась в том состоянии счастливого предвкушения, когда ты словно заточен в кокон из сахарной ваты и все вокруг теряет смысл, кроме щекотных солнечных зайчиков, танцующих в животе.

Была среда, и как только рабочий день подошел к концу, Надя соврала, что опаздывает к стоматологу, и, опередив подругу, выскользнула из торгового центра. В автобусе было так душно, что она едва не передумала ехать. Забеременев, она старалась избегать московского часа пик.

Они договорились встретиться у «Старбакса» на Тверской. Уже подбегая к нужному дому, она с некоторым неудовольствием вспомнила, как Марианна рассказывала о французском ресторане, в котором они с Борисом были накануне, и о свежайших устрицах, которыми они там угощались. Ее же пригласили в обычную кофейню самообслуживания, каких в городе десятки.

«Мы обе воровки. Она ворует у жены, и это отвратительно. А я – у любовницы, и это еще более мерзко».

Борис приветствовал ее так, словно они были разлученными в детстве близнецами. Именно близнецами, потому что ни в движении, которым он притянул ее к себе, здороваясь, ни в легком прикосновении

сухих губ к щеке не было ничего интимного. Искренняя дружеская радость. Они взяли по пирожному и по большому кофе.

– Я все-таки хочу спросить. – Надя так неловко отхлебнула капучино, что над ее губой остались светло-желтые молочные усы. – Зачем тебе все это нужно? Зачем ты меня позвал?.. То, что ты говорил в кафе, совсем неубедительно.

Борис протянул руку с салфеткой через стол и промокнул Наде рот как маленькой. Его рука была твердой, а глаза – смеялись.

– А можно тогда встречный вопрос?

– Давай.

– Зачем ты пришла?

– Что? – растерялась Надя.

– Ну как же. Ты не понимаешь, зачем мне все это нужно. Я кажусь неубедительным. Вчера у меня было свидание с твоей лучшей подругой, и я даже не стану тебе врать, что оно прошло так себе. Нет, я честно говорю, что твоя подруга – роскошная баба. С которой я теперь, вероятно, буду спать, во всяком случае, время от времени.

Надя ощутила, как уши и кончик носа стали горячими. У нее была бледная, легко краснеющая кожа.

– Я... не знаю, – выдавила она. – Не могу объяснить. То есть могу, но получится запутанно, многословно и слишком лично.

– Ладно, – легко согласился он. – Тогда давай поговорим о чем-нибудь еще. Безобидном. Твое личное пространство еще успеем нарушить. Я был в паломническом туре на священной горе Кайлаш, совсем недавно, два месяца как вернулся.

– И... что?

– Ты хотя бы знаешь, что это за гора?

И Наде пришлось признаться, что нет, но это, казалось, его не разочаровало.

– Тибетцы считают ее священной. Я обошел ее дважды, с караваном яков. Ночевал в палатке, в пыли. По вечерам молчал у костра. У меня был интересный проводник – казалось, что ему сто лет, а выяснилось потом, что всего сорок.

– Алкаш, что ли?

– Сама ты алкаш. А у него просто глаза мудрые. Ну и морщины – от ветра. О, какие там ветра. Кожа сохнет, как пергамент, глаза щиплет, а горло становится сухим, как асфальт.

– Да ты романтик, – улыбнулась Надя. – Но зачем ты вдруг начал мне это рассказывать?

– Индуисты считают, что Кайлаш – любимое место Шивы.

– Это который разрушитель? – Что-то шевельнулось в ее памяти.

– Именно он, – мягко улыбнулся Борис. – Местные считают, что в этом месте сжигается дурная карма и разрушаются иллюзии.

Надя со вздохом потрогала то место на груди, где у православных обычно находится крестик, а у атеистов, как она, просто нежная косточка между ключицами. Борис уловил ее настроение:

– Нет, я не собираюсь уговорить тебя продать квартиру, чтобы поселиться в пыли и хором петь «ом мани падме хум»... Просто хочу тебе рассказать одну историю.

– Ладно...

– Меня затащил туда приятель, бывший клиент. У него несколько лет назад умерла жена, и он попал в мой психологический центр. Почти год мы разбирались с его болью, а когда разобрались, он решил принять буддизм. Уехал в какой-то ашрам, чуть ли не в Гоа. Я, конечно, расстроился. Счел его одним из тех бессмысленных эскапистов, каких так много развелось в последнее время в Москве. От себя, Надя, ведь не убежишь. Хоть ты обреешься наголо и поедешь на випассану в Катманду. Хоть продашь квартиру, чтобы годик пожить шикарно в каком-нибудь Майами... Так вот, что касается друга моего. На какое-то время мы потеряли связь. А потом он однажды позвонил и предложил встретиться. Я обрадовался, потому что к тому времени, если честно, считал его сгинувшим. Ты не представляешь, сколько у меня знакомых сгинуло по ашрамам разным.

– Так и сгинули? – недоверчиво округлила глаза Надя, которой казалось, что он рассказывает о другой планете.

– Так и сгинули, – развел руками Борис. – И живы ли они, никто не знает. Возможно, включая их самих... Я очень волновался, когда шел на эту встречу. Оказалось, зря. Он выглядел здоровым и счастливым. Сильно загорел. Но появилось в нем что-то... Я даже не могу подобрать правильного эпитета, какой он стал. У него как будто космос из глаз струился, прямо на меня... Мы проговорили три часа. Вроде бы ни о чем. И он пригласил меня в паломническое путешествие на Кайлаш. Мы должны были обойти гору с проводником и караваном яков. Я посоветовался с женой, и мы решили, что нельзя

вечно жить в скорлупе. Надо расширять границы мира. И вот я купил рюкзак, горные ботинки, палатку.

Сначала мы добрались до Лхасы, там встретились с другими членами группы. С нами еще шли два француза, австралиец и странная американка, модель, которая боролась с героиновой зависимостью. Она была настроена решительнее всех, но, конечно, не дошла и до первого перевала, пришлось ее возвращать с одним из проводников. Когда мы через две недели вернулись, она была уже лысая, с росписью на руках и мнила себя чуть ли не воплощением Шакти.

– Интересные у тебя знакомые...

– Надя, ты меня, уж пожалуйста, не перебивай. Потому что это важно. Ты – третья, кому я это все рассказываю.

Надя послушно замолчала и даже не стала спрашивать, кем были первые двое – уж не женой ли и Марианной?

– На внедорожниках мы двинулись на запад. Пока наконец не прибыли к подножию Кайлаш. Там нас ждали проводники и яки. И вот мы тронулись в путь, и не могу сказать, что это было легко. В какой-то момент я даже пожалел о том, что во все это ввязался. Друг мой уговаривал потерпеть. Четыре раза в день мы делали специальные дыхательные упражнения. Он учил, как именно надо дышать, чтобы отрешиться от всего на свете и заставить внутренний голос замолчать.

И вот наступил момент, когда я поймал себя на мысли, что с каждым шагом становится легче и легче. Ни стертые новыми ботинками ноги, ни стертые лямками рюкзака плечи уже не воспринимались трагедией. Я стал каким-то легким и пустым, и, наверное, это было лучшее ощущение, которое мне довелось испытать в жизни. А пресной мою жизнь не назовешь. И я был так удивлен, а мой друг как будто бы знал заранее и надо мною посмеивался. Как будто бы он был отцом, а я – сыном в нежном возрасте, изумленно рассматривающим впервые вставший член.

Но самое удивительное было впереди. Если честно, я до сих пор не знаю, было ли это на самом деле.

В какой-то день мы прошли больше обычного. Под вечер я уже с ног валился и был готов уснуть прямо без палатки, на холодных камнях. Проводники возились с ужином и костром, мой друг ушел в уединенное место, чтобы медитировать, а я просто тупо сидел на

камне и не мог пошевелиться. Странное было ощущение, я не понимал, сплю или нет.

В какой-то момент меня окликнули. Голос был женским. Американская героинщица к тому моменту давно нас покинула, других женщин в группе не было. Сон как рукой сняло. Я обернулся на голос и увидел перед собою высокую босую женщину в длинной юбке.

Она была некрасива по европейским меркам, и в то же время от нее глаз нельзя было отвести. У нее были крупные черты лица, прямая спина и загрубевшие ступни. Ночь была холодной, на мне были шерстяные носки, свитер и ветровка, а она – в легком платье и как будто бы не мерзнет совсем. Я вскочил и предложил ей свитер, она со смехом отказалась и спросила, может ли она присесть со мной рядом. Я, конечно, спросил, кто она. Она назвала какое-то непроизносимое имя, а потом сказала, что у нее очень мало времени и она должна передать мне кое-что, лично. Я очень удивился. У меня не было знакомых в Тибете, никто не мог мне ничего передать. Женщина тем временем сказала, что я могу считать ее ненормальной, самое главное – я должен запомнить ее слова.

Она сказала:

– У тебя есть редкий талант ясно видеть чужую дорогу.

– Это что значит? – удивился я.

– Ты иногда сам не ведаешь, что творишь, зато ты можешь стать поводырем для других. И если уж ты увидел заблудившегося, то лучшего поводыря ему не найти.

Тогда я, конечно, подумал, что это меня разыгрывает друг. Что он заплатил местной женщине и та разыгрывает гадалку-предсказательницу.

Она заметила это и поторопилась сказать:

– Ты ничего не отвечай, твои эмоции – это не то, что сейчас важно. Ты, главное, запоминай. Ты вернешься в свой город и сразу же встретишь троих. Им нужна будет твоя рука.

– Не поверите, но я каждый день встречаю десятки людей, которым нужна моя рука! – с сарказмом воскликнул я. – Я ведь психолог, и вам наверняка сказал об этом мой друг!

Она с улыбкой ждала, пока я замолчу, а потом заговорила снова:

– Эти люди не будут похожи на тех, кому ты обычно протягиваешь соломинку. Сейчас тебе трудно понять, но когда придет время, ты их

обязательно узнаешь. Словно в спину тебя толкнут. Может, ты даже вспомнишь обо мне, и если это случится, знай – это знак. Ты не должен отказывать этим людям, не должен проходить мимо.

– И тогда мне подарят волшебную дудочку?

– И тогда ты, возможно, станешь поводырем не только для других, но и для самого себя, – тихо рассмеялась она. – Трудно это, наверное, видеть хорошо освещенный чужой путь, а самому все время спотыкаться на кочках.

Если честно, она как в воду глядела. Я, Надя, хороший психолог. У моего центра есть репутация. Рекламу я не даю, но сарафанное радио работает. Я и правда помог многим. Но вот у самого меня... Жизнь как-то не складывается. Годами хандрил возле первой жены. Потом бросил ее, резко и подло, потому что влюбился в Свету. Влюбился так, как никогда не любил. Потом затосковал и там. И, продолжая ее любить, живу в странном формате. Иногда мне кажется, что это и есть настоящая любовь, без эгоизма. А иногда кажется, что я запутался. И я начинаю жалеть, что я – это я, а не кто-то другой, потому что в противном случае я бы точно знал, что делать дальше.

– А сейчас прости, но мне пора, – сказала странная женщина.

И я даже не помню, как она ушла. И вообще не помню тот вечер, ватная голова была. Должно быть, я на автомате поужинал вместе со всеми, потом приполз в свою палатку... Следующее, что я помню отчетливо, – утро. Друг будит меня, светло, яркое солнце, потеплело, проводники уже сварили нам рис.

– Ну, ты и соня, – покачал головой мой друг.

Я, разумеется, начал взахлеб рассказывать о женщине, о нашем разговоре. Но потом заметил, что он смотрит на меня как-то странно.

– Борис, какая еще женщина? Мы вчера добрались до привала, и ты рухнул, отказавшись от ужина. Я едва уговорил тебя снять ботинки.

– Нет, это было до того, – упрямылся я. – Проводники разводили костер, ты ушел медитировать, а я сидел в стороне, на камне. Тут она и подошла.

– Бог с тобой, какой там медитировать... Я вчера тоже здорово устал. Никуда я не уходил, и ты тоже. Мы вместе разобрали палатки, и ты при мне отправился спать. Я с проводниками еще какое-то время посидел у костра, ты никуда не выходил.

И тогда мне стало по-настоящему страшно. Я понял, что это были галлюцинации – чистый воздух, давление, усталость, святое место.

Но я продолжал сопротивляться:

– Наверное, она пришла из деревни. Здесь же есть поблизости деревня... Хотя она была слишком высока для местной. Скорее похожа на индианку. И одежда такая странная...

– А может быть, она вообще была русская? – хитро прищурился друг.

Я не сразу понял, куда он клонит.

– Борь, насколько мне известно, тибетского ты не знаешь, а на английском говоришь на уровне «ту ти ту ту ту». Как же вы с ней общались? Если женщина действительно была, на каком языке вы разговаривали?

Я расстроился. А друг начал меня успокаивать. Все-таки путешествие было тяжелым. Да и перепад давления. И пранаямы, которые я под его руководством выполнял каждый день, а ведь гипервентиляция легких приводит к состояниям измененного сознания. В общем, он убедил меня, что ничего страшного не случилось, и я поверил.

Мы вернулись в Москву. Но не прошло и недели, как случилось нечто особенное. Мой психологический центр иногда проводит тренинги для топ-менеджеров. И вот я приехал в какое-то офисное здание и там никак не мог найти место для курения. Везде висели таблички «Курить запрещено». Я уже возненавидел их администрацию, когда вдруг на глаза мне попался выход на крышу. Ну что делать – полез. На крыше было здорово – солнце, отличный вид. Я выкурил две сигареты, и все равно уходить почему-то не хотелось. Такое странное состояние было – меня внизу ждали люди, была назначена встреча, а я почему-то продолжал сидеть на крыше и жмуриться на солнышко. Хотя такое поведение мне несвойственно. Вот я так сидел, сидел, и вдруг на крышу выбежала заплаканная девушка. Она неслась прямо к краю, и я едва успел остановить ее. Буквально в последний момент схватил за подол юбки и потянул к себе. Мы вместе упали. И только потом я разглядел, что ее юбка была этнической, какую обычно носят женщины Непала. Меня просто передернуло. В такой же юбке была та женщина, которая пригрезилась мне на горе Кайлаш. Девушка сначала расцарапала мне лицо и сказала,

что жизнь ей испортил другой мудака, ну а я – испортил ей смерть. И уже потом приняла из моих рук сигарету, и мы разговорились. Мне вспомнились слова тибетской женщины – что я встречу людей, которым понадобится моя рука. Я дал заплаканной девушке визитку своего центра, но она сказала, что лишних денег у нее нет, потому что последние она потратила на аборт от одного мудака. Мудака тот был женат, но долго пудрил ей мозги, говорил, что любит, и обещал развестись. Хрестоматийная история: как только увидел две полоски на тесте, уехал с женой на месяц в Афины, даже не попрощавшись. Сбежал. Она ждала его, ждала, но у него даже не хватило смелости сказать в лицо, что все кончено. А она тем временем сходила на УЗИ и обнаружила, что ждет близнецов. В Москву она приехала из Пензы всего год назад, не было у нее ни квартиры, ни работы стабильной, кое-как перебивалась, какие уж там близнецы. Пришлось записаться на выскабливание. Все прошло хорошо, но что-то изменилось. Тоска становилась все чернее и чернее и в один прекрасный день накрыла ее с головой. И она поняла, что немедленно надо со всем этим покончить, и бросилась на крышу.

Я первым делом купил ей хорошие антидепрессанты и четыре новых платья, потом сводил на «Разговоры мужчин среднего возраста», где она впервые за много дней улыбнулась, пусть и немного вымученно. Каждый вечер ехал с работы не к жене, а к той девушке. Все боялся, что она суициднет. Потом устроил ей отпуск в санатории, в Гаграх. А она все не могла понять, откуда я такой на ее голову взялся. Ничего мне от нее не надо, секса не хочу, не ухаживаю за ней. Правда, потом привыкла. Так, постепенно, и вытянул ее.

Но это еще не все. Не так давно я шел по Старому Арбату – просто слонялся. Надо было убить свободный час между клиентами. И вот я рассматривал мазню уличных художников, улыбался встречным хиппи и вдруг заметил странного молодого человека. Он был какой-то отрешенный, в странной домотканой рубахе, кое-как обритый наголо, босой, грязный и глаза пустые. А в руках – непальская поющая чаша, бронзовая. Как ее не отобрали маргиналы, я не знаю. Я к нему подошел, спросил, не нужна ли помощь, но он как будто бы и не слышал меня, смотрел сквозь... Не буду тебе рассказывать, что мне стоило найти родственников. Выяснилось, что он был студентом философского факультета МГУ, четыре года назад дал обет молчания и

ушел из дома. Где скитался все это время – неизвестно, родители его уже мертвым считали. Я помог найти хорошую клинику. Сам хожу к нему пару раз в неделю. И пусть он пока так и не заговорил, но хотя бы начал фокусировать взгляд на чужих лицах и улыбаться.

– Все это интересно, – не выдержала Надя. – Только одно не возьму в толк. При чем здесь я?

– Я протягиваю тебе соломинку. Если не дура – бери, – серьезно сказал Борис.

Надя сначала тупо посмотрела на настоящую соломинку, коктейльную, которой он помешивал кофе, и только потом поняла, что его слова – аллегория.

– Что? И от чего же ты собираешься меня спасать? Я же не прыгаю с крыши. И не даю обетов молчания. Я – обычная девушка, работающая, семейная, скоро буду и детная.

Надино обиженное возмущение его почему-то рассмешило.

Смеющийся Борис был вылитый Кларк Гейбл – та же характерная линия бровей, те же глаза с поволокой, он даже голову откидывал точно так же. Хотя не исключено, что нарочно репетировал перед зеркалом, все же он очень странный.

– Спасать? Спасать я тебя, Наденька, не собираюсь. Я просто знаю, что ты – третий человек, о котором говорила та женщина на горе Кайлаш. Ты, конечно, сейчас обдумываешь план бегства. Наверное, нам и правда лучше сейчас попрощаться. Чтобы ты спокойно могла все обдумать, переварить, ночь с этим всем переспать. И даже не одну ночь. А в следующую среду мы опять здесь встретимся, если захочешь. Я в любом случае буду тебя здесь ждать. А ты приходи, если сочтешь нужным.

– Ладно, – несколько разочарованно протянула Надя. – Тогда я пошла?

– Постой... Хочешь скажу тебе, почему я все-таки обратил на тебя внимание? Что меня толкнуло в спину, в самый первый момент?

– Ну! – Она придвинулась ближе, их головы сблизились над крошечным столиком кофейни.

– Твой шарф, – прошептал Борис, и в тот момент он был похож не на Кларка Гейбла, а на умалишенного, сбежавшего из-под больничного ареста. – Помнишь, какой на тебе был в тот день шарф?

Надя помнила. Это был ее любимый шарф, купленный тысячу лет назад в эзотерическом магазине «Белые облака». Он был грубо сшит из разноцветных кусочков безымянными тибетскими умельцами. Вернее, не такими уж умельцами, потому что сама Надя сшила бы подобный шарф в тысячу раз аккуратнее. Она уже не смогла бы вспомнить наверняка, зачем отдала за кривоватую поделку полторы тысячи рублей. Но шарф неожиданно прижился. Она его нежно полюбила и носила часто – то традиционно вокруг шеи, то на голове, на манер хиджаба, а однажды даже скрутила его в тюрбан.

– Твой шарф был таким же... Таким же, как на той женщине в горах. Только у нее была покрыта голова. Но пока мы разговаривали, он соскользнул на плечи. Она его поправляла, поэтому я и запомнил... Точь-в-точь такой шарф... Сначала я обратил внимание на него, а потом увидел твои глаза... Глаза больной собаки.

Беременность замедляет время. Окружающие вдруг начинают казаться бестолково суетливыми, угловато неловкими. Плывешь среди броуновского движения никчемных человечков неповоротливой белобокой шхуной. Смотришь сонными глазами из-под разросшихся бровей: у кого-то контракт, у кого-то – новый любовник, у кого-то – юбилей, кто-то летит в Барселону на выходные. А у тебя пупок распускается, и больше ничего.

Чтобы хоть как-то успокоить сердце, Надя записалась на йогу для беременных. Марианна посоветовала. «У тебя откроются чакры, и все сразу встанет на свои места!» – с авторитетным видом сказала она. Правда, когда Надя спросила, что такое чакры, Марианна сначала смутилась, потом разозлилась, а потом и вовсе скомкала разговор, напоследок обозвав подругу темной деревенщиной.

В возможность открытия чакр (а если честно, то и в их наличие) Надя не верила, но на занятие решила пойти – из любопытства. И с тайной надеждой познакомиться с кем-нибудь, кто тоже ждет ребенка. И может быть, Наде повезет, и та, другая, потенциальная подруга, тоже будет бояться стать мамой. И они смогут часами это обсуждать.

Но другие беременные, пришедшие на занятие, казались забавными куклами, одинаковыми в беззаботной своей улыбчивости, в блеске ухоженных зубов, в пряничной нарядности. У всех – разноцветные, как леденцы, спортивные костюмы и яркий педикюр. Они обсуждали мужей, диеты и йогические асаны – и все это в

щебечущей интонации. Стайка круглобоких нежных тропических птиц.

Надя была чужаком, это сразу чувствовалось. Унылая, серая и нервная, она пришла на первое занятие в растянутом синтетическом костюме, с томиком Лимонова в руках, не смогла поддержать разговор о пользе озоновой терапии (разговор этот ей бросили снисходительно, как собаке кость) и весила больше двух любых посетительниц клуба вместе взятых. Она казалась пришельцем с другой планеты – оттуда, где слякоть, низкие облака и ядовитые кислотные дожди. Зачем-то эмигрировала в их солнечный рай, принеся с собою частичку тоскливого мрака.

Преподавательница – похожая на балерину грузинка с двумя тяжелыми косами – тоже была не Надиной крови. Она хорошо знала своих учениц: у кого-то, поздоровавшись, спросила, как дела в банке супруга, у кого-то – куплен ли дом в Черногории, у кого-то – как прошла липосакция коленей.

Наде подумалось, что Марианна сумела бы найти общий язык с этой диковинной стаей. Марианна им бы понравилась.

Она устроилась в углу, стесняясь собственной неповоротливости. Только честолюбие мешало ей уйти до начала занятия.

Надя любила быть честной – по крайней мере с самой собою. Быть честной – больно. Лучше относиться к себе как к любимому ребенку – с восторженным умилением и необъяснимой любовью. Надя же привыкла оценивать себя объективно, и это всю жизнь ей мешало.

И глядя на этих довольных жизнью, светящихся от сытости женщин, она вдруг осознала свою ущербность. В очередной раз почувствовала, насколько неправильна и убога ее жизнь, особенно по сравнению с теми, у кого все сложилось. Почему так? Когда это началось? Сама ли она виновата, или ее воспитали с таким самоощущением и теперь все и всегда будет невпопад?

Многие женщины должны были родить со дня на день – они и не пытались скрыть огромные тугие животы, наоборот – с гордостью обтягивали их цветастыми футболками. Но самой неповоротливой была все же она, Надя. Когда преподавательница показывала правильные позы – асаны, – казалось, что это проще простого. Но Надя была как деревянная, тело не слушалось. Громко, как сухие ветки под сапогом, хрустели суставы. Болела шея, затекла спина.

– Женщина... – преподавательница, разумеется, не запомнила ее имя, – вы бы зашли ко мне после занятия. Вы же знаете, что тело отражает происходящее в нашей жизни, и я боюсь, что...

– Все у меня хорошо, – буркнула Надя, торопливо складывая коврик и стараясь не расплакаться при всех.

– Вы уже уходите?

– У меня... Кажется, токсикоз, – ляпнула она.

Когда она шла к двери, ей казалось, что другие беременные смотрят не с естественным сочувствием, а с торжествующим, самодовольным отвращением.

Однажды мама попросила: приходи в воскресенье и помоги мне вымыть окна.

И Надино сердце словно сосулькой проткнули – какие окна, февраль, минус двенадцать, стекла за скромную плату дважды в год моет уборщица из подъезда. Сразу поняла: мама малодушничает, не решается что-то сказать. Что-то важное и, видимо, очень неприятное. Но что? Она выходит замуж за уголовника и собирается отписать ему квартиру? Она хочет сделать подтяжку лица, взяла в банке кредит, а отдавать Наде? Сценарий маминой жизни словно писал авантюрист-недоучка – предсказуемые интриги, словно топором рубленые диалоги и никакого подтекста.

Мама скомкала прощание, как одноразовый бумажный платок, швырнула его дочери в лицо и отсоединилась, для верности отключив телефон. А Надя весь вечер пила валосердин и то курила, то плакала, то слушала Селин Дион.

В воскресенье она пришла рано утром, злая и бледная, с грязными волосами и в старом пуховике. Мама была румяна, пахла медом и лавандой, однако взгляд упорно прятала. Предложила кофе, вафельный торт и брошюру Геннадия Малахова. «Посмотри, ты же хотела похудеть, а он о лечебном голодании пишет. Мудрый мужик, моя подруга по его методу печень чистит».

– Какое голодание, какая печень! – взорвалась Надя. Книжка полетела за батарею. Мамин кот, кругломордый и лохматый, будто бы молью поеденный, недовольно фыркнул, взлетел на шкаф и оттуда смотрел на Надю своими желтыми совиными глазами.

Мама на всю жизнь так и осталась тем ясноглазым созданием, которое в шестидесятом году впервые взглянуло на умиленных ее

недетской серьезностью акушерок. К своим почти пятидесяти она обросла жирком, обзавелась хроническими заболеваниями вроде варикоза и холецистита, и внешне уже ничем не напоминала ту бойкую девочку, о которой восхищенная учительница однажды сказала: «Это будет звезда!» Однако ее широко распахнутые глаза до сих пор смотрели на мир с лучистой наивностью, ее смех был все столь же звонким.

– Наденька, вот, посмотри! – На вытянутых маминых ладонях лежало что-то воздушно-розовое, похожее на бeze.

Надя подцепила мизинцем кружевную кайму.

Платице.

Крошечное платице с юбкой, похожей на балетную пачку-шопеновку, и витиеватой бисерной вышивкой на груди.

– Это же...

– Для нашей принцессы, – просияла мама. – Правда же, оно хорошенькое? Правда? Правда?

Не зная, куда выплеснуть бьющую фонтаном энергию, мама несколько раз подпрыгнула и звонко хлопнула в ладоши. Учитывая ее комплекцию, смотрелось это печально.

– Мам... Ну ты что, у меня же еще ничего не ясно... А вдруг это будет мальчик?

– Ну уж нет, – надула губки мама. – Я почему-то уверена, что девочка...

Она на секунду нахмурилась, но затем ее лицо прояснилось:

– А если будет мальчик, сошьем ему бархатные штанишки! С кисточками!

Весело болтая, мама увлекла ее на кухню, где прямо пахло густым томатным супом и печеными яблоками. Это было удивительно – мама готовить никогда не любила, предпочитала перебиваться полуфабрикатами. Надя остановилась посреди кухни, изумленно оглядываясь. Вроде бы здесь ничего не изменилось, но кухню словно отполировали, вдохнули в нее душу, и она зажила, бодро позвякивая кастрюлями и покачивая свежими тюлевыми шторками.

Мама, перехватив ее взгляд, польщенно зарделась:

– Да это я так... Не обращай внимания... Чуть-чуть освежила здесь все. Видишь, занавесочки новые. И скатерть. Я всю квартиру

собираюсь обновить, все-таки малыша ждем... И комнату Либстера тоже, царствие ему небесное.

Надя собиралась возразить: дом малыша будет не здесь, а у Данилы, но мама предупреждающе подняла ладонь:

– Ну вы же будете в гости приезжать! Не так и далеко, у вас же машина. А может быть, когда-нибудь разрешишь мне забрать маленького на выходные.

– Мам... Да мама же!

– Ну что? – светилась Тамара Ивановна. – Что такое?

– Ты не пьяна?

– Дурочка ты, – надулась она. – Я вообще не пью. В смысле – одна. Я просто... Подумала, что мы с тобой, в сущности, никогда не были близки. Это мой шанс. Понимаешь, Надюша? Эгоистично звучит, да?.. Шанс отдать тебе то, что когда-то недодала. Я же знаю, что ты на меня всю жизнь дуешься. Думаешь, не вижу, каким волчонком смотришь... А твоя девочка – это же продолжение тебя... И я смогу быть с нею... другой.

– Я не знаю, девочка это или мальчик, – довольно грубо буркнула Надя.

Потому что грубость – лучшая защитная реакция от несвоевременной нежности. А почему нежность всегда воспринималась ею как нечто несвоевременное, Надя и сама до конца не понимала.

У Нади было секретное место. Сквер с заброшенной детской площадкой, затерявшийся во дворах близ Сретенки. Она называла этот дворик по-буддийски – местом смеха – и больше всего на свете боялась, что однажды на не тронутое временем пространство обратит внимание какой-нибудь застройщик. Выцветшие лавочки уберут, а на месте кустов сирени сначала будет неряшливый котлован с муравьями-строителями, а потом и безликий многоквартирный дом с дорогими квадратными метрами, мраморными холлами и стервозными консьержками.

Надя всегда приходила сюда одна и всегда с сигаретами, хотя считалась некурящей. Ей нравилось сидеть на старой лавочке, под тополем, который каждый год собирались срубить из-за жалоб тех, кого он атаковал июньским пухом.

Почему-то именно в этом дворе, найденном еще в детстве, ей было спокойно и хорошо, она чувствовала себя почти в безопасности. Традиционно она приходила сюда, чтобы пережевывать стресс. Первая любовь, первый секс, первый непerezвонивший мужчина, ссора с подругой, проблемы на работе – любая боль, как опытный кукловод, вела ее сквозь переулки, к знакомой лавке. Надя курила и думала. А когда уходила, ей было пусто и светло.

Как в стихотворении Тарковского-старшего:

Я рыбац, а сети
В море унесло.
Мне теперь на свете
Пусто и светло.

Беременной Надя приходила сюда особенно часто. Сама не понимала почему – внутренне она не чувствовала себя нуждающейся в утешении и покое. Может быть, у нее не было того, о чем мечтает, наверное, любая женщина, в которой бьется два сердца, но и жаловаться тоже было не на что.

Позвонил Данила. Голос у него был странный, как будто бы торжественный. Как человек, выросший в семье невротиков, Надя была чуткой к интонациям и как огня боялась перемен.

– Что-то случилось. – Она потушила сигарету о серый песок.

– Да. – По голосу было понятно, что Данила улыбается.

Но Надя не расслабилась. У мужа были необычные реакции на мир. Когда пришла телеграмма о том, что в Ростове-на-Дону скончался его отец, он сначала смеялся, весь вечер искрометно шутил о том, что смерть – это условность. И что горевать по умершему – это почти гордыня, ведь если ты считаешь, что ему так не повезло, значит, еще не смирился с тем, что сам смертен, что твоя собственная смерть может наступить в любой момент, а не в нафталиновой старости. Надя сочувственно слушала этот псевдофилософский бред, иногда сдержанно соглашалась. Они помянули покойника коньяком, вместе приняли ванну и легли спать. Среди ночи Надя обнаружила, что мужа рядом нет, – он сидел в темной кухне, при свете зажигалки рассматривал какие-то черно-белые фотографии и плакал. Станным человеком был Данила, и его телефонная веселость ничего не значила.

– Успокойся, Надюша. У меня хорошие новости. Я решил изменить свою жизнь.

Но и это не расслабляло, потому что в последний раз Надя слышала вдохновенное «решил изменить свою жизнь», когда муж ни с того ни с сего собрался покорять Килиманджаро с полужнакомыми альпинистами. Еле его отговорили. Он был гипертоником, он бы там пропал. А годом раньше Даниле тоже захотелось перемен: он договорился с парашютистами, и те сбросили его с крыши жилого комплекса «Алые паруса». Если бы он не сломал ногу и не провел три месяца прикованным к постели, кто знает, чем бы все это кончилось.

– Ну почему ты такая подозрительная. А я ведь работу нашел.

– Что?

Надя была готова думать о покорении многотысячников, дрессировке львов и археологических экспедициях в джунгли Перу, но никак не о чем-то простом, приземленном.

– Работу?

– У нас же будет сын. – Он помолчал и был вынужден добавить: – Ну или дочь. Мне нужно было это сделать. Моих заказов не хватит. Теперь я буду продавать соковыжималки.

– Какие соковыжималки? Данил, ты издеваешься?

– Нисколечко. Подвернулась такая возможность, решил не отказываться.

– А почему тебе не найти работу по специальности?

– Потому что айтишников – пруд пруди. Конкуренция такая, что у меня есть шанс только шестерить в мелкой конторке, настраивая блондинкам беспроводную клавиатуру.

– Торговец соковыжималками гораздо более эксклюзивная специальность, – съехидничала Надя.

– Ну почему ты всегда меня опускаешь? Это, между прочим, соковыжималки будущего! Там четыре режима, для фруктов разной плотности и ножи из специального покрытия.

– Тебя там зомбировали, что ли? Или ты мне пытаешься ее продать?

– Ты невозможный человек, Надежда. Просто невозможный. То ты куксишься из-за того, что я, видите ли, маргинал... а когда я хочу все исправить, когда по-настоящему решаю взяться за ум, измениться...

Данила всегда говорил сбивчиво, когда нервничал. Как нерадивый ученик, который едва-едва успел бегло просмотреть чужую шпаргалку перед экзаменом, запомнил несколько кодовых слов и вот теперь пытается раздуть с их помощью мыльный пузырь приемлемого ответа.

– Ты сама, сама просила меня работу найти и что теперь?

– Данила, но я была уверена, что... – Надя осеклась, усилием воли заставила себя замолчать.

«В самом деле, что я делаю. Он же правда пытается. Пусть неловко, и пусть даже... Да, пусть даже я в него не верю. Но это лучше, чем видеть его каждый вечер играющим в очередную компьютерную стрелялку. Пусть продает хоть газонокосилки».

– Ладно, прости меня...

– Вот увидишь, все получится, – мгновенно оттаял он.

Было у Данилы приятное качество – умение и любовь к заднему ходу. Он был легковоспламеняющимся, но обладал талантом сводить ссору на нет, комкать ее, тушить, не оставляя при этом ощущения неловкости.

– Я сегодня подписал контракт с фирмой. И знаешь, Надюха, там такие выгодные условия! Мне положен нехилый процент с каждой соковыжималки. А лучшему сотруднику недели дают премию, а лучшего сотрудника года отправляют на курорт в Тунис. Так что, может быть, еще и в Африку поедем с тобой. Здорово, да?

И она могла бы, конечно, сказать: ты что, какая Африка, через год нас будет трое, с нами будет молочно-белый нежный малыш, которому уж точно нечего делать под жарким солнцем. Все это пронеслось у Нади в голове. Но она точно знала, что говорить такое нельзя, поэтому просто растянула губы в улыбке, как будто бы он через километры мог видеть ее лицо. И спокойно сказала:

– Да, Данюшка, это и правда здорово.

Это было похоже на игру. Два малыша получили в подарок кипу картонных масок и теперь взбудораженно распределяют роли.

Тебе достанется роль отца, а мне – роль матери.

Плевать, что мы оба инфантильны и эгоистичны, плевать, что у тебя никогда не было даже кошки, а у меня передохли все растения в доме, включая мамин чайный гриб. И детей мы не хотели. А когда кто-то из твоих родственников с раздражающе лукавой улыбкой спросил: «Ну когда?», я посмотрела ему в глаза и с вызовом ответила:

«Никогда!», и теперь вся твоя семья считает меня ведьмой, хотя я в душе Ассоль. Плевать, что ты всегда на мотоцикле как кентавр, что твой стиль жизни – это ветер в пыльных волосах и некая извращенная гордость за то, что будущего, возможно, нет. Плевать, что я сама чувствую себя ребенком, и, поскольку мне уже тридцать четыре, это хроническое.

Роли распределены, игра начинается.

Отныне ты сильный и спокойный, а я – влажная и плодородная.

И да будет так.

Данила принес откуда-то кучу отполированных дощечек и за вечер сам смастерил колыбельку. В этом не было никакой необходимости, но он решил, что так правильно. И даже романтично. А потом они сидели при свечах, и он пил джин, а Надя – теплое молоко. В их захлавленной комнате новая колыбель смотрелась инородным предметом. Они оба смотрели на этот предмет, как древние индейцы на священный тотем. С уважением и некоторым страхом. И обоим казалось, что первый шаг сделан, и оба осознавали торжественность момента.

На самом деле эта колыбелька, которая впоследствии оказалась неудобной и ее пришлось заменить на фабричную, не значила для их будущего родительства ничего. Но откуда им было знать? Ее живот был еще плоским, его планы – еще серьезными, а они, как семья, – еще счастливыми.

Надя встала на учет в женскую консультацию, купила два просторных сарафана и удобные мокасины, бросила есть шоколад и зарегистрировалась на интернет-форуме о материнстве. Данила приклеил на плечо никотиновый пластырь и застеклил балкон. Надя залечила зубы и сделала новую стрижку. Данила обзавелся привычкой проводить с ней наедине хотя бы три вечера в неделю. Все остальные вечера были посвящены волчьей стае его друзей, большинство из которых Надя на дух не переносила (и это было взаимно).

Данила неожиданно обжился в статусе будущего отца. И даже начал будто бы им гордиться. Надю он теперь называл «моя».

«Моя-то скоро будет как шар», «повезу мою летом на Валдай, пусть свежим воздухом подышит», «моя, понятное дело, хочет девочку... Почему они всегда именно девочек хотят?»

Это «моя» почему-то было умиротворяющим – хотя и любая феминистка, и даже Марианна (которая всю жизнь боролась не за равные права, а за то, чтобы никто ненароком ей на шею не сел, потому что сама любила быть метафорической наездницей) сказали бы, что такая формулировка унижительна для ее личности.

Но Наде нравилось чувствовать себя не просто собою, но еще и частью этого мужчины, который раньше был неуловимым, а теперь ел с ее рук.

Она успокоилась и даже отучила себя от мерзкой привычки просматривать мобильник Данилы, когда он в душе. Надя всегда презирала женщин, которые так делают. Но однажды увидела, как Данила с мечтательной улыбкой таращится в экран запиликавшего мобильного, а потом, нервно кусая губы, придумывает ответ. «Поклонницы?» – пошутила она таким голосом, что муж испуганно отодвинулся. А потом всю ночь не могла уснуть, несмотря на две с половиной таблетки фенозепама. И когда к стеклам прилип грязноватый московский рассвет, не выдержала, на цыпочках прокралась в гостиную, где на журнальном столике валялся мобильник мужа. Включила, накрыв его диванной подушкой, словно задушить хотела (на самом деле, чтобы Данила не проснулся от знакомой мелодии). Вспотевшие пальцы не сразу попадали на нужные кнопки. Надя надеялась, что в папке с входящими сообщениями будет какая-нибудь рассылка и можно будет отшлепать себя по пальцам, записаться в параноики, а потом вернуться в постель и безмятежно уснуть, прижавшись к горячей спине мужа. Но нашлось сообщение некой Сони, которая писала, что скучает и ждет и что хорошо бы вместе поехать на байкерский фестиваль в Ейск. Там и фотография была – невнятные девичьи колени. Надя выключила телефон, а потом выпила немного виски, решила оставить объяснения на потом, выдержала семь с половиной минут, разбудила Данилу грубым пинком и расплакалась. Он, конечно, ничего не понял. Хлопал ресницами, по-детски тер кулаками глаза и убеждал, что ей просто приснился кошмар. А когда Надя потрясла перед его носом невнятными коленями в телефоне, расстроился и даже имел наглость обидеться – «раз ты мне не доверяешь, о каких близких отношениях вообще может идти речь!».

Но теперь она была беременна, и все было по-другому.

Ее растущий живот был словно клеймом на его ухе, меткой «занято».

Во всяком случае, так думала она сама.

А однажды появилась Лера.

Та самая, с шипастым ошейником и татуированными крыльями.

Она изменилась.

Будто все это время жила в другом временном измерении, где секунды бегут в десять раз быстрее, а женщины старятся еще до того, как успеваешь даже разглядеть их красоту, не то чтобы насладиться. Лера была похожа на героиновую наркоманку – тонкая желтая кожа, резвый колючий взгляд, запавшие глаза. Появилась неожиданно, подошла во дворе и молча дернула на рукав, чтобы обратить на себя внимание, а Надя даже не сразу поняла, кто перед ней. Подумала – молодая бомжиха стреляет мелочь, чтобы купить баночный алкогольный коктейль, который для обычных людей означает просто повышение вероятности гастрита, а для таких, как эта женщина, – билет в придуманный мир, где она еще чего-то стоит. А когда услышала знакомый голос, знакомую интонацию и, наконец, разглядела в оборванке некогда вполне привлекательную спелую девушку, даже отшатнулась. Лере такая реакция, как ни странно, понравилась. Она широко улыбнулась, явив миру отсутствие одного из передних зубов.

– Ты... Что с тобой? – выдавила наконец Надя.

– Ничего. Не обращай внимания. Я как птица Феникс. Если надо – восстану. Просто не надо пока.

– Тебе... помощь нужна? Ты, наверное, к Даниле? Но его нет дома...

– Знаю. Поэтому и пришла. Я к тебе. Посмотреть на тебя.

– М-м... Посмотреть?

– Ну да. Интересно, какая ты стала. Я же знаю о ребенке.

Леру покачивало. Несмотря на теплый день, она куталась в грубый свитер – местами поеденный молью и сильно пахнущий козлом. Мимо прошла соседка с двенадцатого этажа, главная сплетница двора, которая считала себя аристократкой на основании того, что от мужа ей досталась фамилия Беломлинская, а от мужниной матери – недорогие серьги с крошечными бриллиантами. Она неодобрительно покосилась в сторону Нади и ее собеседницы, а потом,

порывшись в лаковом ридикюле, достала сигарету в длинном мундштуке и картинно закурила, прислонившись спиной к широкому тополю. Она явно жаждала крови. Будущая сплетня уже практически состоялась, не хватало нескольких деталей, определяющих ее жанр.

– Слушай, может, поднимемся? – нехотя предложила Надя. – У меня суп есть.

– Суп – это то, что нужно, – обрадовалась Лера.

Ела она неряшливо и жадно, как бездомный пес. Причмокивала, прихлебывала, низко-низко нависала над тарелкой, а потом – как принято в деревнях – собрала хлебной коркой остатки. Наде вспомнилось, как однажды, в прошлой жизни, Данила пригласил ее на вечеринку в честь юбилея крупного готического портала. И Лера тоже там была, куда же без нее. Надя была тогда спокойной и счастливой, они как раз только решили пожениться, и ее распирало от предвкушения счастливого будущего, – это придуманное будущее прорывалось наружу глупой, ни к кому не обращенной улыбкой и особенным сиянием глаз. Лера же была как Лера – тонкая, в черном платье, с отливающим синевой русалочьим лицом. В какой-то момент Надя поймала себя на том, что подсматривает и любит. Как Лера небрежно схватила устрицу с подноса официанта, как повертела в тонких пальцах хрустальный бокал. Она казалась нездешней – отрешенной и неземной. Если бы в тот момент Наде явили картинку из будущего – неопрятная девка с грязными волосами жадно ест позавчерашний борщ, она бы не сопоставила, не поверила.

– Что с тобой все-таки случилось?.. Мы совсем недавно о тебе вспоминали. Данила сказал, что в последний раз видел тебя три года назад, и ты уезжала с каким-то мужиком в мототур по Европе...

– Так и было, – ухмыльнулась Лера. – Сделаешь кофейку? Может, у тебя и что-то сладкое есть?

Нашлись старые пряники с брусничной начинкой. Лера возрадовалась так, словно в жизни не вкушала ничего более изысканного. «Божественно», – сказала она с мерзким причмокиванием, доев последний, а потом еще и смачно рыгнула – как будто бы нарочно старалась вписаться в образ.

И только отодвинув опустошенную чашку и сыто откинувшись назад, она наконец заговорила.

– Значит, ты беременна.

– Кто тебе сказал? – Надя погладила живот, который был уже не особенно плоским, но пока и не вопил о ее состоянии.

– Добрые люди. Я была в Брюсселе. Но сразу же приехала.

– Значит, ты...

– Жила в Европе, – чинно сказала Лера, как будто бы она жила в пряничном домике какого-нибудь консервативного, затерявшегося в Альпах городка. – Тогда, пять лет назад, я познакомилась с одним человеком... Бритишем. Абсолютно ненормальным... По-настоящему, а не так, как говорят про просто веселых – «да он же сумасшедший!» И я влюбилась.

– А он выбил тебе зубы и посадил на героин? – не выдержала Надя.

– Он оказался антиглобалистом. Мы стали мотаться по Европе и участвовать в митингах. Сначала у нас был трейлер – один на пятнадцать человек, но все равно удобно. Потом – палатки, потом – одна палатка, потом и ее пришлось слить. А потом я встретила в Брюсселе знакомого. Из байкерской тусовки. Он как раз и сказал, что Данила размордел и поскучнел, а ты – ждешь ребенка. И я приехала.

– Чтобы за нас порадоваться, видимо?

– Чтобы его спасти, – серьезно ответила Лера. – Потому что так быть не должно.

Надя задыхнулась от возмущения, хотела наругать и выгнать обнаглевшую девицу, но потом подумалось, что такая реакция, наоборот, ее обрадует. Да и стоит ли принимать всерьез слова молодой старушки, которая пахнет уличной жизнью и до крови расчесывает блошинные укусы?

– Кстати, я могу принять душ? – светски осведомилась Лера, грязными ногтями поскребывая подмышку.

И Надя выдала ей чистое полотенце, а потом и чистую одежду – причем в порозовевшей от душа гостье вдруг неожиданно проснулся сноб, и она решительно отказалась от предложенной старой футболки, вместо этого выпросив «маленькое черное платье», которое ей категорически не шло. Но Наде к тому моменту хотелось одного – чтобы та наконец ушла.

Когда это случилось, Надя сперва истерически расхохоталась, потом непредсказуемо всплакнула, потом выпила земляничный компот, представив, что это и не компот вовсе, а дорогое изысканное вино. А

потом сгребла в мусорный пакет вещи, к которым прикасалась Лера, – тарелку, чашку и полотенце.

Свидание с любовником подруги – это подло, пошло и весьма недальновидно, но все же иногда так сладко. Особенно если любовник вовсе не воспринимает свидание как таковое. И особенно если в его присутствии отчего-то хочется запеть. Хотя тебе не двенадцать лет, ты давно поняла, что устойчивым выражением «любовь с первого взгляда» люди, которые хотят показаться более романтичными, чем они есть на самом деле, камуфлируют желание физической близости. Простое, понятное и сытное, как свежий круассан.

Но запеть тем не менее хочется. Прямо в кофейне, где он поит тебя ванильным капучино, а ты таешь, как брошенный в кофе рафинад. Запеть. Широко открывая накрашенный рот и счастливо блестя глазами. Как Надежда Бабкина. Или Уитни Хьюстон. И особенно если свидание – это никакое и не свидание, а что-то среднее между актом милосердия и психологическим экспериментом. Других мотивов, заставляющих Бориса приглашать ее в «Старбакс» по средам, Надя придумать не могла.

Борису нравилась Марианна. Он, не стесняясь, говорил о ней. Воспевал линию ее щиколоток, сладость ее духов, утробные нотки ее смеха, особенный смысл ночей в ее компании. Так и говорил: «С ней ночи такие длинные. Я думал, в моем возрасте не бывает таких длинных ночей». А Надя улыбалась и звонко болтала чайной ложкой в стакане. Она была беременна, и в ее компании ночи были скучны и коротки. Кефир перед сном, пижама, а сам сон – как обморок, безотчетный, бесконечный, из которого выныриваешь в состоянии легкой усталости.

Марианна была влюблена как кошка. То есть это так принято говорить – влюблена как кошка, хотя на самом деле кошки никогда не влюбляются. Все ее разговоры вертелись вокруг Бориса как планеты вокруг солнца. Все сводилось к нему. Надя узнавала неловкие детали. Борис храпит на рассвете – но не грубо, а трогательно, как-то по-детски. У нее, Марианны, был когда-то персидский кот, и вот он храпел точно так же, уютно.

Борис то, Борис се. Выбирал для нее перчатки, и это был эротический акт – огладил каждый пальчик, поцеловал венерин бугорок, даже продавщица из галантерейного отдела смутилась.

Пригласил ее в Суздаль. И в Рио. На Рио у него сейчас не хватит денег, так что Суздаль можно воспринимать как начало пути. Транзитная остановка между слякотной Москвой и волшебным городом, озаряемым Южным крестом. Надя слушала все это и чувствовала себя госпожой и рабыней одновременно. Ей нравилось мучить себя несколько искусственной горечью и нравилось благодарно принимать эти муки из собственных рук. А еще нравилось, что у нее есть секрет. Должно быть, впервые в жизни она осознала важность личного пространства, которого волей обстоятельств всегда была лишена. Детство в коммуналке, отрочество в оптическом прицеле бабки-гестаповки, которая рылась в ее портфеле, подслушивала невинную телефонную болтовню с подружками и вообще вела себя так, что Надя привыкла к навязанному статусу вины, срослась с ним, как с тяжелым панцирем. Два брака, один за другим. Она никогда не была одна, всегда на виду. Никогда не жила одна. У нее никогда не было отдельной комнаты. А секреты если и появлялись, то либо были до смешного будничными, либо привычно выкладывались Марианне, потому что та с детства была и личным дневником, и психоаналитиком. И вдруг – такое. Собственная территория, да такая скалистая, мшистая, темная, опасная. Конечно, фамм-фаталь она себя все равно не чувствовала (да и глупо было бы, ведь впереди, словно мирный белый парус, был ее беременный живот). Скорее, Надя ощущала себя рефлексирующей героиней скучного черно-белого европейского фильма – из тех, которые вскользь любят упоминать в светских разговорах разнокалиберные гуманитарии. Вскользь – потому что никто из них так и не сумел досмотреть кино до конца. Самоощущение казалось приятным, и порой Надя начинала подозревать, что ничего большего ей от этих странных отношений и не нужно. Только вот эта почти безболезненная льдинка в солнечном сплетении, которая застывает красивым кристаллом, как только она начинает обо всем этом размышлять.

А Борис просил:

– Расскажи мне.

– Рассказать тебе что?

– Все равно. Я должен за что-то уцепиться. Просто о себе расскажи, неважно что.

– Ну как это... – терялась она.

– Хорошо. Буду как зануда-психотерапевт. Расскажи мне о детстве.

– Что? – тупо повторила она.

– Любое воспоминание. Любой эпизод. Ты ведь помнишь детство?

– Ну... помню, конечно. Все помнят.

– Не будь банальной. Расскажи мне... Не стесняйся только. Расскажи, что сама захочешь.

И Надя рассказывала. Больше всего ему нравилось спрашивать про детство. Сначала ей было неловко. Ее истории то были скупыми, как судебный релиз, то изобиловали ненужными будничными деталями – когда Надя это понимала, она резко умолкала и надолго замыкалась в себе. Но постепенно она привыкла и расслабилась. Должно быть, он и правда был неплохим психологом – умел «взять» волну, на которой даже тихоням говорилось более-менее комфортно.

Свой десятый август Надя встретила в Евпатории. Мама купила путевку в хороший пансионат.

Собирались приподнято, празднично.

Надя мечтала: найти в прибойной волне зацелованное морем бутылочное стеклышко, вырезать из бумаги ромашку и приклеить ее на живот, чтобы к вечеру она проявилась белым; ловить крабов; убегать от волны, закапывать ступни в песок, пить молочные коктейли с сиропом на вечерней набережной.

И чтобы мама была рядом.

Надя мечтала: купить надувной матрас и бусы из ракушек, рвать черешню и есть ее прямо под деревом, вытащить из моря студенистую медузу и посмотреть, как она тает на бетонном парапете.

И чтобы мама была рядом.

Мама мечтала: выйти на центральную аллею парка в белом сарафане и чтобы все мужчины умерли от восхищения.

В первое же утро Надя ухитрилась и сгореть, и простудить горло. Слишком много пломбира на солнцепеке. Плечи покраснели, а в горле будто бы поселился морской еж – все ворочался, ворочался, но уснуть так и не мог. На следующий день мама отправилась на пляж одна, а Надя осталась на балконе с «Двумя капитанами». Мама обещала вернуться в полдень и с черешней, но вернулась к пяти и слегка навеселе. Сводила Надю на ужин (пресные сосиски, вчерашняя гречка

и рахитичный персик), переделалась в белый сарафан и ушла в парк. Где все мужчины, видимо, умерли от восхищения. Во всяком случае, до номера ее провожал некто Ашот – сквозь температурный сон Надя слышала, как они переговаривались.

У Ашота был бабий смех – высокий и мелкий. Как у мультипликационного шакала. Он приглашал маму съездить на его катере на какой-то пустынный пляж – утром уехать, а вернуться, когда стемнеет.

– Я с дочкой. Она болеет. Она обидится.

– А мы ей ничего не скажем. Придумаем что-нибудь.

Мама не поедет на дальний пляж с мужчиной, который смеется, как шакал, решила Надя, засыпая.

Но на следующее утро, уронив виноватый взгляд на плохо промытый пол, мама пробормотала, что ей необходимо к стоматологу. Там обычно длинные очереди, так что это на весь день, и пусть Надя не дуется, а лучше погуляет по территории пансионата. Солнце же. Красиво. А тридцать восемь – не такая уж высокая температура.

Мама уехала. Смуглый румянец, бусы из ракушек и красная соломенная шляпа.

Надя дочитала «Капитанов», потом выползла в сад, и там ей стало дурно. Фельдшерица с хлебосольной улыбкой протянула нашатырь на желтоватой ватке, а потом проводила Надю до номера, уложила в кровать и даже напоила чаем с вареньем.

Жар не отступал неделю.

Мама придумала себе диспансеризацию и каждый день уезжала куда-то с Ашотом. А по вечерам, закурив, звонила подругам и увлеченно с ними перешептывалась. До Нади долетали отдельные фразы: «противозачаточные», «может всю ночь, без перерыва» и «забрать, что ли, его в Москву, как сувенирную ракушку?»

Наконец Надя поправилась. Зато испортилась погода. В Крыму такое бывает – штормовой ветер швыряет в лицо песок и пыль, волны жадно лижут пляж, дождь танцует чечетку на черепичных крышах.

Надя подружилась с девочкой из Гомеля, целыми днями они сидели на балконе и резались в дурака. Было пусто и скучно, хотелось в Москву. А еще лучше – на дачу. Там велосипед, печеная картошка, гамак и подружки.

Надя вернулась бледная и разочарованная, без ракушек и стеклышек; мама – румяная и беременная, без Ашота, потому что в последний вечер выяснилось, что он женат.

Надя неделю отъедалась бабушкиными борщами и котлетами и говорила подругам, что больше она на море – никогда.

Мама сделала аборт, три дня лежала с пакетом льда на животе и говорила подругам, что с армянами она больше – никогда. Потому что они хитрожопые. Зато как говорят! «Он сказал мне, что у меня глаза как два Юпитера. Я сначала обиделась, а потом нашла в Большой советской энциклопедии фотографию. Ох, девочки, красиво...»

Бабушка немного ожила. Когда никто уже ни на что не надеялся, а в памяти Надиного мобильного появился телефон известного похоронного бюро. Что казалось ей самой не актом цинизма, а проявлением уважения к бабушкиному характеру. Бабушка всегда любила четкость. Чтобы все было запланировано. Она считала, что наличие четкого плана исключает неудачу. И всегда ругала Надю за то, что у той все вечно из рук валилось.

Однажды днем, когда Надя сонно сидела у изголовья ее постели и просматривала один из расплывшихся бессмысленных журналов, бабушка вдруг повернула к ней голову и сочным, зычным голосом сказала:

– Конечно, ты уже немолода.

Надя вздрогнула, журнал упал на пол. Вот оно – то, о чем предупреждал суровый врач. Сумерки бабушкиного сознания. «Пугаться этого не стоит», – говорил он. Но как тут не испугаешься. Бабушка бредит.

– Немолода, – задумчиво повторила она, и взгляд ее, внимательный и цепкий, вовсе не был взглядом человека в бреду. – И, наверное, ты решила, что это твой последний шанс. Родить ребенка, пусть и от уroda.

Надя накрыла живот похолодевшей ладонью. Как бабушка умудрилась заметить? Она же и не смотрела на внучку, как будто нарочно отворачивалась к выцветшей стене.

– И все же я считаю, что зря ты это делаешь... Родишь еще одного несчастного человека. Зачем? Зачем?

– Бабушка, ну почему ты думаешь, что мой ребенок будет несчастным? – тихо спросила Надя, которая снова вдруг почувствовала

себя маленькой.

– Потому что ты не в состоянии воспитать человека счастливым, – поджала губы Вера Николаевна. – Никчемная ты, Надька. И твоя трагедия в том, что ты никак не хочешь это признать. Твоя трагедия и твое ничтожество.

– Мне надо умыться.

Нельзя на нее злиться.

Нельзя злиться на смертельно больного человека.

Но почему так руки дрожат, почему так тошно, почему плакать хочется?

Стоп. Она взрослая. Ей – тридцать четыре. Не четырнадцать. Тридцать четыре. Надо глубоко вдохнуть и сосчитать до тридцати четырех. Это посоветовал Наде один из психотерапевтов, к которым она когда-то пробовала ходить и которым совсем не доверяла.

Один, два, три... пять, десять, двенадцать...

Двенадцать...

Ей исполнилось двенадцать, когда однажды утром мама будничным тоном объявила: ты переезжаешь.

На завтрак были оладьи с молоком – Наде запомнилось, потому что готовила мама нечасто. Неловкие кулинарные потуги Тамары Ивановны могли объясняться лишь двумя причинами: создание специального праздничного настроения или попытка смягчить неприятное известие. На Новый год мама всегда запекала курицу в соусе из чернослива – было не особо вкусно, подливка почему-то всегда горчила; Надя морщилась и отказывалась, а потом привыкла, и эта терпкая горечь даже начала ассоциироваться с праздником. К Восьмому марта Тамара Ивановна пекла шарлотку – клеклую и пресную. В Надин день рождения был самодельный торт, который представлял собою вываленную на мельхиоровое блюдо кучу из дробленых орехов, тертого «юбилейного» печенья и сливочного масла. Когда к маме приходили любовники, всегда было жаркое. Тушеное мясо, развалившаяся картошка, оранжевая тыквенная мякоть, горошек из жестяной банки – все это бурлило, благоухало и воплощало собою надежду на обретение настоящей семьи.

Но в то утро не было ни Нового года, ни дня рождения, а мамин любовник дядя Олег – Надя точно знала – позавчера отбыл в командировку в Екатеринбург.

– Ты переезжаешь, – сказала мама, плюхнув на тарелку крупный оладушек, похожий на маслянистую кляксу. – Возьми в холодильнике сметану.

Надя удивилась:

– В смысле? К тете Ире на выходные?

– Нет. Ты теперь будешь жить у бабушки. А я буду забирать тебя раз в неделю, по субботам.

Наде было двенадцать лет. Она не сразу поняла, что мама имеет в виду, не шутит ли она. Может быть, из-за того, что Тамара Ивановна говорила спокойно и ласково, – разве таким тоном предсказывают Апокалипсис?

Надя выросла внутри Садового кольца. Старая Москва – уютная и тесноватая – была исхожена ею вдоль и поперек, она знала каждую подворотню и каждый двор. Особенно любила бульвары. На бульварах почти в каждом доме жил кто-нибудь из маминых знакомых, к которым можно было забежать в любую минуту, как бы невзначай, под надуманным предлогом: хочется в туалет, срочно нужен пластырь, нельзя ли позвонить. Ее охотно привечали, поили чаем с пряниками, разрешали рассматривать книги и картины, а иногда – и это было высшее наслаждение – и вовсе забывали о ней, оставляли ее в мире взрослых досужих бесед. Надя с детства обожала быть в курсе чужой жизни. Приключения полужнакомых людей были увлекательнее романов. Даже Декамерона, который она тайком стащила из мастерской одного художника, маминого любовника, а потом, запершись в ванной, захлеб читала. Надя была молчуньей, ей никогда не приходило в голову, что услышанным можно поделиться, – может быть, поэтому ее и не принимали всерьез. Сидит себе тихая девочка в углу, шуршит страницами журнала, пряники грызет – ну кому она может помешать? И никто не понимал, что на самом деле и журнал, и пряник, и отрешенный ее вид – маскировка.

А Надя слушала и мечтала. Вот она повзрослеет, и у нее тоже появятся подруги – томные, в шелковых халатах, тяжелых янтарных бусах, с рассыпавшимися по плечам кудрями, пахнущие амброй, курящие через длинный агатовый мундштук. Она пригласит их домой, заварит зеленый чай с цукатами, и они будут есть сушеный инжир и обсуждать мужчин. Например, о том, какая сволочь художник N: пригласил на выставку и жену, и любовницу – ни та, ни другая не были

предупреждены и никогда до этого друг друга не видели. В итоге любовница, опустошив три бокала игристого вина, растолкала журналистов, обняла виновника торжества и смачно поцеловала его в губы. Да еще и громко сказала девушке из «Комсомольской правды»: «Да он уже давно не живет со своей гримзой, мы практически муж и жена». А «гримза» стояла рядом и не могла понять, кто унизил ее больше: безалаберный муж или перебравшая с фуршетным шампанским девица? Или о том, какой хитрой и расчетливой оказалась искусствовед А: узнав, что ее супруг водит в буфет Домлита манекенщиц с Кузнецкого, она переехала к старенькой свекрови. И через пару месяцев разомлевшая от непрошенной ласки старушка переписала на нее трехкомнатную квартиру на Арбате. Так что теперь муж А. за три версты обходит Дом моды на Кузнецком, а все свободное время проводит дома, греет жене тапочки и варит для нее какао на меду.

Надя возвращалась из школы, прицельным пинком отправляла под кровать портфель, распускала волосы и уходила гулять – до самого вечера. Это и была ее жизнь, ее мир.

Коньково, где жила бабушка, воспринималось другой планетой. Одинаковые многоэтажки, неприветливые люди. Бабушкина соседка – одинокая старуха – умерла, и ее тело три недели пролежало в запертой квартире. Никто даже не заметил, что ее нет. Да что там – они имени-то ее не знали, и это было непостижимо. Тамара Ивановна и Надя с соседями по коммуналке жили почти семьей, и даже у ворчливого брызги Либстера была в этом бурлящем бульоне своя роль.

– Мама, но... Я совсем не хочу жить у бабушки.

Надя никак не могла поймать ее взгляд, мама, глядя в тарелку, размазывала по оладьям сметану.

– Тебе там будет хорошо.

– Я ее не люблю.

Бабушка была чужой. Виделись они не то чтобы редко – как минимум раз в две недели та устраивала «семейный обед». Их маленькая семья, состоящая из трех женщин – двух больших и одной маленькой, собиралась в бабушкиной квартире, которая пахла нафталином и лимонной цедрой. Всегда был борщ со сметаной и нравоучения с перчинкой намечающегося скандала. У бабушки был хорошо поставленный низкий голос, она умела интонировать не хуже

Анны Шатиловой, ее слова казались рассудительными и вескими, но по сути своей были ядом. Отправляя ложку за ложкой в намаженный рот, она объясняла, что мама Надежды – неудачница и девочку ждет такая же судьба. «Растет как трава подзаборная, никому не нужная, неинтересная, кто же из нее получится?»

Надя насупленно ела борщ, ей было вдвойне обидно из-за того, что мама не делала попыток защитить ее, объяснить, что она хорошо учится и в классе ее уважают, а еще она умеет готовить омлет и шить кукольные платья.

Возражений бабушка не терпела. При появлении спорщика голос ее повышался, в нем появлялся ледяной отзвук металла.

Надя ее побаивалась. Мама, кажется, тоже.

Как она может переехать? Неужели мама не понимает, что бабушка им чужая?

Совсем чужая...

– Нельзя так говорить. – Тамара Ивановна немного повысила голос, что случалось редко. – Бабушка будет о тебе заботиться. Лучше, чем я.

– Но обо мне не надо заботиться! – пылко воскликнула Надя. – Ты же сама всем хвастаешься, какая я самостоятельная!

– Это так, но... Ты здесь совсем без присмотра, а тебе уже двенадцать лет.

– Но как же без присмотра, если я каждый вечер у каких-нибудь твоих друзей или с Марианной?

– Вот именно. Шатаешься по городу, вместо того чтобы уроки делать. Опомнись не успеешь, как все поступят в университет, а ты – в кулинарный техникум. И потом, не можем же мы вечно жить в одной комнате. Ты растешь, тебе негде делать уроки.

– Но мне нравится жить с тобой в одной комнате. – Надя продолжала, волнуясь, уговаривать, но где-то в глубине души уже начала понимать, что в этом нет никакого смысла. – А уроки я делаю на подоконнике...

– Ребенок, это не обсуждается. Бабушка уже обставила для тебя комнату. Кровать купили, хорошую, а еще письменный стол. И ты сможешь позже вставать, и по утрам не надо будет занимать очередь в ванную.

Надю осенило вдруг, и на секунду появившаяся мысль даже показалась спасительной.

– Ну а как же школа? Я что, буду ездить в школу на метро?

Тамара Ивановна раздраженно отодвинула тарелку. Она терпеть не могла сложные разговоры, любила, чтобы все проблемы решились сами собой.

Но Надя смотрела выжидающе, и ей пришлось ответить:

– Я перевела тебя в другую школу. – И увидев, как изменилось лицо дочери, она торопливо добавила: – Это очень хорошая школа, современная. Там маленькие классы, всего по пятнадцать человек. Гимназия.

И тогда Надя заплакала – тихо и беспомощно. Ее мир рушился, и никто не мог ей помочь.

Первое утро в бабушкиной квартире. Первый день в новой школе. Надя нарочно поставила будильник на полчаса раньше обычного.

Привычный мир бульварного кольца был ампутирован из ее жизни грубо и без подготовки, и за последние недели Надя пережила все стадии потери. Сначала была апатия – она сидела на подоконнике, ела леденцы и не отвечала на звонки подруг.

– Это не по-настоящему. Это поза, – сочла мама. – Если тебе так хочется, можешь и дальше играть в несчастную. Я тебе потакать не буду.

И оставила Надю в покое, не пыталась даже с нею поговорить. Впрочем, у нее и времени на лишние разговоры не было. У мамы начиналась новая жизнь – она собиралась в Ленинград с новым мужчиной. У нее было новое красное платье в горошек и новый чемодан. Она кружилась перед зеркалом, пела «Айсберг», пила коньяк и обзванивала подруг, делясь с ними мельчайшими новостями: он подарил розу, он заказал билеты в Большой, он так-то посмотрел, он что-то сказал, он замедлил шаг возле магазина «Гименей», но потом, подумав, ускорился – наверное, не решается сделать предложение. Но раз замедлил, значит, такие мысли у него есть – есть же, девочки, а? И сорокалетние «девочки» хихикали в ответ.

А Надя украла из маминого прикроватного шкафчика бутылку коньяка, отлила немного в чашку и, поморщившись, выпила.

Потом были слезы. Как будто бы кто-то открыл невидимый шлюз. Случилось это ночью. Надя бессонно лежала в кровати и

рассматривала тени на потолке. И вдруг почувствовала, как по ее щекам потекли колючие соленые ручейки. К утру мокрой была вся подушка. Марианна увидела ее в школе и присвистнула даже:

– Сурова, что с лицом? Ты похожа на нашего трудовика с похмелья.

– Плакала, – пожала плечами Надя.

– А мать что?

– Да ничего, – махнула рукой она. – У нее свадебный переполох.

– Вот дрянь, – отреагировала Марианна, которая никогда не умела скрывать мысли.

– Да ладно тебе. Она просто... Что с нее возьмешь.

Потом пришла очередь ярости.

Надя услышала, как мама рассказывает одной из телефонных своих подруг:

– Моя на следующей неделе переезжает. В ее комнате мы собираемся устроить спальню, а в гостиной будет салон. Будем принимать гостей. Как дворяне девятнадцатого века. Я буду читать им стихи, а Юра умеет играть на гитаре... Ты не представляешь, какая у нас будет кровать. У Юрки знакомый плотник есть, так он сделает спинку в форме ракушки. А Надькина мебель такая старая, ее давно на помойку пора.

Надя слушала все это, прислонившись к дверному косяку, и в какой-то момент не выдержала.словно внутри нее проснулся почуявший кровь зверь, который с уверенной гибкостью метнулся вперед, выбил из маминых рук трубку модного в те годы радиотелефона и растоптал ее ногами. Мама ошарашенно смотрела на Надю, которая с перекошенным лицом уничтожала дорогой аппарат, давила его, как огромного таракана. И пластмассовый панцирь трещал под ее каблуками. Она попятилась даже. Хотя была взрослой крепкой женщиной, а Наде было всего двенадцать лет.

– Что... Что же ты делаешь?

– Значит, вы уже все решили, да?! Избавились от меня и решили все?! Значит, это он теперь будет в моей комнате спать?! – Надя орала, хрипела, всхлипывала. – А вдруг мне там плохо будет?! Почему ты никогда не думаешь обо мне?!

– Я как раз только о тебе и думаю, – грустно говорила мама, качая головой. – У бабушки ты в безопасности... А я... Ну что я? – Она

развела руками, как бы призывая в качестве безмолвных аргументов и незакрытую бутылку сладкого вермута, стоявшую на липковатом столе, и чулки, валявшиеся под диваном, и даже пыль, серым облаком осевшую на подоконнике.

Бабушка Наде не сочувствовала. Считала, что она хронический истерик, а тоска по прошлой жизни – не более чем блажь капризного избалованного ребенка.

Бабушка была как сержант, принявший под ответственность новобранца, – причем сержант из американского блокбастера, из тех, что заставляют отжиматься в пять утра под проливным дождем, чтобы якобы воспитать характер.

До того июньского утра, когда появилась на свет Томочка, ее мать была рабочим мулом. В ней не было ни кокетства, ни изящества, ни даже особенной легкости, свойственной молодым. Только угрюмая готовность пахать. Даже лицо у нее было какое-то бычье: простое и суровое.

Ее отец был сельским учителем, а о матери она – так странно – ничего не помнила. Хотя мать погибла позже отца, в конце сорок второго. Вера уже взрослая была – пятнадцать лет. Психотерапевты считают, что забытая боль – это защитная реакция организма. Боль – она на то и дается, чтобы ею переболеть, перестрадать ее и отпустить. Забытая же боль растет внутри как раковая опухоль. Иногда деликатно напоминает о себе – наступит кто-нибудь на ногу в трамвае, и так обидно становится, такой ненужной и брошенной себя чувствуешь, что не хочется жить. И самой себе удивляешься – вроде бы мелочь такая, на ногу наступили, да еще и извинились потом. А это все она, затаившаяся внутри.

Но Вера Андреевна в психотерапевтов не верила, считала их учение ересью, недостойной внимания порядочного советского человека. Поэтому и странную амнезию свою считала не поддающейся логике придурью организма. Кто-то ходит во сне, кто-то влюбляется только в рыжих, а она, Вера, просто не помнит собственную мать, – ничего особенного.

Отец ее был романтиком, ушел на фронт сразу же, погиб одним из первых. Мать перевезла Веру в Ленинград – там были родственники, свободная комната в большой квартире. Знать бы заранее, как все получится. Мать – кровь с молоком, крепкая деревенская женщина,

простая, резкая, толстокожая, привычная к тяжелой работе, выдержала год блокады. Сдалась, сдулась, пожелтела, усохла. Умерла тихо, во сне. Вера – худая, прямая, начитанная – выжила.

Она редко вспоминала Ленинград и войну, которую толком и не видела. Войну хотелось стряхнуть с плеч, как вышедшее из моды платье.

Она написала московской тетке – сестре отца. Та неожиданно обрадовалась и предложила переехать. У нее никого, кроме Веры, не осталось.

Вера поступила в Педагогический институт.

Послевоенная Москва расправила плечи, зацвела самодельными шляпками смешливых красавиц. Вера бродила по широким проспектам угрюмой тенью. Приютившая ее тетка сначала обрадовалась: молодая девушка в доме – это как непрекращающийся художественный фильм. Будут кавалеры, страсти, слезы, и она, мудрая советчица, наставница. Вера училась по вечерам, днем подрабатывала в школе уборщицей, танцами и кавалерами не интересовалась. Рано ложилась спать. Она была серьезная и целеустремленная, только вот цели ее казались слишком уж земными. Стать хорошим педагогом. Точка.

– Верочка, тебе двадцать три, – аккуратно начинала тетка. – Пора бы подумать, и сама знаешь о чем. Ну скажи мне, может быть, появился уже какой-то мальчик? Может быть, ты меня стесняешься? Если что, говори прямо. Я могу и к тете Кате на чай уйти, на весь вечер, я все понимаю.

– Никого у меня нет, – отвечала Вера. – И разве можно думать об этом сейчас, когда у меня еще нет даже высшего образования.

«А когда же думать? – хотелось спросить тетке. – Когда зад раздастся вширь, а на ногах вены вылезут?» Но она молчала – знала, как холодно умеет смотреть племянница, если что-то ей не по нраву.

«И угораздило же меня, – думала иногда она. – Не надо было ее приглашать. Скучная девка, странная. Себе на уме. А я все равно одна».

В послевоенной Москве школы открывались одна за другой. Вера закончила институт и стала учительницей русского языка. Прямая, стройная, скучная, желтая, в мрачном мешковатом костюме. Ученики ее не любили. Она была объективной как робот. Казалось, ее сердце

защищает панцирь из засохшего репья – не пробиться к беззащитной розовой мякоти сквозь серые колючки. Ее нервы были как корабельные канаты. Ее голос был слепок из льда и стали – ей даже не надо было его повышать, чтобы все испуганно притихли. Она была как статуя Командора – бесстрашной, грозной и статной.

Все ее уважали, и никто ее не любил. А когда выяснилось, что Вера Андреевна беременна, никто даже не поверил. Сплетничали, что у нее опухоль в животе, потому что разве возможно такое, чтобы под сердцем робота зародилась жизнь?

Верина тетка не дождалась того момента, когда у строгой племянницы появится «милый мальчик из приличной семьи». Умерла она тихо и быстро, во сне, как и мать, которую Вера не помнила. Просто однажды утром Вера зашла к ней в комнату, чтобы попросить уют, и увидела, что тетка лежит, отвернувшись к стене, и на посеревшем ее лице застыла странная, ничего не выражающая улыбка. Словно она улыбалась чему-то такому, что для живого человека непостижимо.

Между тем Вере было уже двадцать восемь лет. Для завершения образа классической старой девы ей не хватало только кота, пегой «дули» на затылке и любви к ажурным салфеточкам. Вера носила короткую стрижку и не окрашивала раннюю седину. У нее было три почти одинаковых костюма, которые она носила попеременно. Ровная, спокойная, строгая. Она, казалось, была полностью довольна тем, как сложилась ее жизнь. Она и не мечтала о фатальных страстях и взбунтовавшихся чувствах. Она каждый день рассказывала ученикам о том, как понимали любовь Достоевский и Чехов, но при этом сама не знала – и не хотела знать – этой самой любви. А точнее – не верила в нее. Считала, что любовь – удел слабых. Снисходительно наблюдала за страстями коллег. Молоденькая химичка спит с женатым физруком. Муж директрисы изменяет ей с хорошенькой продавщицей из галантереи. А воспитательница начальных классов, похожая на задумчивую овцу, вообще много лет влюблена в известного актера и спит с его фотографией, как маленькая. И это – все? Это и есть то, ради чего плакал нервный Маяковский и страдал бессонницей Пастернак? Если так, лучше уж проводить вечера с пледом, мармеладом и «Анной Карениной».

И все-таки случилась и в ее жизни «слабинка».

Спустя полгода после тетиных похорон в ее жизни появился Володя.

Володя – ясные глаза, темные брови, бледное лицо. Его дочка – тихая серая троечница по имени Маша училась в Верином классе. Вера Андреевна ее недолюбливала – впрочем, в этом не было ничего личного, она просто почти брезгливо относилась к собственным антиподам, рассеянными, не умеющим сосредоточиться, витающим в облаках. На Вериных уроках девочка смотрела в окно, инопланетно улыбалась и рисовала большеглазых печальных красавиц на промокашке. Однажды Вера не выдержала, отобрала промокашку, порвала ее на мелкие клочки и сквозь зубы сказала: «Чтобы без родителей ты больше на мои уроки не приходила!»

И вот следующим утром в ее кабинете появился Володя – такой же печальный, бледный и сутулый, как его непутевая дочь. Такой же. Только вот было в нем что-то – что-то особенное. Или все дело в том, что он просто не был Вериним учеником, поэтому инопланетная печаль в его исполнении не раздражала, а завораживала.

Они разговорились.

И проговорили целый час, а потом Вера Андреевна, слегка размякшая, пошла на урок. В тот день она серую девочку Машу не трогала. И даже, к всеобщему удивлению, поставила ей незаслуженную четверку.

А на следующий день Володя позвонил (телефон дала та самая романтическая овца, влюбленная в киноактера) и пригласил провести вместе субботний день. И это было так неожиданно, что Вера Андреевна до самого последнего момента подозревала коллег в устройстве розыгрыша, глупого и злого. Понравилась ли она Володе как женщина, или он просто нашел в молодой и не по возрасту серьезной учительнице достойного собеседника? Надо ли ей наряжаться, не будет ли это выглядеть глупо? И самое главное – есть ли у серой девочки Маши мать?

В ночь с пятницы на субботу Вера почти не спала, и это тоже было странно. Она всегда, всю жизнь презирала таких вот романтических невротичек, кто меняет размеренный ток своей жизни ради перспективы заполучить мужика. Проснулась бледной и больной, с синяками под глазами и отвратительным вкусом во рту, а ведь она и так красавицей не была. Рано поседевшая, желтая какая-то – обычно

ей было все равно, но в то утро Вера Андреевна впервые в жизни смотрела в зеркало с каким-то вопросительным отвращением. Нарядиться, конечно, не стала. Единственным реверансом женственности стал теткин шелковый платочек, неумело повязанный на шею.

Володя ждал ее – почему-то с веткой пыльной пижмы в руке. Где он ее вообще взял? Лекарственное растение, которое с агрессией сорняка каждое лето атакует подмосковные обочины.

Вера ничего не сказала, но, видимо, в линии ее губ появилась такая многозначительная твердость, что он коротко заморгал и сказал:

– Прости, я, наверное, дурак. Ты похожа на нее. Смотри, вроде бы обычная, а такая красивая. Смотри!

И он потряс перед ее лицом терпко пахнувшими желтыми шариками пижмы. Вера присмотрелась – и правда красивая, пышная, и каждый цветочек как маленькое солнышко, правда пахнет так горько, что хочется отстранить ветку от лица. Но и она сама едва ли ассоциируется с патокой. Патока и рафинад – это романтическая овца из учительской. Когда киноактер женился, она пыталась вскрыть вены маникюрными ножницами – недопустимая для советского человека слабохарактерность. А Вера – прямая, строгая, горькая.

Она молча приняла цветок, и Володя повел ее в сторону парка. Там они чинно гуляли по аллеям и почти не разговаривали. Он держал ее под локоть, как будто бы была зима и Вера могла упасть. Это немного раздражало. Вера не понимала, что мужчина может хотеть прикоснуться к женщине просто так, без практического смысла. Не чтобы поддержать во время гипотетического падения, не чтобы она могла опираться на него, как на одушевленный костыль. А просто так, чтобы чувствовать ладонью тепло ее локтя.

Молчание было неловким. Бывает так, что встречаешь человека, и молчать рядом с ним уютно и просто, и есть в этом даже некая особенная близость. С Володей было по-другому. Вера, откашлявшись, поставленным учительским голосом рассказала ему о русском классицизме и даже, войдя во вкус, цитировала Сумарокова и Фонвизина. От нее веяло скукой. Может быть, поэтому в какой-то момент Володя не выдержал, схватил Веру за плечи, развернул к себе и впился губами в ее сухой твердый рот. Не потому что жаждал поцелуя, просто ее занудный монолог загипнотизировал его, как волшебная дудочка крысу, и в какой-то момент ему захотелось встряхнуться, выйти из оцепенения, и он инстинктивно выбрал самый действенный способ. Все это Вера придумала потом, через много дней, сидя на крошечной кухне, в одиночестве попивая крепкий чай с пряниками и мысленно проигрывая каждую минуту их общения – с того момента, как она втянула ноздрями горький запах пижмы, маячившей у лица, до того, как Володя нащупал под ее юбкой резинку грубых немодных трусов.

Да, она сама пригласила его. Ввела в свой дом. Она была невозмутима в прицеле злых глаз соседки. Соседка почему-то рассчитывала, что квартиру Верина тетка отпишет ей, а не угрюмой своей племяннице, которая ходит, будто шпалу проглотила, и не

улыбнется лишний раз. И вот теперь худшие соседкины подозрения оправдались. Племянница мало того что угрюмая, так еще и оказалась гулящей. Маскировалась профессионально – пока тетка жива была, но еще земля на могиле не осела, как предсказуемо пошла вразнос. Мужиков водить теперь будет.

Володя смутился соседки, как первоклассник директора школы, Вера же была сама невозмутимость, будто ей приходилось делать такое десятки раз.

И ведь не то чтобы она испытывала страсть – она вообще была не склонна к безрассудству. Нет, то было любопытство биолога, препарирующего лягушку. Может, с примесью внезапной нежности.

Все случилось быстро, по-дурацки, неловко. Выключенный свет, Володя попытался толкнуть Веру в сторону теткиного дивана, но промахнулся, и они уронили вешалку для пальто. Кто-то возмущенно застучал половником по батарее, Вера кисло улыбнулась растерявшемуся Володе. Сама сняла через голову платье и ссутулилась – ей было неловко за желтизну неухоженных пяток, за увядшую кожу, за жесткие волосы на бледном лобке.

А потом Володя ушел и больше никогда в ее жизни не появлялся. Тихую троечницу Машу перевели в другую школу. Вскоре инцидент забылся, словно и не было ничего. А потом Вера обратила внимание, что ей больше не требуется покупать в аптеке вату, обматывать ее в десять слоев стерильным бинтом и упрячивать в трусы. Новость она встретила с традиционно выпрямленной спиной. Сначала прятала живот под безразмерным кардиганом, потом прямо выдерживала любопытные взгляды коллег. Стоически игнорировала шепотки за спиной. А к Новому году родилась девочка, на месяц раньше срока. Она была такой нежной, молочной, сладкой, смешной, что Вера впервые в жизни не смогла найти навернувшимся слезам рационального объяснения.

– Как будете записывать ребенка? Отца же нет?

– Запишите... Ивановна. Пусть будет так. – И добавила, помолчав, хотя никто ее уже не слушал: – Какое прекрасное русское имя – Иван... Будь он действительно Иваном, может, все иначе сложилось бы.

Марианна была как яблочный пирог, теплая, пряная, желанная и простая. Прогуливались по вечернему Страстному, и растолстевшая

Надя опиралась на ее смуглый острый локоток. А все, кто шел навстречу, смотрели на Марианну именно как на яблочный пирог – кто с вожделием и даже необоснованным предвкушением, кто – с тоской диетствующего гастритчика, кто – с деловитым прищуром молодой хозяйки, а не испечь ли, мол, такое же броское чудо из собственных, природою данных черт?

Марианна была словно шапка-невидимка для идущих рядом. Все взгляды – только на нее, внимание – только ей. Она так привыкла и другому не умела. Чужое внимание – неважно, мимолетное ли, пустое или напряженное, болезненное, было для нее как кровь для вампира.

Но в тот вечер она не вела учет чужим взглядам, ей будто стало все равно. Она хмурила гладкий лоб, скорбно поджимала накрашенные губы, и тяжелый ее вздох, казалось, брал начало не в легких, а где-то в самом-самом центре спирали, в сердцевинке ее существа.

Марианна влюбилась, и ей казалось, что безответно. Любовник с удовольствием пользовался ее телом, но в сердце не пускал, а ей больше всего на свете хотелось прорвать оборону.

Растолстевшей Наде, в свою очередь, больше всего на свете хотелось, чтобы подруга заткнулась, заткнулась, заткнулась.

Но Марианне была чужда эмпатия, она могла вольготно дышать лишь в тандеме «актриса – зритель».

– И вот я говорю ему – когда ты все расскажешь ей о нас? Жене своей. А он смеется в ответ. Смеется, представляешь?

– Мне кажется, он недвусмысленно дает понять, что ему больше ничего не нужно, – выдавила Надя.

Говорить подобное Марианне – опаснее, чем размахивать окровавленным куском мяса под носом голодного тигра. А потом прятать мясо за спину и надеяться на оптимистичный финал мизансцены.

– Что ты имеешь в виду? – насторожился голодный тигр.

– Он хочет, чтобы ты была его субботней девушкой. Или по каким там дням в неделю вы встречаетесь. Любовницей. И не хочет, чтобы ты питала иллюзии, – смело продолжила Надя.

Марианна остановилась посреди бульвара. Вокруг нее летали белые хлопья – встревоженный тополиный пух.

– То есть ты вот так, на голубом глазу, говоришь мне, что я – говно? – почти прошептала она, но шепот тот был страшнее львиного

рыка.

Надя недоуменно взглянула на нее и даже потрясла головой.

– Что? Когда это я сказала, что ты – говно?

– Ну... Ты намекнула, – сузила глаза Марианна. – Намекнула, что я – такое говно, что даже не могу влюбить в себя мужчину и увести его от тетки, которую он явно не любит.

– Ты неподражаема. – Надя добрела до грязноватой лавочки и осторожно на нее опустилась.

– Вот как? А по-моему, это ты делаешь все для того, чтобы меня обидеть. И не будь ты беременна, я бы тебя уже к черту послала.

– Ну, спасибо, что делаешь скидку на дееспособность, – усмехнулась Надя.

В сумке завибрировал мобильный, и она, воровато взглянув на мерцающий экран, увидела там именно то, чего боялась обнаружить перед подругой: имя Бориса. Мизинцем воровато нажала на отбой, а потом, не вынимая телефон из сумки, набрала эсэмэску: «Позвоню позже. Мне надо с тобой поговорить».

А Наде вдруг вспомнилось, как несколько недель назад она медленно брела по Старому Арбату – из темной, как театральная занавес, подворотни бесшумно выступила нищенка. Наде навстречу. На вид ей было не меньше ста лет, по паспорту, возможно, от силы сорок. Улица – машина времени, старит в ускоренном режиме.

Она даже не сказала ничего – когда умеешь смотреть так влажно, можно быть немой. Нищенка была красивой – не в том смысле, что она обладала набором неперемных для статуса красавицы фетишей: грудь-ноги-волосы-зубы. Зубов, например, в темной щели ее рта и вовсе не было видно – должно быть, отсутствовала по меньшей мере половина. Зато она была как зрачок калейдоскопа: хотелось смотреть на нее бесконечно долго – бархатная шляпа с гроздью пластикового винограда на алой ленте, детские пластиковые кольца на заскорузлых пальцах, старинные калоши на каблучках; седые и жесткие, как войлок, волосы, надменная линия рта – хотелось смотреть и додумывать узоры. Какой была жизнь этой бродяги – всегда ли никчемной, или существовало цивилизованное прошлое, которое теперь наверняка воспринималось ею самой как жизнь на другой планете. Планете, где по утрам пьют чай с бергамотом, а по вечерам читают в свете торшера и даже не понимают, какая это благодать.

Какими были ее мужчины. Как ее занесло в кровеносную систему приарбатских переулочков. Надеялась ли она выбраться, карабкалась ли. Когда поняла, что улица – это навсегда. А в том, что она поняла, сомнений не было, – в ее взгляде была мольба, но не надежда.

Надя протянула ей сторублевую купюру – одну из четырех, что у нее оставались.

– Спасибо. – Нищенка без улыбки тряхнула ватными космами, и Надя вдруг поняла, почему на нее так хочется смотреть.

Бродяжка была похожа на Марианну, как родная сестра. Та же ломаная пластика оказавшейся в неумелых руках марионетки, та же манера, прорезая воздух острым подбородком, откидывать длинную челку со лба.

Если лишить Марианну жизненных соков, оставить только посеревшую оболочку с каплей энергии на доньшке – получится эта нищенка в странной шляпе.

– Стойте. – Она схватила бродяжку за рукав драного бархатного пальто.

Та мгновенно спрятала деньги – как будто бы ее грязная юркая ладонь была кислотой, растворяющей бумагу. Наверное, боялась, что Надя пожалела об утраченном стольнике и хочет потребовать его обратно.

– Нет, деньги не нужны, – поспешила успокоить Надя. – Я просто спросить хотела... Это глупо, но важно.

– Что вам, девушка? – настороженно сдвинула седые брови бродяжка.

– Скажите, а вы... Вы всегда встречались только с женатыми мужчинами? – Последнее слово как будто бы повисло в воздухе, как семечко одуванчика. Было непонятно, утверждение это или вопрос.

– Злая вы, девушка, – помолчав, усмехнулась нищенка.

Даже улыбалась она как Марианна – щурила светлые глаза.

– Злая, потому что права?

– Да пошла ты! – Слово «пошла» она произнесла на змеино-кошачий манер, с утроенным «Ш». Ее спина даже выгнулась дугой – будто они находились не на обычной вечерней улице, а в голливудском кино со спецэффектами. Хотя, наверное, Надя все это сама для себя придумала.

Нищенка же юркнула в подворотню, поддерживая шляпу, и в ступе ее стоптанных каблуков было что-то укоризненное.

Надя потом долго не могла уснуть, почему-то осталось тяжелое впечатление.

Для Марианны всегда, с того момента, когда она себя помнила (в спущенных серых колготках, с дурацким синтетическим бантом в хилой косице, посреди детсадовской игровой комнаты), всегда чужое казалось слаще.

Сначала слаще были чужие игрушки. Она насупленно смотрела на косорылого медвежонка, которому соседская девочка пела колыбельные песенки. Каждый полдень – выходила на балкон и пела, укачивала ненастоящего мишку. Это был ее ритуал – сначала убаюкать игрушку, потом уснуть самой.

– Почему ты такая завистливая? – спрашивала мать. – Посмотри, у тебя и куклы, и медведи, и даже немецкий пупс. А у соседки что? Все старое и сломанное.

– Мишка прекрасен. – Ее интонация была взрослой.

Исполненный горечи бабий вздох по несбывшемуся. Маму это злило.

– Да этому мишке цена три копейки в базарный день.

– Ну и что.

Марианна исподлобья следила за соседкой – изо дня в день. И однажды плюшевый ангел-хранитель, который должен был оберегать целостность игрушки, отвлекся на более важные дела, зато темный ангел Марианны оказался тут как тут. Соседка забыла любимого мишку на дворовой лавочке. Когда Марианна спешила домой, прижимая игрушку к груди, сердце ее билось, как пойманная хищная птица.

Плюшевый медведь был ветхим – кое-где залатан грубыми нитками, фабричные глаза давно заменены на аккуратные черные пуговички, криво сшитые лапы лоснились от старости. Марианна закрылась в комнате, прижала игрушку к груди и затянула колыбельную. Оказалось, что это совсем не интересно. В руках соседки медведь казался волшебным артефактом, но, попав к Марианне, потерял очарование. И это было так обидно, что та стащила у матери маникюрные ножницы и с холодным любопытством патологоанатома вспорола хлипкие швы. А потом, свесившись с

балкона, с некоторым необъяснимым возбуждением наблюдала, как соседская девочка, захлебываясь икотой, подбирает с земли то, что осталось от ее любимого мишки.

Потом слаще были чужие подружки.

Ее школьной подругой (помимо тихой Нади Суровой, которую Марианна немного опекала, потому что та была совсем уж рохлей, и даже немного любила, потому что та не стеснялась демонстрировать нежную мякоть ежиного своего живота, с улыбкой и без обид принимала Марианнины колкости, за которые другие дети ее недолюбливали) была некая Нина. Дочка пианистов, победителей международных конкурсов, заносчивая девочка с грузинским профилем и амбициями. Это была отчасти вынужденная дружба. Детскую популярность они делили на двоих – половина мальчиков восхищалась статной, спокойной Ниной, половина – едкой, взрывной Марианной. Врагов надо держать ближе, чем друзей, вот Марианна и держала – хотя сама была слишком юна, чтобы все это осознать.

Нина была звездой музыкальной школы. У музыкантов обычно бедняцкое детство – ни походов за мороженым, ни многочасовых сплетен с подружками, ни позвякивающего велосипедным звонком и пахнущего черемухой весеннего двора. После школы – почти ежедневная музыкалка, а потом – гаммы, ноты, репетиции. Если в двенадцать Нина еще могла повисеть на телефоне, обсуждая с Марианной поведение какого-нибудь веснушчатого дебиладесятиклассника, то в четырнадцать она была уже призером всероссийских конкурсов, со всеми вытекающими последствиями. Больше всего Марианну раздражал ее пафос предвкушения победы. Казалось, Нина ни минуты не сомневается в том, что и успех, и аплодисменты, и лучшие залы мира – уже целиком и полностью ее. Марианна относилась к жизни как к лотерее с открытым финалом, и эта неизвестность будоражила, пьянила, будила в ней хищника. Нина же воспринимала мир как банк, в котором у нее арендована законная ячейка – рано или поздно можно будет повернуть ключ и всеми своими сокровищами воспользоваться. Самое забавное, что так оно все и получилось. Марианна жила словно на американских горках – то ела на завтрак черную икру и презирала модные сумки за старческий фасон, то едва наскребала мелочь на пару новых колгот и единый проездной. Однажды (ей было уже за тридцать) на глаза ей попался

журнал со светскими сплетнями, и на одной из украшающих репортаж о Венском бале фотографий она узнала Нину, подружку бывшую. Холеная, прямая, как скрипичная струна, в мехах и шелках, она держала под руку миловидного шатена. «Известная русская пианистка с мужем». Марианна потом весь вечер пила коньяк, сидя на подоконнике, – даже всплакнула в какой-то момент, а потом, утерев слезы, подвела глаза фиолетовым, что сделало ее похожей на постаревшего печального клоуна.

Но это все было потом, а тогда, в четырнадцать, ей казалось, что Нина превращается в заносчивую неприятную особу. Она не замечала, что подруга приходит в школу с синева под глазами, – поздние репетиции, хроническое недосыпание. Не замечала, что у той пальцы иногда сводит от усталости.

Она замечала только одно: Нина почти перестала с ней общаться.

Дура.

А однажды выяснилась и причина этой холодности – оказалось, что у Нины появилась новая подруга. Тихая музыкальная девушка, без особенного таланта и перспектив, но и без амбиций тоже. В музыкальную школу Рита ходила из-под палки. Прилепилась к Нине, потому что была человеком пассивным и покладистым, а красивая грузинка однажды тепло ей улыбнулась. Собственно, и дружбы никакой не было – просто вместе обедали, обсуждали Нинины концерты. Рита, с одной стороны, говорила на одном с нею языке, с другой – не завидовала и не мечтала оказаться на чужом месте. Уже за это ее можно было приголубить, да и много ли ей надо – горсть объедков внимания, и тихоня счастлива. Дочка одинокой мамы, уютной толстушки, больше всего на свете она мечтала выйти замуж и родить малыша, и чем скорее, тем лучше.

Марианна же истолковала эти отношения с пылом хронического ревнивца. Она смотрела на блеклую улыбчивую Риточку и не понимала, как можно было променять ее, Марианну, на эту белую моль?

На Нинином пятнадцатом дне рождения она весь вечер исподлобья серьезно рассматривала соперницу. И, как это иногда бывает, вопрошающий ее взгляд в конце концов перестал спотыкаться о Ритину очевидную невзрачность. Более того, она сумела разглядеть в дурнушке божественные, как ей показалось, черты. Трогательный

пушок бровей делал ее похожей на «Девушку с жемчужной сережкой» – и плевать, что никто не назвал бы натурщицу красивой, зато ее роль в кино исполнила Скарлетт Йоханссон. Застенчивое молчание превратилось в мудрость, привычка мусолить салфетку – в милый штрих. К тому же у нее были очень красивые пальцы – бледные и длинные, как у аристократки со старинного портрета.

К тому моменту, как принесли торт с пятнадцатью свечами, Марианна была влюблена и очарована.

Сблизиться с тихоней Ритой было просто, как запомнить теорему про Пифагоровы штаны, – с ней ведь никто никогда не хотел дружить, поэтому к вниманию яркой болтливой красавицы она сначала отнеслась настороженно, зато потом благодарно приняла. Бог его знает, о чем была их дружба. Но каждый вечер они созванивались, а по субботам встречались в Парке Горького, чтобы за эскимо и «Тархуном» в миллионный раз обсудить все-все подробности нехитрой своей жизни. Одно раздражало Марианну – Нина на горизонте. Нина, конечно, удивилась внезапной близости двух своих подруг, но ни любопытства, ни ревности не показала, и это почему-то было неприятно.

– Разве тебе с ней интересно? – допытывалась она у покорной Риты. – Ну вот скажи, что с ней может быть интересного? Она же такая фальшивая. Наверняка в грош тебя не ставит.

А опьяненная блеском ее глаз Маргарита, желая угодить новой прекрасной подруге, вторила.

Только вот что забавно: стоило Марианне заполучить в ближайшие подруги тихую блондинку, как она поняла – ничего интересного и тем более особенного в ней нет. Обычная серая троечница с мещанскими мелкими мечтами.

Шли годы. Теперь сладкими казались мужчины – но только чужие.

Марианна привлекала мужчин, как желтый фонарик мотыльков, но те, кто добровольно летел на ее свет, казались ей недостойными. Одни были скучны, другие – небогаты, от третьих пахло мятной зубной пастой, четвертые не умели подбирать галстук к рубашке, пятые дарили ей астры, что почему-то тоже казалось оскорбительным. Однако если вдруг выяснялось, что у мужчины есть «хозяйка», – тут и мятный аромат, и безрадостные осенние цветы становились частью

шарма, и Марианна болела, страдала, завоевывала. А если добивалась, астры как по волшебству снова становились причиной истерических всполохов.

Женатый сосед по даче. Военный – загар, колючий взгляд, мышцы как сталь, мрачная немногословность. Жена, уютная украинка с ранней сединой, варила для него варенье из райских яблочек. Ева доморощенная. Яблоками его кормила жена, однако грех он вкусил с Марианной. Он прошел обе чеченские войны, но именно она, наглая и рыжая, стала его самой горячей точкой. Под душистым кустом дикой сирени, в сочной траве, оставляющей некрасивые следы на ее светлых юбках. На песчаном берегу грязноватой речки, до которой они добирались по отдельности – Марианна на велосипеде, военный – в стареньком авто. На пахнущем пылью и сушеной мятой чердаке. Весь август Марианна горела, как ведьма на инквизиторском костре. А в начале сентября ледяное сердце вояки дрогнуло, и Ева была изгнана из дачного рая – вместе с вареньем, дрожжевым тестом и перепелками, которых она разводила в сарае.

– Ведьма, проститутка! – орала она в гордо выпрямленную Марианнину спину. – Я с ним с семнадцати лет по военным городкам мотаюсь, а ты, фифа, пришла на готовенькое!

Засыпая на подушке, которая еще хранила запах волос другой женщины, Марианна была счастлива ровно четыре дня. Пока однажды утром не проснулась как ужаленная, на рассвете, чего с нею, урожденной совой, практически никогда не случалось. Она сначала посмотрела на серый дождь за окном и подумала, что на этот раз лето точно кончилось. А потом – на спящего рядом мужчину, немолодого, с мятой щекой и мутной струйкой слюны, стекающей из уголка сухого рта на подушку. Ужаснулась: «Что я здесь делаю?!» Потом на цыпочках походила по дому, собирая раскиданные вещи, и ушла, оставив под зеркалом небрежную записку с невнятными торопливыми «прости». Военный – она узнала позже – сначала решил ее застрелить, но потом одумался и просто вернулся к жене. Женатый профессор МГУ. Познакомились они старомодно – в парке. Для Марианны парк был малобюджетным способом бороться с воображаемым лишним весом – бегала по утрам вокруг пруда. Профессор же читал Бердяева на лавочке, периодически отвлекаясь, чтобы ленно проследить взглядом плавную траекторию жирных уток. И вдруг – она.

Остановилась над ним, рыжая, прекрасная, румяная, с разгоряченными молодыми подмышками и ярко-вишневыми губами, словно покусанными. И банально спросила, который час. Для профессора все это было как в рассказе Бунина «Солнечный удар». Бес попутал. Смотрел на нее, как старшеклассник, и голос его стал дрожащим, как у молодого козла, хотя он был красивым нестарым мужчиной, вполне уверенным в себе. Они разговорились. Марианна любила более поверхностных мужчин. Ей не хватало гуманитарного образования, чтобы в человеке, цитирующем Бердяева, отличить глубину от патологического занудства. Поэтому с подобными людьми она предпочитала не связываться в принципе, да и те обычно не жаловали ее вниманием. Но профессору повезло поставить все фишки на правильное число. Может, интуиция, может, случайность, а может, и слабая попытка уберечься от рыжей бесовки – но в какой-то момент он упомянул любимую жену. Которая когда-то была студенткой на его кафедре, самой красивой девочкой на курсе. И на дне Марианниных глаз тотчас же проснулись русалки.

Как бы она ни тасовала колоду, все равно на ее долю выпадали только женатые короли. Сама Марианна считала, что это ее злой рок, Надя же была уверена, что есть в этом и немаленькая доля особенного мазохистского кайфа.

Женатый писатель. Женатый банкир. Женатый заводчик лабрадоров. Женатый менеджер среднего звена.

Однажды Марианна решила пойти судьбе наперекор и выбрать совсем молоденького мальчика – пошла в недорогой бар и познакомилась со студентом юридического института, блондинистым, худеньким и ясноглазым. Но первым же общим утром он, покраснев и потупившись, сообщил неприятную новость. Он женат, уже полтора года. На однокурснице. Она ребенка ждет.

По совету какой-то подруги Марианна записалась на прием к психотерапевту. Полная и спокойная блондинка долго расспрашивала о детстве, а потом выдала, что все дело в ее отношениях с отцом. Отца забрала другая женщина, у которой тоже была дочь. Марианнин отец удочерил чужую девочку. И та быстро стала для нее ближе, чем родная Марианна, которую он видел только по субботам. Отсюда и неосознанный интерес к чужому.

– Теперь, когда мы разобрались с причинами, вам будет гораздо легче себя контролировать, – радовалась психотерапевт.

Но ничего в Марианнинной жизни не изменилось.

Только добавились внезапные вспышки ненависти к давно умершему отцу.

Марианнин отец был из тех условных отцов, которые почти не общаются с собственным ребенком, однако сентиментально носят его фотографию в бумажнике и при случае охотно и даже как будто бы с гордостью демонстрируют ее кому попало. В том числе и молоденьким любовницам – а для большинства из них эта нежная показуха становится дополнительным эротическим аргументом. Он улыбается, когда смотрит на фотографию дочери, – значит, порядочный, неравнодушный, может быть, даже немного несовременный.

И плевать на то, что он оставил семью, когда малышке этой не было и года, когда она еще только распрямила неуверенные пухленькие ножки, чтобы пойти, цепляясь за мебель розовыми ладонями. За четыре дня до первого произнесенного ею «мама» и восемнадцать месяцев до первого «папа» (слово оказалось непригодившимся по причине отсутствия им обозначенного объекта). Когда она еще была ангелом с румянцем и кудряшками. Что до всего этого, ведь каждой уважающей себя молоденькой любовнице ясно, из-за чего мужчины уходят из семьи. Причина элементарна как дважды два – сучья натура бывших жен.

Бывшие жены – особенная социальная группа. С точки зрения молоденьких любовниц, они все как под копирку – глуповатые стервы, истерички, одомашненные кошки, забывшие вкус воли и крови. Все они носят халаты в катышках, скандалят из-за ерунды, требуют больше денег, занимаются любовью только во вторую субботу месяца (разумеется, в миссионерской позе), годами не моют чашки, ревнуют ко всем попало, включая восьмидесятилетнюю глуховатую консьержку.

Также молоденькие любовницы не принимают в расчет тот печальный факт, что малышка с бантиками в его кошельке – уже давно фантом. Ее не существует уже лет как минимум десять. Ангелочек вырос, запрыщавел, проколол пупок, научился курить взятяг и произносить слово «жопа» с той особенной безразличной интонацией, которая сразу выдает людей ранимых и мнительных. И ее отношения с

отцом уже давно существуют в диапазоне от безразличия до легкой неприязни.

Ничего страшного – всем известно, что у подростков трудный характер.

«У нее был день рождения, И я подарил ей санки. Она сказала, чтобы я забирал свое барахло и проваливал», – обиженно рассказывает условный отец.

Молоденькая любовница сочувственно вздохнет; возможно, пробормочет что-нибудь вроде: «Дети такие жестокие» и поправит лялочку соблазнительного лифчика.

И даже не задумается о том, что «ребенку» – четырнадцать, на санках он не катается уже лет семь, а мечтал о сноуборде, о чем честно и сказал отцу пару месяцев назад. Собственно, тогда и был его день рождения. На который отец-герой не пришел, потому что как раз в это время вывозил молоденькую любовницу на кемерские пляжи.

В общем, отца Марианна не видела больше двадцати лет, да и раньше он появлялся в ее жизни эпизодически.

Вот он стоит на пороге в заснеженной шапке, улыбается как сказочный король, достает из шуршащих пакетов подарки и сладости, а она, Марианна, с визгом носится вокруг папиных ног, как спятивший пудель, – еще чуть-чуть и описается от восторга. Отец поднимает ее на руки, кружит, подбрасывает под потолок. А мать суетится вокруг и брюзжит: опять ты пришел слишком поздно, ей уже пора спать, и куда ты схватил ее в уличной одежде, и зачем принес конфеты, у нее же диатез, ты завоевываешь дешевую популярность, а мне потом лечить. Нытье раздражает и Марианну, и папу – они заговорщицки перемигиваются и запираются в детской.

А потом... Как-то постепенно все сошло на нет.

Уже в двенадцать Марианне хотелось быть взрослой, у нее начала расти грудь и появилась первая губная помада, отца же это почему-то пугало. Наверное, ему казалось, что подрастающая дочь приближает его кончину, а вместе с нею и то, чего мужчины вроде него боятся гораздо больше смерти, – ненужность и половое бессилие. Пока дочь носит банты и ходит с заклеенными пластырем тощими коленками, он – молодой отец трогательного ребенка. А когда она набивает лифчик ватой и томно рассказывает о каком-то десятикласснике, который ей звонит и сопит в трубку, отец – человек другого поколения. Жизнь

теперь принадлежит этой зеленоглазой нагловатой девчонке, а вовсе не ему, как он привык считать. У нее теперь музыка, которую он не понимает; одежда, на которую ему тошно смотреть; друзья, которые говорят на другом языке.

– Возможно, я латентная лесбиянка, – однажды заявила отцу тринадцатилетняя Марианна, которая как раз находилась в возрасте естественного желания эпатировать.

А он не понял, вышел из себя, накричал на нее, скомкал встречу. К тому времени они и так виделись не чаще раза в месяц.

Марианну это обидело. Она считала, что отец не имеет права делать ей замечания. Эту точку зрения азартно поддерживала ее мать. «Где он был, когда я лечила тебя от кори? Где он был, когда я работала в две смены, чтобы отправить тебя в пионерский лагерь? Появлялся раз в неделю, отдаривался сраной шоколадкой и уходил к своим девкам. Так ему и передай – ты имеешь право меня видеть, но не имеешь никакого права меня воспитывать».

Марианна так и передала. После этого отец не появлялся в ее жизни полгода. Сначала она переживала, потом привыкла, только осталась какая-то инерционная грусть. Потом они еще раз повздорили по телефону. Марианна хотела попросить деньги на концерт «металлической» группы (ей нравилась не столько тяжелая музыка, сколько мрачные мальчики в клепаной коже), а он сказал, что металл – это вообще не музыка, а какофония, и если он ей что и купит, то абонемент в Концертный зал Чайковского. Тогда Марианна и сказала, нарочито легкомысленно: «Пап, а не пойти бы тебе в жопу?» И больше они не виделись.

Ей было уже за тридцать, когда она случайно узнала, что отца нет в живых, причем довольно давно. Попал под машину, перебегая ночью Ленинградский проспект, – очередная молоденькая любовница отправила его в палатку за мартини.

В сентиментальном порыве Марианна даже съездила на его могилу – с двумя белыми розами и флажкой виски. С гранитного памятника на нее смотрел чужой отечный мужик с залысынами. Он не был похож на того, в заснеженной шапке, который подкидывал ее вверх, ловил на лету, а потом подкармливал запрещенными конфетами. Он не был даже похож на того унылого и сутулого, которого Марианна послала в жопу, а когда он исчез, плакала от бессильной злости.

Он был совсем чужим, этот умерший в две тысячи втором мужчине, памятник которому был подписан именем ее отца. Он был чужим, и это пугало, но и радовало почему-то тоже.

Марианна положила розы на землю, заботливо взрыхленную чьими-то руками, – наверное, одной из состарившихся любовниц. Выпила виски, наслаждаясь умиротворенной кладбищенской тишиной. И уехала в Москву, и больше в ее разговорах имя отца не всплывало никогда.

В женской консультации было душно. Обшарпанные стены, старые плакаты, рекламные брошюры на журнальном столике. Надя, быстро осмотревшись по сторонам, вжалась в стену и уткнулась в биографию принцессы Дианы. Оказывается, Диана, чтобы ее не подслушали, по ночам бегала звонить в ближайший к резиденции телефон-автомат. Почему-то Надя это ясно видела: настороженная принцесса прячет белокурые волосы под шелковый платок и быстро идет по темным улицам Лондона, прямая, нервная, руки в карманах черного плаща. Хотя, возможно, на самом деле никакого плаща и не было. Но Надя в такой ситуации непременно надела бы платок и плащ.

Другие беременные отчего-то казались пустоголовыми. Они переругивались, пытались пролезть без очереди, рассказывали друг другу что-то эксгибиционистски физиологическое: о взбунтовавшейся молочнице, фиолетовых растяжках, акушерках, молокоотсосах. В солнечном сплетении пульсировало горячее раздражение. Хотелось выйти на середину и с азартом миссионера-проповедника на всех наорать: вы что, не понимаете, беременность – это интимно, нельзя о ней так буднично и запросто, и лишь бы кому!

Какая-то бело-розовая молоденькая блондинка в инфантильной футболке с мультяшками скорбно рассказывала соседке, что с ней больше не спит муж. Срок небольшой – всего четыре с половиной месяца. А он боится. Смотрит на нее как на священную корову, творог с рынка носит, поддерживает под локоть, когда она поднимается по лестнице. Подруги говорят – золотой мужик, заботится. А ей хочется, чтобы не заботился, а трахал. Сорвал с нее дурацкий сарафан для беременных и отымел прямо на кухонном столе. Он так делал, когда они только познакомились.

Надя усмехнулась.

Ей самой хотелось как раз, чтобы Данила был заботливым, чтобы продемонстрировал понимание. И благодарность. А он вел себя так, словно ничего не произошло, словно Надя – это все та же Надя, «свой парень», самоотверженный кулинар, вечерний собутыльник.

– Поедешь с работы, заскочи в гастроном, – невозмутимо просил он. – У нас картошка закончилась. А так хочется... С лучком.

– У меня ноги отеки. Я на каблуках весь день, – пробовала Надя достучаться до его совести.

А Данила имел наглость пользоваться, как щитом, пошлейшей поговоркой: беременность не болезнь.

Разумеется, не болезнь, дурень ты стоеросовый.

Беременность – это монотеистическая религия, а я – божество, многорукий Шива-разрушитель в огненной гормональной колеснице.

Неделей раньше Надю вдруг одолела внезапно нагрянувшая сентиментальность. Весь вечер она смотрела «Унесенных ветром», ела сливочное мороженое, а потом улеглась в постель в пижаме с мишками и с жирной маской для лица.

Ей было спокойно и хорошо.

До тех пор, пока в кровать не пришел наигравшийся в «Doom» Данила. Сначала он, дежурно поцеловав ее, вляпался губами в вязкую горечь маски для лица. Притом повел он себя так, словно встретился с космическим пришельцем. Подпрыгнул на кровати и заверещал: «Что это, что это, что это?!»

А потом ладонь его наткнулась не на привычное тепло Надиной кожи, а на толстую ткань старомодной пижамы. Он был возмущен и оскорблен – будто Надя в этой самой пижаме не лежала в собственной постели в начале второго ночи, а пришла знакомиться с его родителями.

– Мне нужна женщина! – бегал по комнате он. – Женщина, а не клуша!

Наде было обидно.

У нее рос живот, а она камуфлировала его туниками и шальями. Почти никто не замечал беременности. Все говорили – она похорошела, расцвела. У Нади отекали ноги, но она продолжала носить любимые итальянские туфли на каблуках. Она часто просыпалась с чувством усталости, но ни разу не задержалась под

одеялом лишние четверть часа в ущерб мытью волос и легкому макияжу.

Она была современной, активной беременной, она, в конце концов, практически одна содержала семью. А он посмел придраться из-за какой-то пижамы.

А вот дебелий блондинке не хотелось, чтобы ей носили творог и грели тапочки, ей хотелось лежать в кружевах возле равнодушного к ее состоянию мужика.

Рядом с Надей села беременная цыганка, и она инстинктивно отстранилась, подавшись архетипическому страху шуршащих цветных юбок и огненных черных глаз. Цыганка это поняла и рассмеялась. На вид ей было не меньше сорока пяти, но она была из обладателей молодого серебряного смеха, в котором как в сладком коктейле замешаны и жажда жизни, и особенная жадность до впечатлений, и умение пить каждый день залпом, почти захлебываясь.

В конце концов, молодость – это не отсутствие морщин и седины. Молодость – это когда с легкостью можно отшвырнуть вчерашний день во имя завтрашнего. Молодость – это когда вчерашний день воспринимается бесконечной репетицией завтрашнего, когда ты точно знаешь, что все самое главное еще впереди.

У цыганки были желтоватые, как тростниковый сахар, крепкие зубы.

Надя улыбнулась в ответ.

– Волнуешься? – Цыганка бесцеремонно положила ладонь на ее живот.

Как ни странно, это не показалось раздражающим. Что-то было в ней, в цыганке этой.

– Девочка. – Она удовлетворенно улыбнулась. – Имя придумала уже?

– Откуда вы знаете? Я ходила на ультразвук, мне сказали, не видно ничего. Она попой повернулась.

– А врачи мало что понимают.

– Но что же вы сами тогда тут делаете?

Цыганка не обиделась. Весело трянула серьгами.

– Ты, главное, не волнуйся. Несчастной не будешь. – Помолчав, она добавила: – Скорее всего.

Надя разочарованно вздохнула. Волшебный смех обманул – цыганка оказалась обычной мошенницей.

Витиевато начала издалека, но все равно плавно выведет к сакраментальному «позолоти ручку». Может быть, она даже не беременная, просто ходит по женским консультациям с искусственным животиком под многослойным тряпьем, пугает впечатлительных.

– Ну, ну. – Чуткая к чужим настроениям цыганка все поняла. – Деньги – не главное. Я же просто вижу. Я не виновата, что вижу. Мне что, молчать? Даже если ты мне нравишься?

– Ага. – Надя уткнулась в книгу.

– Ты, главное... Уходи от него. И чем раньше, тем лучше. Нервы сбережешь.

– Ну что еще? – Надя устало вскинула глаза. – От кого я должна уйти?

– От мужа, от кого же еще, – невозмутимо фыркнула «предсказательница». – Гуляет он от тебя. Давно.

Надя отодвинулась от цыганки так резко, что больно врезалась спиной в стену. Другие беременные, на секунду замолчав, зашушукались, неприязненно глядя на цыганку. Та с кривой усмешкой отошла в сторону и отвернулась к окну.

– Как вам не стыдно?! – выкрикнула Надя в ее покрытую разноцветной шалью спину. – Нашли, у кого деньги вымогать.

Цыганка медленно повернулась, черные глаза блестели насмешливо.

– Разве я что-то сказала о деньгах, деточка? А то, что муж гуляет, ты и сама, милая, знаешь... Я же вижу, что знаешь... Я просто говорю тебе: приготовься. Чтобы врасплох не застали. Вот и все, милая.

Иногда Наде казалось, что у нее есть всего один, зато редкий, врожденный талант – умение терпеть. Ее умение терпеть было не выстраданным, не закаленным в боях, не оговоренным мудростью и опытом, а значит – драгоценным, естественным, беспарфосным. Надя умела терпеть не как пионер-герой под пыткой, а как буддийский монах, сидящий у реки, который точно знает, что все пройдет, и умеет преходящему улыбнуться.

Должно быть, именно этим объяснялось то, что когда-то давным-давно она не выгнала из дома мужа, впервые ей изменившего. Она вовсе не была из тех циничных пофигисток, с готовностью несущих

транспаранты: «Мужчины полигамны!» и «Главное, что возвращается он всегда ко мне!» Ей было обидно, не по себе. Вернулось давно забытое детское ощущение пошатнувшегося пола, которое появлялось всякий раз, когда мать снова ее обманывала. Она растерялась, расплакалась, обиделась, у нее началась мигрень и упало давление, но все-таки она стерпела, потому что точно знала, что все пройдет. Возможно, то была фатальная ошибка, потому что после того, как все действительно прошло и семейная жизнь возвратилась в стадию привычной безоблачности, Данила снова ударил под дых.

После каждой измены, когда штормовой скандал оборачивался неприятливой моросью Надиных бессильных слез, Данила, отменив все дела, бросал якорь у ее ног, варил для нее какао с красным перцем, массировал оливковым маслом ее ступни, поправлял шаль на ее плечах и смотрел глазами больного сенбернара. И шептал как трагик – больше никогда, никогда, никогда.

Это пылкое «никогда» не было полноценным спасательным кругом – скорее надувным мячом, то и дело выскользывающим из рук, но позволяющим кое-как держаться на плаву. Внизу – черный омут, дешевый коньяк с «Дошираком» в качестве закуски, антидепрессанты, мешки под глазами, одинаковые серые дни. Над головой – радуга, хоровод солнечных зайчиков, мартини с вишенкой, джаз, платья с летящими юбками, особенный свет в глазах.

И Надя где-то посередине, с никчемным скользким «никогда».

Такие «никогда» случались и раньше.

А потом...

Глупо было ненавидеть тех женщин. Надя не ненавидела, просто констатировала. Вела скорбный учет. Много их было, разных.

Была балерина с хрупкой детской спиной и печальными глазами оленя. Балерину он возил в Рим, а Наде врал, что командировка, но она потом нашла билеты.

Была продавщица из парфюмерного – душистая пряничная пышка. Были и еще – рыжеволосая учительница французского, студентка с пухлыми коленками, холеная маникюрша с татуированным лобком. О татуировке он сам ей рассказал: почему-то ему казалось, что после исповеди проще начать с чистого листа.

Мутноглазая байкерша по имени Ассоль (это был не псевдоним, а настоящее имя, полученное от маргинальных родителей,

прохипповавших все семидесятые и сожженных пламенем непотушенной сигареты в восемьдесят восьмом) зарулила к Даниле на чашку чая. «Чашкой чая» байкеры называли в лучшем случае бутылку дешевого вискаря – Наде это всегда казалось инфантильным малодушием, Даниле же, в свою очередь, казалось, что она придирается.

Данилы не оказалось дома. Надя – из вредности – предложила незваной гостье настоящего чаю – с бергамотом и травами, заваренного в английском фарфоровом чайничке. Еще и овсяное печенье в хрустальной вазе подала, и варенье абрикосовое разложила по розеткам. Хотя виски дома был, и Ассоль об этом прекрасно знала – все косилась в сторону книжного шкафа, где за собранием сочинений Льва Толстого хранился нехитрый алкогольный запас семьи. Надя невозмутимо разливала по чашкам ароматную бурую жижу. Почему-то казалось стилистически верным спросить у растрепанной пропыленной Ассоль (которой романтическое имя шло еще меньше, чем тонкая чашка с розами) что-нибудь вроде: «Сударыня, как благодатно нынче лето, не правда ли?»

Ассоль быстро съела варенье – сначала из своей розетки, потом – из Надиной. А потом так же быстро и уныло рассказала:

– А у Данилы-то твоего – новая пассия.

– Что? – прищурилась Надя. – Глупости.

– Вернее, старая новая пассия, – невозмутимо продолжила Ассоль. – Наши ребята даже ставки делали, когда же это случится.

– Да о чем ты?

Пьянчужка подняла чумазы ладони в примирительном жесте:

– Если что, я была на твоей стороне. То есть я ставила на то, что этого не произойдет. Даня ее перерос, перестрадал.

– Ее – это кого? – устало уточнила Надя, которая пусть и не отнеслась к словам байкерши всерьез, но все же констатировала: ледяная иглочка почти нежно ткнулась в пульсирующую мякоть ее сердца.

– Лерку, кого же еще, – хохотнула Ассоль. – К кому же еще он всегда возвращается, нагулявшись. Приворожила она его, что ли, не пойму.

Наде стало смешно. Иголочка в сердце растаяла.

– Глупости какие. Ты хотя бы саму Леру видела? Знаешь, в кого она превратилась? Она же приходила ко мне недавно, в образе героиновой старушонки. У нее волосы ключьями и зубов нет.

Ассоль посмотрела на нее как-то странно.

– Когда же это было?

– Да вот... Буквально несколько месяцев назад, – нахмурилась Надя. – Я уже была беременна.

– Praemonitas – praemunitos, – торжественно и глубокомысленно вдруг изрекла Ассоль, – что в переводе с латыни означает «Предупрежден – вооружен».

– Ты к чему клонишь?

– Я видела Леру позавчера. И она – блондинка с грудью и ресницами. Африканские косички до попы, ожерелье из черного бисера на шее и белые зубы.

– Ты меня разыгрываешь. – Наде вдруг стало дурно.

Кажется, резко упало давление. Пришлось даже ухватиться обеими руками за край стола, да еще и так крепко, что костяшки пальцев побелели. Ассоль же насмешливо за этим наблюдала. «Гадина», – беззлобно подумала Надя.

– К черту такие розыгрыши. Что ж я, нелюдь, что ли. – Байкерша рыгнула и почесала коленку. – Ладно, ты делай, что хочешь. Но я бы на твоём месте держала ухо востро.

«Во втором триместре беременности можно немного вина», – сказала Наде врач. Та удивилась прогрессивным воззрениям этой одышливой полной женщины с дурацким перманентом, старомодными серьгами из дутого египетского золота и привычкой обращаться «мамаша» к собеседнику, который заплатил за медицинскую консультацию почти тысячу рублей.

Но совет к сведению приняла – возможно, даже чересчур буквально.

Наливая Наде рубиновую «Вальполичеллу», барменша поджала губы и покосилась на ее живот.

– У нас есть безалкогольный мохито.

Барменша выглядела несчастной и потерявшейся во времени: фиолетовые дреды, грубые ботинки, серьга-шпажка в брови, а самой – за сорок, причем это «за» буквально высечено на грубоватом лице.

Интересно, вся эта мишура – это детство, кончину которого барменша то ли не заметила, то ли не желала признавать, или отчаянный выпад кризиса среднего возраста?

Время – и гениальный скульптор, и беспринципный вандал. Бог отдает ему бесформенный комочек глины, крошечного человечка с лицом рисованной старушонки. Время принимает дар и каждый день трудится над ним в своей мастерской. Нежно разглаживает складочки, расправляет хрупкие позвонки. Вытягивает реснички, пальчики, делает взгляд глубоким, а волосы – шелковыми.

А потом вдруг наступает момент – дурной ли день, экзистенциальный ли кризис, – скульптор отступает от своей Галатеи на несколько шагов и, нахмурившись, смотрит на нее пристально и тревожно.

И понимает, что получилось опять не то. Не то.

И тогда, исполненный тихой электрической ярости, он хватает резак и перечеркивает ее лицо один раз, другой, третий. Сначала морщинки-черточки едва заметны, скульптора это злит. Его агрессия набирает обороты, он берет бесформенную теплую глину, мнет ее в руках и пригоршнями лепит на скульптуру – комок на подбородок, комок на талию. Углубляет линии, заставляет брови сползти к глазам, и взгляд Галатеи, вчерашней бисквитной хохотушки с младенческими ямочками, становится злым. Ее губы увядают и превращаются в лишенные сока лепестки из гербария. Ее груди темнеют, пятки – желтеют, спина медленно сгибается, словно она инстинктивно стремится снова стать зародышем, погрузиться в священный младенческий сон, прижав колени к груди.

Галатея же ничего этого не понимает, она не замечает скульптора и считает его абстракцией. Просто однажды утром выдергивает из челки белый волосок.

Две с половиной недели Данила был прилежным менеджером среднего звена. Рассказывают, у него даже неплохо получалось (хотя Надя была уверена, что преувеличивают). Но факт: однажды вечером он пришел домой, нагруженный пакетами с логотипом дорогого гастронома. А в пакетах – деликатесы, иные из которых Наде не приходилось есть много лет. Например, крошечная баночка осетровой икры – невозможная, возмутительная роскошь. Эта баночка стоила дороже любых ее туфель, дороже коляски, которую Надя планировала

купить для малыша, да что там, даже дороже ее простого обручального кольца. Увидев ее, Надя онемела, потом повертела банку в руках, надеясь, что это подделка, а когда убедилась, что все по-настоящему, осела на табурет и прижала прохладные ладони к пылающим ушам. Данила же сиял. Он – хозяин дома. Он – добытчик. Он принес беременной жене дорогую икру. Успешный человек, раз имеет возможность так баловать любимых.

Кроме икры в пакетах была и баночка фуа-гра (Надя никогда не любила жирный паштет, но не говорить же это ему, сияющему), французские теплые круассаны, свежайшее мясо, нежные кругляши моцареллы, сырные пирожные, органический черный шоколад, мини-ананасы, манго...

– Тебя повысили до президента фирмы? – Она с недоумением разбирала пакеты.

– Я же говорил, что все у меня получится. Сегодня была первая зарплата...

Помолчав, он был вынужден оправдать худшие из ее опасений:

– Конечно, с моей зарплатой пока икру не купишь... Немного еще занял у приятеля.

Надино сердце будто ошетинилось, обросло иголочками из темной стали. Это была болевая точка. Данила всегда легко брал в долг. Он обаятелен, как сам черт, у него ясные глаза и ямочки на щеках. Близкие друзья, конечно, знали, что не стоит давать деньги Даниле Гатчину, но вот шапочные знакомые и приятели, которыми он обрастал, как оставленный на земле леденец муравьями, легко расставались с купюрами разной величины. А он клялся вернуть, а потом отключал телефон, врал о тяжелой болезни, даже менял сим-карточки. С некоторыми из его кредиторов, не выдержав, расплачивалась Надя. Так ей было спокойнее. Остальные, в конце концов, исчезали с его горизонтов. Надя боялась, что чьи-нибудь нервы однажды не выдержат и Данилу подкараулят в темном дворе, чтобы объяснить, почему взрослый мужчина должен отвечать за данное слово. Но ему везло, да и не брал он никогда больше тысячи долларов.

Причем он отнюдь не был циничным. Нет, Данила каждый раз искренне верил, что вернет долг. Такая вот разновидность самогипноза.

И сейчас, перехватив встревоженный взгляд жены, Данила поспешил воскликнуть:

– Наденька, понимаю, почему ты волнуешься, но поверь, на этот раз все будет по-другому! У меня же теперь есть работа, настоящая! Я же и деньги получил.

Надя вертела баночку с икрой. Может, получится продать ее через интернет-аукцион?

– Даня, если не секрет... А сколько именно ты получил сегодня?

Он немного помрачнел.

– Ну какая разница. Получил и все, это главное.

– И все-таки. Разве я не имею право знать?

– Ну... Три с половиной тысячи, – тихо сказал он. – Но это всего за неделю работы.

– А икра сколько стоит?

– Девять, – помявшись, ответил он, а потом заговорил быстро, как цыган, выкладывающий подробности будущего в надежде на позолоченную ладошку. – Надь, понимаю, куда ты клонишь. И у тебя есть полное право сомневаться, ведь я столько раз вел себя как мудака. Подставлял тебя. Но мне правда очень нравится моя новая работа. Эту неделю я только раскачивался. Я смогу зарабатывать в десятки раз больше, вот увидишь!.. Эй, ну не куксись. Ну порадуйся за меня, хоть один разочек!

– Ладно, – вздохнула она. – Давай есть икру. И пить томатный сок – за то, чтобы ты не бросил работу через месяц. Ты же быстро теряешь ко всему интерес.

– Клянусь, эта работа – начало новой жизни, – торжественно сказал Данила, а потом Надя достала бабушкины хрустальные бокалы, и они действительно выпили, муж – шампанское, она – воду с капелькой лимонного сока.

Он не потерял интерес к работе через месяц.

Потому что ровно через неделю после того, как они с Надей доели икру, его уволили с формулировкой: «Если ты, мудака бешеный, еще раз появишься в нашем офисе, ноги переломаем!»

Ему удалось продать пять с половиной соковыжималок. С половиной – потому что одна из покупательниц оформила возврат. Собственно, этот возврат – вернее то, как отреагировал на него Данила, – и стал точкой в его блестящей менеджерской карьере.

Покупательница – женщина средних лет с нервно подергивающимся лицом, прочитала книгу о сыроедении, загорелась и решила заняться собою. В книге было сказано, что те, кто питается только сырыми овощами и фруктами, в среднем молодеют на 10 лет в течение первого же года диеты. Воодушевленная, она принесла с рынка полные разноцветных овощей пакеты и нашла в сети фирму, в которую как раз устроился менеджером Данила. Реклама у фирмы была громкая, а женщина, как и большинство истериков, оказалась максималисткой – если уж соковыжималка, то устроенная сложнее станции «Мир». По счастливому стечению обстоятельств она позвонила в офис, когда там находился Надин муж. Внештатным менеджерам запрещалось снимать трубку – все звонки регистрировал секретарь. Директор логично рассуждал – зачем платить процент за клиента, который сам плывет в руки? У менеджера должна быть волчья судьба – в том смысле, что его ноги кормят, а не руки, снимающие телефонные трубки в удобный момент.

Но Даниле повезло, он вообще был из породы везунчиков. Возле аппарата никого не было, а его «алло» было скорее машинальным желанием прервать монотонную мелодию звонка, а не попыткой извлечь какую-то выгоду.

Но выгода нашла его сама, и было ей пятьдесят восемь лет, и звали ее Пелагеей Петровной, и у нее были камни в почках, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и артрит, и она вдова, а покойный муж был школьным учителем истории, и умер он уже двенадцать лет назад, а она – вот дура старая – все еще чувствует себя женщиной, но мужчины почему-то выбирают других, моложе, сочнее, вот она и решила купить соковыжималку, чтобы солнечная энергия бархатных персиков, африканских апельсинов и краснобоких яблочек немного освежила ее организм. Обо всем этом Пелагея Петровна сообщила обескураженному Даниле вместо «здравствуйте». И что ему оставалось делать – с овечьим простодушием отнести добычу секретарю? Конечно же он записал ее телефон и адрес, привез ей соковыжималку и обещанный фирмой килограмм яблок в подарок, два с половиной часа выслушивал монологи о женском одиночестве, которое похоже на засушливое лето. Дом пенсионерки он покинул с тяжелой головой – пришлось даже зайти в первый попавшийся бар и

выпить двойную порцию виски-колы, и это был хороший день, чтобы поверить в существование энергетических вампиров.

Пелагея Петровна радовалась соковыжималке ровно девять дней, после чего ее увезли на «скорой» с кишечными коликами. Сероглазый врач, похожий на ее любимого актера Жерара Депардье, укоризненно покачал головой и объяснил, что в ее возрасте резко менять стиль питания – опасно для жизни. Пелагея Петровна почему-то сделала неожиданный вывод: во всем виновата соковыжималка и обаятельный парнишка, который впарил ее доверчивой женщине. Как сладко он говорил, как пытался внушить, что пара месяцев на соках – и у нее появится молоденький любовник, как у Элизабет Тейлор, например. Пелагея Петровна написала официальную жалобу на пяти с половиной страницах. Причем на третьей странице были такие строки: «... пытался совратить, положил руку на колено, намекнул, что, если я сдамся, сделает большую скидку и еще яблок принесет...» Как бы смешно это все ни звучало, но директор отчего-то проникся сочувствием, и Данила был уволен в грубой форме.

Он, конечно, переживал, но старался держаться бодро, с нарочитым пофигизмом человека, которому чужая жалость кажется оскорбительной. Надя же, в глубине души, даже радовалась. Почему-то ей с самого начала казалось, что из странной затеи с соковыжималками ничего хорошего не получится. Она не могла объяснить логически, почему именно.

Но интуиция у Нади Суровой была хорошая всю жизнь.

Первый Надин муж, Егор, выглядел и вел себя так, что спустя всего лишь месяц после свадьбы она успела горячо возненавидеть всех женщин земли. Начиная с обработанных фотошопом абстракций – тех, на кого по плану вершителей теории мирового заговора должны были равняться все остальные, и заканчивая ясноглазыми официантками из «Старбакса», в котором привык обедать муж.

Надя ненавидела актрису Фанни Ардан, которая ей в матери годилась, за то, что однажды Егор со вздохом сказал: «Посмотри на нее, она просто улыбается, а на самом деле как будто бы душу пьет... Через соломинку, медленно, как молочный коктейль».

Егор всегда говорил образно. Первой его фразой, обращенной к Наде, была: «Девушка, так забавно: у вас нос красный от холода, как у ребенка, который долго катался на санках с горки. А над этим

смешным носом – соблазняющие глаза. Не выдержал и решил вам об этом сказать».

Случилось все это возле памятника Грибоедову на Чистых прудах, было холодно, она ждала Марианну, а та, по своему обыкновению, опаздывала. Егор не был похож на тривиального уличного пристава, он улыбался, а шея его была обмотана забавным красно-желтым шарфом. Легкая стеганая куртка, камуфляжные штаны и кеды – совсем не по погоде. Он обратился к Наде запросто, по-дружески, без тени той липкокрылой пошлости, которая заставляет раздраженно поджимать губы и со вздохом направлять в небо беспомощный взгляд. Он был настолько не похож на других, иногда случавшихся в ее жизни мужчин, что она продиктовала ему номер телефона.

Потом, когда они оставили за спиной и первое неуклюжее свидание (концерт африканской барабанной музыки в ЦДХ), и первый поцелуй (жадный, длительностью в целую вечность, под ее окнами, в его авто), и первую близость (в квартире, которую он снимал напополам с другом, на овечьей шкуре, под низкий голос Эрики Баду), Егор много раз говорил Наде такие слова, которые она больше никогда и ни от кого не услышит.

«Ты похожа на „Девушку с персиками“. Только на нее смотришь и понимаешь: невинна, мечтательница, а персики – для антуража. А если бы на той картине была ты, всем бы стало понятно: персики – это то, что осталось после того, как ты объелась ими доверху. И мужчинами объелась, и любовью, и вообще – чувствуешь себя уютно только в этой животной сытости. И глаза твои блестят, как у колдуньи».

«Когда я смотрю, как вены просвечивают сквозь кожу на твоих руках, мне плакать хочется. Правда. Это самое трогательное, что я когда-либо видел».

«Ты неловкая, угловато ходишь, и пространство к тебе недружелюбно – все время то стул заденешь бедром, то в дверной проем не впишешься. Как подросток. И стесняешься этого жутко, я же вижу. Только вот знай: почему-то твоя неловкость сексуальна. А почему – я пока не разобрался, но если пойму, тебе обязательно расскажу».

«Я сегодня проснулся раньше и смотрел, как ты спишь. Ты спишь... жадно. С такой жадностью, что даже завидно. Ты спишь, как ребенок ест конфеты, – если так понятнее. Вот».

Необычные слова – казалось бы, и не поймешь, радоваться им или обижаться. Но это только если пытаться пересказать их третьим лицам. А на самом деле, приправленные его внимательным теплым взглядом, его улыбкой, они воспринимались как лучший в мире, эксклюзивный, драгоценный комплимент.

Да.

Но вот такого – «улыбаешься, словно душу пьешь, из соломинки, как густой молочный коктейль» – он ей никогда не говорил. Эти простые, нежные, точные слова достались несуществующей женщине – Фанни Ардан. Несуществующей – потому что настоящая, земная Ардан наверняка жила теми проблемами и страстями, которые Егор снисходительно презирал. Ревновала, завидовала, маскировала синеву под глазами тональным кремом, а целлюлит – утягивающими колготками. Во всяком случае, Наде так хотелось думать.

Она ненавидела Анфису Чехову, которой достались рассеянные слова: «Ты посмотри на линию ее плеч, с нее скульптуры лепить можно».

Ненавидела даже нарисованную девушку с картины одного знакомого художника, которую тот когда-то ей подарил – кажется, на совершеннолетие. Девушка сидела на качелях и держала в руках апельсин, у нее были светлые волосы и огромные серые глаза, серьезные и грустные. Сколько лет эта картина висела над кроватью – в красивой рамке, с дарственной надписью, – Надя к ней привыкла и даже внимания не обращала. Но стоило Егору приблизить к ней лицо и сказать: «Думаю, этой девушки не существует. Художник писал не с натуры. Он ее придумал. Потому что она идеальна. Таких точно нет». И все. Это было смешно, но Надя отводила от девушки на качелях взгляд, потому что ей казалось, что где-то на дне этих серьезных глаз неуловимым солнечным зайчиком посверкивает насмешка. А твой мужчина, мол, считает меня идеалом. И тебе никогда такой не стать. А если бы я встретила его в реальной жизни, угадай, кого из нас двоих он бы выбрал?..

Это был бред, паранойя. Но ничего поделать Надя не могла. И когда Егора не было дома, она переворачивала картину лицом к стене.

Она ненавидела – пусть земля будет им пухом – Наталию Медведеву и Мэрилин Монро.

Иногда по вечерам Егор пил вино с пряностями под низкий хриплый голос Медведевой. В такие моменты Нади для него не существовало. Он был наедине с голосом – слушал и задумчиво смотрел в окно. Даже если она сидела рядом, все равно чувствовала себя третьей, и это было невыносимо.

А в Мэрилин Монро он был в детстве влюблен, собирал ее фотографии и даже рисовал ее портреты. Он всерьез называл ее первой любовью и говорил, что она научила его анализировать свои чувства, делить их на тысячи составляющих, замечать полутона. Потому что, когда сверстники пили пиво за гаражами и с козловатым гоготком запускали руки под юбки прыщавых одноклассниц, Егор сидел дома и, прихлебывая кагор, писал длинные серьезные письма давно умершей Мэрилин. Письма у него хранились до сих пор. Однажды Надя попросила почитать, а он ее так строго одернул, что она даже украдкой всплакнула в ванной.

Такое гаденькое, по-мещански мелкое, стыдное чувство. И с каждым днем оно крепло, наливалось ядовитом соком, распускало свои склизкие щупальца. Егор, если бы о нем узнал, наверняка перестал бы разговаривать с женой. Поэтому Надя о своей ревности привычно помалкивала, прятала ее где-то в донной, илистой части сознания. Иногда ей казалось, что ревность, как и любое чувство, которое ты запрещаешь себе пережить или хотя бы выговорить, разбухнет, заполнит до краев ее существо, и в конце концов она взорвется.

Но ненависть к тем, кто имел лишь потенциал, но никак не реальную возможность (а главное – желание) помешать ее счастью, была ничтожной по сравнению с ненавистью к женщинам реальным.

Незнакомка на Арбате с мечтательной улыбкой обернулась ему вслед.

Соседка зачастила под невинными предложениями – то соль ей, паразитке, понадобилась, то два яйца на пирог («А хотите вам потом принесу кусочек попробовать? У меня лучший яблочный пирог в Москве!»), причем вырез на ее халатике день ото дня становился все более откровенным.

Официантка, интимно склонившись, стряхнула хлебную крошку с его рукава.

«Надя, ты сошла с ума! Еще не хватало, чтобы ты ревновала меня к официанткам!»

Подруги.

Это было, пожалуй, большее всего.

Одна из них присела на подлокотник его кресла и что-то тихо рассказывала, а он смеялся. Надя подавала им чай, мечтая об одном: вот бы можно было воткнуть ножницы ей в руку.

Другая все звонила советоваться по поводу компьютера. Как будто бы в Москве не было студий компьютерной помощи. Звонила, спрашивала какую-нибудь мелочь, а потом они еще долго болтали за жизнь. Надя все-таки не выдержала и однажды сказала ей: «Ну что ты делаешь? Зачем? Ты хотя бы понимаешь, что это подло?» Подруга еще и обиделась. И назвала ее истеричкой. Но хотя бы звонить перестала, и на том спасибо. Дура.

Даже Марианна – проверенный временем товарищ – и та ненадолго оказалась по другую сторону баррикад.

– Марьяша, ну почему ты так наряжаешься, когда к нам приходишь? – однажды в отчаянии спросила Надя. – Ты же просто забежала на кофе, ну на фига тебе шелковое платье, еще и полупрозрачное?

– Но я же всегда так выгляжу! – возмутилась та.

И это была правда – Марианна как раз из тех, кто и мусор выносил на шпильках. В иные времена Надя над этим подшучивала и даже считала, что это – от неуверенности в себе. Все проповедовала: «Любить себя надо любой, даже когда волосы грязные и прыщ на лбу. Опасно любить себя только красивой и выхоленной, потому что жизнь – штука сложная, мало ли что».

А вышло вот как – блестящие рыжие волосы Марианны, ее плоский загорелый живот с брильянтовой «шпажкой» в пупке, ее наряды, похожие на нежное оперение тропических птиц, стали для Нади костью в горле. Ни выплюнуть, ни проглотить.

– И все-таки, почему бы в следующий раз тебе не прийти так, как ходят к подруге на чай все нормальные люди? В спортивном костюме, например, без косметики, с хвостиком? А? – Надя говорила все это и чувствовала себя жалкой, жалкой, жалкой.

– А может быть, лучше тебе к моему приходу наряжаться? – насмешливо предлагала подруга. – У тебя же полный шкаф платьев, а

ты все время в джинсах. Почему?

Надя и сама не знала почему. Наряжаться она умела и любила, только вот повседневное самоукрашательство воспринималось пыткой. Беспольной тратой времени. Вставать на час раньше, чтобы нанести на лицо тон, на скулы – румяна, а на волосы – силиконовый блеск? Целый день прихрамывать на высоких каблуках только потому, что ноги кажутся длиннее и стройнее? Уютному, как пижама, любимому свитеру предпочесть платье, которому весь день придется мучительно соответствовать – держать осанку, втягивать живот? Вот еще, разве она, Надя, не «выше» всего этого, разве она не хочет, чтобы люди принимали ее такой, какая она есть? Чтобы любили именно ее, а не усовершенствованную копию?

Так она всегда думала, но взгляд Егора, который словно ласкал огненные волосы подруги, ручным котенком умиротворенно засыпал в ее отчаянно смелом декольте, заставил ее задуматься. А может быть, она не «выше», а просто ленивая?

– И учти, любой другой человек на моем месте смертельно бы на тебя обиделся и был бы прав, – строго отчитала ее Марианна. – Ты подозреваешь меня, самую близкую подругу, в том, о чем я даже и подумать не могла. И мне приходится оправдываться, а самое противное, что может быть на свете, – оправдываться за то, чего ты не делала.

– Ну прости, – уныло согласилась Надя. – Согласна, я бываю неадекватна. Даже не понимаю, что это со мной. Неужели это и есть настоящая любовь?

– Это – настоящая глупость! – безапелляционно отрезала подруга. – В последние месяцы я тебя не узнаю. Этот Егор твой – манипулятор. Он тебя поработил, ты живешь только им. И страхом его потерять. Он тебя обесценил в твоих собственных глазах. Так нельзя, мать.

– Да что ты говоришь такое? – У Нади даже дыхание от возмущения перехватило. – Мы любим друг друга, рядом с ним я абсолютно счастлива, впервые я встретила мужчину, который...

– Который выдернул из тебя и без того хрупкий стержень. Звучит жестоко, зато правда. Счастливые женщины не просят подруг пострашнее одеться. У счастливых женщин нет такой паники в глазах.

– Бред какой-то... Как будто не про меня... Марьяш, да что с тобой?!. Ну да, я его ревную безумно, но при чем тут он? Дело во мне, такой уж характер... Сама от себя не ожидала.

– Не ожидала, потому что нет у тебя «такого уж характера»! А ревнуешь ты потому, что он дает повод! Постоянно тебя провоцирует.

– Вот глупости. – Надя даже рассмеялась. – Это уж точно не про Егора. Он считает, что ревность – это низко и даже подло. Он бы никогда не стал.

– Да? А тогда почему он смеет так смотреть на женщин в твоём присутствии? Так разговаривать, произносить такие слова? Думаешь, я не заметила, как ты пятнами пошла, когда он сказал, что у меня живот гаремной красавицы? Я тогда отшутилась, но мне было неприятно. Потому что когда муж подруги такое говорит... Это почти как инцест. Противно... А как он смотрит «Фэшн тиви»? Девки идут по подиуму, а у твоего слюни текут.

– Он просто любит хрупкие щиколотки, – тихо оправдывалась Надя.

Ей было больно все это слушать. К тому же к хору возмущенных несправедливыми нападками внутренних голосов вдруг примешался один как будто бы чужой, сочный и звонкий? И этот голосок напевал: а ведь она права. Права, права...

– Он и моими щиколотками восхищается, – тем не менее продолжала она держать оборону. – Ну что же поделать, если мой мужчина так остро воспринимает красоту. Любоваться – это же еще не значит желать обладать.

– Ты хотя бы понимаешь, что только что повторила его слова? Фразу целиком. Я это от Егора твоего слышала.

– Ну и что. Если фраза мудрая, почему бы не повторить. – Надя начала злиться, и Марианна это почувствовала, сбавила тон.

– Ладно, прости меня. Я привыкла, что меньше всего люди хотят услышать правду о себе самих. Потому что это больно.

– Давай просто договоримся, что больше никогда не будем возвращаться к этой теме, – предложила Надя. Ее голос был ровным, но внутри словно клокотало, готовое взорваться, раскаленное ядро.

– Давай, – пришлось согласиться Марианне. – Только вот когда он тебя начнет бить, а это обязательно случится, ты вспомни о том, что я тебе сегодня говорила. И беги от него со всех ног.

Тогда они все-таки поссорились, ненадолго. Марианна умела мириться. Однажды она без предупреждения завалилась с чизкейком и пряностями для глинтвейна, расцеловала Надю в обе щеки, поставила какой-то джаз, весело зазвенела цыганскими браслетами. Это была привычная, милая, поверхностно щебечущая Марианна. Не пытающаяся проповедовать. Безопасная.

Но ведь она оказалась права.

Пожились они в сентябре, а в марте Егор впервые ее ударил. Наотмашь, по щеке, тыльной стороной ладони. Не очень больно, но жутко обидно. Так котенка бьют свернутой в трубочку газетой – не чтобы причинить боль, а чтобы научить. Вышло все неожиданно.

Егору показалось, что она располнела. У Нади всегда были хрупкие полудетские плечики и тяжеловатый зад. Подростком она пробовала худеть – ничего не ела, кроме помидоров и творога, в итоге заработала приступ гастрита, но не сбавила ни сантиметра. «Вот дура-то, – возмущалась тогда бабушка. – Дура как она есть. Разве можно переть против конституции?»

С того момента, как они с Егором познакомились, она не поправилась ни на грамм. Так что дело было, скорее всего, в том, что его взгляд больше не был влюбленным, он стал объективным.

Объективное мышление – самый, пожалуй, верный способ свести чувство на нет. Ежеминутное мучительное соревнование с... кем? Несуществующим идеалом? Окружающими женщинами? Первой любовью того, в чьих глазах осуществляется этот унижительный акт оценки?

Надя мыла посуду, а Егор молча сидел у нее за спиной. Ей казалось, он читает книгу. Кажется, «Имя розы», он и ей попытался на прикроватную тумбочку подложить, но первые же страницы с ловкостью опытного гипнотизера ввели ее в странное сомнамбулическое состояние – она видела буквы, понимала слова, но смысл ускользал.

И вдруг Егор сказал:

– Надя, ты стала толстая.

Она выронила тарелку.

Тарелка раскололась надвое.

Обернулась к нему:

– Что, прости?

Холодно глядя ей в лицо, он спокойно повторил:

– Ты стала толстая. – А потом, видимо заметив панику в ее глазах, с улыбкой добавил: – Но это же не страшно. Можно ведь похудеть. До лета достаточно времени. Я тут все просчитал: если ты в месяц будешь терять три с половиной килограмма, то к июню будешь в изумительной форме.

– Ты шутишь? – все еще надеялась она. – Если я буду терять три с половиной килограмма в месяц, то к июню от меня ничего не останется. У меня нет ничего лишнего. И если хочешь знать, я до сих пор спокойно влезаю в школьные джинсы.

– Это всего лишь говорит о том, что в школе ты тоже была толстая, – невозмутимо парировал Егор. – Ладно, не будем препираться. Я ведь желаю тебе добра. Я тут посидел в Интернете и набросал примерный план действий.

В его руках появились три тонкие тетрадки.

– В одной из них я расписал тебе диету и спортивную программу. А две другие – это твои дневники. Так проще себя контролировать. В один дневник ты будешь записывать все, что съела за день. В другой – все о твоей физической нагрузке.

– Егор, ты... Ты, кажется, сошел с ума. – Она выключила воду и вытерла руки о подол домашнего платья. – Я вовсе не собираюсь худеть. Меня все устраивает как есть.

– А меня не устраивает, – почти весело заметил он. – Разве ты не хочешь мне нравиться? Или я тебе больше как мужчина не интересен?

Вопрос был задан невинным тоном, но Надя заметила, как его бровь взлетела вверх, судорожно дернулась щека, а глаза, обычно спокойные и чуть насмешливые зеленые глаза, будто бы потемнели. Это был нехороший знак.

– Конечно, интересен, – поспешила ответить она. – Я тебя люблю. Только вот... Когда мы познакомились, я тебе вроде бы нравилась. Ты даже говорил, что я сексуальна.

– Это так. – Закурив, он кивнул. – Но я за то, чтобы люди совершенствовались. Постоянно работали над собой. В этом плане ты мне показалась идеальным материалом. Я сам все время работаю над собой и вовсе не хочу, чтобы моя жена топталась на месте, как животное... В общем, вот тетрадки. Два дня тебе на изучение, с понедельника начинаем работать по программе.

Надя предпочла не спорить, молча приняла тетрадки, засунула их куда-то в стопку глянцевого журналов и тут же о них забыла. Они провели замечательные выходные вдвоем. Было шоколадное фондю в его любимом швейцарском ресторанчике, и катание на сноубордах в Яхроме по уже скупому, ледянистому мартовскому снегу, и любовь – дома, на плетеном непальском ковре. Неприятный разговор забылся, Надя снова чувствовала себя защищенной и счастливой.

Но в понедельник вечером, вернувшись с работы, он, не успев разуться, сказал:

– А за ужином я хотел бы просмотреть твои сегодняшние записи. – И, встретив непонимающий взгляд, добавил: – Я о тетрадках, которые мы договорились вести.

Как это авторитетно прозвучало в его исполнении – «мы договорились».

Наде пришлось признаться, что о тетрадках она забыла. Егор не рассердился, но со вздохом предупредил, что если и завтра она продемонстрирует столь же наплевательское отношение к его невинной просьбе, то, кажется, их (то есть по большому счету ее одну) ждут большие проблемы.

И следующим вечером, не найдя в тетради подробной таблицы питания, он вдруг коротко размахнулся и ударил жену по щеке. Надя так растерялась, что даже ничего ответить не успела, а он, не дав ей времени опомниться, ушел с другом в бар. Пощечина была несильной – знакомо пахнувшая ладонь просто сухо скользнула по ее коже. Но щека почему-то все равно горела.

Она набрала номер его мобильного, но Егор молча отсоединился.

Наверное, это был самый ужасный вечер ее жизни. Надя сидела перед телевизором с прямой спиной, пила валериановые капли, смотрела какой-то пошлый концерт, а время ползло, как черепаха в пустыне.

В какой-то момент ее взгляд упал на пустую тетрадку, она машинально, как во сне, взяла карандаш и написала: «15.00 – банан, печенье, молоко. 20.00 – омлет с сыром, яблочный сок. 21.00 – клубника с чаем. 22.00 – бокал вина и несколько конфет».

Надя не помнила, как ей удалось уснуть. Как будто бы в ее личном пространстве вдруг выключили свет и звук, обрубив все прочие

мостики в реальный мир. Снилось что-то психоделически яркое, тревожное.

А первым, что она увидела, проснувшись, было улыбающееся лицо мужа. В его руках была тетрадка. Он поцеловал Надю в плечо.

– Вот видишь, как все просто. А ты не верила. Скоро это войдет в привычку. Даже первая твоя запись показательна. Ты ешь слишком много простых углеводов, это очевидно.

Надя удивленно смотрела в его знакомое лицо, вдруг показавшееся чужим. Ей больше всего на свете хотелось, чтобы все было как раньше. Забыть электрическую пощечину и помнить только нежность, насмешливую улыбку, общие шутки и общие ночи. Это было трудно. Егор улыбался – спокойно и тепло, но перед ее глазами стояло побледневшее лицо, искаженное яростью.

Надя хотела сказать: «Ты маньяк. Я тебя все еще люблю и хочу все исправить, но ты маньяк!» Но в последний момент передумала – слишком велико было искушение ухватиться за эту улыбку, как за спасательный круг. И безмятежно поплыть по знакомым водам неторопливой реки, которая непременно вынесет ее в бескрайнее теплое море.

И она сказала:

– Доброе утро, Егор!

– Вот оно, – вдруг перебил ее Борис.

– Что? – удивилась Надя.

– То, чего я ждал все это время, – загадочно улыбнулся он, продолжая помешивать давно растворившийся сахар в остывающем зеленом чае. – Мне хотелось понять, почему ты до сих пор так обижена на людей, которые были первостепенно важными в твоей жизни тысячу лет назад.

– Егор был не тысячу лет назад, а...

– Я не Егора имею в виду. Маму и бабушку. Ты все время рассказываешь о них. Твоя бабушка умирает, а ты до сих пор не можешь ее простить. Ты беременна, но почти ничего об этом не говоришь. Этого как будто бы и нет.

Надя закусила губу и машинально накрыла ладонью живот. Он был прав. Она и сама об этом много думала. Чувствовала себя виноватой перед ребенком, который рос внутри нее, за то, что так мало о нем думает, почти не мечтает о встрече, почти не планирует общую

жизнь. Ребенок – словно просто обстоятельство. Условия игры, с которыми она была вынуждена считаться. Иногда ей даже казалось (и в такие моменты Надя чувствовала себя чудовищем), что обстоятельства были ей навязаны. Она их не выбирала, не хотела выбирать. Ее поместили в чужую жизнь, где ей неуютно, сложно, неприятно.

– А теперь мне стало кое-что понятно, – продолжил Борис. – Все остальные люди, которых ты приближаешь к себе, – ненастоящие. Я не имею в виду твоих друзей, скорее – твоих мужчин.

– В смысле? – нахмурилась Надя.

– Ну вот возьмем Егора. Он своенравный, почти патологически. Упрямый, волевой. Думает, что только он знает, как правильно. Так?

– Ну... в целом да.

– Ты мне рассказала о пощечине. Но наверняка были еще и мелочи, о которых ты сейчас почти забыла. Мелкие ссоры... По поводу чего вы обычно ссорились, Надь?

– Да когда это все было, – поморщилась она.

– И все-таки. Вспомни хотя бы парочку моментов.

– Ну... Например, однажды он меня бросил в кино. Мы собирались смотреть комедию. Но в последний момент он увидел, что вышла какая-то космическая опера, и захотел пойти туда. А я такое совсем не смотрю. Ну и слово за слово... Он убежал куда-то, оставил меня у касс, одну... И еще каблуки. Он приучил меня к каблукам. Я их никогда не любила. А ему казалось, что настоящая женщина должна носить только шпильки. Я ноги в кровь растирала. Тайком носила кроссовки. Однажды он увидел – такой скандалище был... Ну и этот пищевой дневник. Он быстро понял, что я вру. Половину еды не записываю. Только полезное констатирую, а конфеты идут мимо страничек. Я же сладкоежка.

– Надь, а сколько тебе было лет, когда ты замуж вышла?

– Дай подумать... Двадцать четыре. А что?

– А тебе не кажется, что в двадцать четыре человек сам в состоянии решить, чем ему питаться и во что обуваться? А Егор твой вел себя как...

– Тиран и деспот, – вздохнула Надя. – Но я не понимаю, к чему это все сейчас.

– Не как тиран и деспот. А как твоя бабушка, – улыбнулся Борис.

– Ну что за чушь?! – напряженно расхохоталась она. – Ты уж не бери на себя слишком много.

– Неужели сама не видишь? Ты переживала, что бабушка тебя не любит. Такой близкий человек, можно сказать, единственный, который несет за тебя ответственность. И не любит. Или любит, но както неправильно. Считает тебя хуже других. А тут – человек с такой же моделью поведения, и вроде бы любит настолько, что сам тебя выбрал, женился. Добровольно ложится в твою постель, целует тебя...

– То есть ты думаешь...

– Что ты пережила роман с собственной бабулей. – Борис отсалютовал ей бокалом. – Хотя, похоже, это мало тебе помогло. Потому что вы наверняка расстались как-то странно. И уж точно не поставили внятную точку. Я почему-то уверен.

Однажды Егор ушел. Наверное, для любого человека с аналитическим складом ума это было бы предсказуемо и даже ожидаемо, для Нади же – как гром среди ясного неба. Ушел он без предупреждения. Просто однажды не вернулся домой – как в мелодраме с плохо проработанным сценарием. Он ушел и оставил Надю. Одну – с ее дурацкими пищевыми дневниками, неудобными туфлями на каблуках (ему нравилось, чтобы жена выглядела как леди), с непониманием, что случилось, и отсутствием желания жить.

Егор уехал, и она осталась словно в вакуумном мешке – все окружающие вещи и даже люди были формальными, как белесая шелуха, в которой давно сгнили семечки. Вне Егора не осталось никаких чувств – все было связано с ним так или иначе. Короткие минутки радости – это воспоминания, тягучие и нежные, как сливочная ириска. Или вспышки оптимизма – точно разноцветные кетаминовые галлюцинации. Вот телефон звонит – а вдруг это он. Понял, как ему Нади не хватает. Сейчас приедет, и снова будет снег, разноцветные шарфы, мандарины, вино, смех, бергамотовый чай, бегать босиком, считать его родинки, рассказывать сны, цитировать Верлена (а он скажет – ты, солнце, чересчур впечатлительная. Впрочем, невпечатлительные женщины пресны, как соевая котлета). Любовь на домотканом ковре. Ее ладони пахнут его кожей. Ее подушка пахнет его волосами. Его рубашка пахнет ее лимонной туалетной водой. Но нет – это всегда была либо мама («Да что ты расстраиваешься, вот глупости!.. Кстати, ты не одолжишь мне свою

кремовую блузу? Я познакомилась с мужчиной, он бухгалтер и пригласил меня в „Ленком“), либо бабушка („А я тебе разве не говорила, что так и будет? Не по Сеньке шапка. Этому Егору нужна другая баба, умная и цепкая. Не такая сопля, как ты“), либо Марианна („Все киснешь? У меня предложение – давай пошлем все к черту и напьемся в первом попавшемся баре!“). Самыми обидными были слова бабушки, ведь та озвучивала ее, Надины, тайные мысли. Самые болезненные из тайных мыслей – то ли слишком хорошо знала Надю и умело била в цель (и это было бы еще ничего, хотя и непонятна причина вампирской бабушкой зависимости от чужой растерянности и слабости). То ли слишком хорошо знала жизнь и за пышными сантиментами умела видеть самую суть вещей.

«Ему нужна другая женщина, не такая, как я», – приговаривала Надя, слоняясь по неубранной квартире. Грязная пижама, грязные волосы, раз в восемь часов звонок в службу доставки пиццы. Тупое реалити-шоу – пережаренная в солярии девушка без возраста с длинными синтетическими волосами орет: «Скотина! Мерзота!» – на молодого человека с лицом дегенерата. Тот, поразмыслив несколько минут, сонно выливает ей на голову воду из вазы с давно увядшим цветком. Девушка визжит, словно ее ошпарили кипящим маслом, убегает поправлять макияж, а потом жалуется товаркам – таким же пережаренным и синтетическим, – что с ней никто так раньше не обращался, новое платье испорчено, и вот бы он попал под машину, потому что лучшее наказание за такую выходку – смерть.

Надя смотрела все это, прихлебывая дешевое баночное пиво (пиво она ненавидела, так что его распитие было частью мазохистского ритуала саморазрушения). Мелкие страсти неглубоких людей были вялым подобием антидепрессанта.

«Другая женщина, не такая, как я». А за окном медленно кружил ранний октябрьский снег.

Пройдет каких-то несколько недель, и она увидит ту женщину, другую, не такую, как она. Новую женщину Егора. Егор позвонит ей и спросит: «Можно мы заедем за моими книгами?» И Надя растеряется, не сможет отказать, хотя многозначительное «мы» не оставит ей пространства для воображения.

Надя будет готовиться к их визиту, как к самому важному в жизни свиданию. Она выбросит копившийся неделями мусор, впустит в

квартиру свежий воздух, вымоет волосы и вотрет в кожу хвойное масло. Подкрасит губы и дрожащей рукой нарисует «стрелки» на веках. Оденется небрежно – любимые джинсы и расшитая камнями туника, золотая цепочка с кулончиком – скромный голубой топаз. Вполне по-домашнему, только вот Егор-то сразу поймет, что она готовилась специально. А Надя в свою очередь поймет, что он понял, и будет отводить глаза от его кривоватой усмешки.

Та женщина окажется миловидной и русоволосой, по-балетному тоненькой, с бледной прозрачной кожей и трогательной голубой венкой, проступающей на высоком лбу. На ней будет странный этнический сарафан, сшитый из лоскутов, и крупные янтарные бусы – любую другую такой наряд превратит в городскую сумасшедшую, но не ее, Лику эту (или Лиду? У Нади в глазах потемнело, когда они вошли, она не запомнила имени). А когда у Егора хватит наглости попросить чай, а у Нади не хватит сил послать их к черту, выяснится, что Лика (Лида?) не только красива, но и умна. Что голос у нее низкий и чистый, что она учится на последнем курсе филфака МГУ, занимается в танцевальной студии танго, говорит на старославянском, любит «Футураму», ей нравится торт «Наполеон», суровая зима, Париж и как Скарлетт Йохансон перепела Тома Уэйтса. Она расскажет обо всем этом без пафоса, как бы между прочим, а Егор будет подливать молоко в ее чай, беззастенчиво любуясь. А Надя на пятнадцать минут превратится в робота, запрограммированного на доброжелательность и гостеприимность, – ловко нарежет вафельный тортик, поставит регги, зажжет ароматическую свечу и даже расскажет анекдот. Потом именно анекдот этот будет вспоминаться с гордостью. Это как играть на скрипке для пассажиров «Титаника» – сентиментальный такой штришок. Маленький человек с капитанской силой духа.

А потом они заберут книги – пару десятков томов тяжеловесной прозы, которая всегда была ей не по зубам, и Надя снова останется одна. И первым ее импульсом будет допить чай Егора из его чашки. Унизительно, но все равно волнующе – прикоснуться губами к тому месту, до которого еще пару минут назад дотрагивались его губы. Все равно что поцелуй – но только опосредованный, через чашку. Надя задумчиво допьет чай, а потом бросит чашку в стену, и та разлетится на десятки кусочков. На стене грифелем нарисован портрет группы

«Биттлз» – Егор нарисовал. Темная чайная жижа будет стекать по лицу молодого Леннона. Надя возьмет губку и чистящий порошок и сотрет потрет со стены – яростно, быстро, в режиме истерики.

А потом посмотрит на себя в зеркало – нарядная туника, яркий макияж, и поймет, что она – клоун, бездарный, усталый, несмешной. Умоется едким мылом, потушит ароматическую свечу и всю ночь, сидя на полу, проплачет.

А утром к ней приедет Марианна с sos-корзинкой – пирожные из французской кондитерской, свежий цитрусовый сок, витамины, крем для лица. Она заставит Надю выпить кофе, а потом поведет ее в парк. Они будут сидеть на скамейке, кормить голубей и пить чай с корицей из термоса. Марианна расскажет ей последние новости, и ее щебетание будет умиротворяющим, как бабушкина сказка на ночь (имеется в виду не Надина бабушка – та сроду не рассказывала ей сказок, а обычная, среднестатистическая, мягкая, седая, румяная, пахнущая тестом и розами, уютная бабуля). Марианна отведет ее домой, Надя заберется под одеяло, проспит двадцать два часа подряд и проснется с твердым намерением начать новую жизнь.

Данила был... светлым и ускользящим, как солнечный луч для игривого котенка. Он был противоположностью Егора, и это умиротворяло – казалось, высшие силы, сжалившись, позволили Наде играть другой мастью. Встретить мужчину, с которым она сможет быть счастливой. Данила был мягким, принимал ее такой, какой она была, умел шутить так, что она захлебывалась от смеха, тоже не понимал тяжеловесную прозу, а ее заботу принимал не как должное, а с удивленной благодарностью. Он был как лучшая подружка – только при том она его еще и хотела, до дрожи в коленках. Он читал ей вслух журналы, варил для нее какао, а однажды – Надя не знала, было ли это проявлением высшей близости или безумия – сделал ей эпиляцию шоколадными восковыми полосками. Полоски лежали на видном месте в ванной, он прочел инструкцию, и ему захотелось попробовать. После долгих уговоров она разрешила, и закончилось все сексом на стиральной машинке. В итоге одна из полосок прилипла к его ягодице, а когда Надя оторвала, он закричал так, что соседка сверху несколько раз ударила половником по батарее. С ним было весело. Он был как ребенок – в самом лучшем смысле слова. Или как буддийский монах – умел принимать жизнь свежей. Смотреть на мир широко открытыми

глазами, каждое отведенное мгновение проживать с наслаждением гурмана. «Пойдем делать глупости», – бывало, говорил он. И они шли валяться в сугробе, поедать эскимо на скорость, пешком бродить по Бульварному кольцу, фотографировать туфли встречных женщин, рисовать облака, покупать средневековую музыку, петь мантры в эзотерическом клубе, пить пиво с байкерами, покупать воздушные шарики, вдыхать газ, которым они наполнены, и звонить друзьям смешными тонкими голосами. Роман с Данилой был подобен обратному току времени. Надя будто бы возвратилась в детство – только не в настоящее, а в альтернативное, то, которого у нее самой никогда толком и не было, но она с легкой завистью наблюдала за ним у подруг, в книгах, в киножурнале «Ералаш». Первые две недели этого романа были подобны адреналиновой прививке. Словно сильные золотые крылья выросли у нее за спиной – Надя, подтянувшаяся, румяная, в бейсболке с надписью «Live fast, die young», летала над пыльным московским асфальтом, а все остальные люди лишь изумленно оборачивались ей вслед.

И мама говорила: «У тебя глаза горят... Значит, это настоящее. Я так за тебя счастлива... Кстати, я тут познакомилась с одним дайвером, и он приглашает меня в спортивный лагерь на Красное море. Только он думает, что мне сорок, и я боюсь показывать ему загранпаспорт!»

И бабушка говорила: «Ничем хорошим это не закончится. Нашла себе нахлебника. Такие только прикидываются легкими, а ранят больше всех».

И Марианна говорила: «Конечно, было бы лучше, если бы он водил не мотоцикл, а „бентли“, но в целом – одобряю».

Однажды Надя участвовала в интернет-дискуссии о сути брака, идиотской и довольно поверхностной. Иногда за завтраком она просматривала один из расплодившихся в нулевые женских форумов, которые становятся спасательными шлюпками в сером море скуки для домохозяек с гуманитарными наклонностями. Тема была обозначена как «Идеальная семья» – казалось бы, безобидная тема, но, как это часто бывает в Сети, уже на второй странице обсуждение привели к знаменателю некрасивой кошачьей свары. С рвением закаленных в дворовых боях полканов каждый защищал свой огород.

Некто под ником `sexu-koshechka88`, доказывал, что идеальный брак – это когда ты получаешь шубу на день святого Валентина и

внедорожник к Рождеству. «Мужчина ценит только то, во что вкладывает, – доказывала sexu-koshechka88. – Все остальное для него – запасной аэродром, даже если есть штамп в паспорте». На sexu-koshechka88 предсказуемо накинудись толпы баб. Отбивалась она хладнокровно, правда, в конце концов все же выяснилось, что koshechka вообще не замужем, просто встречается с женатиком.

Некто gadkaуа-pregadkaуа рисовала пастельную пастораль: «Идеальная семья – это когда вы все-все делаете вместе. Вместе просыпаетесь, с улыбкой смотрите друг другу в глаза, пьете кофе в постели, потом едете в офис. Разумеется, у вас общий бизнес, ведь вы – одно целое. За совместным обедом вы обсуждаете деловые планы, за романтическим ужином говорите только о любви. После ночи страстного секса засыпаете счастливыми, прижавшись друг к другу». Надя с усмешкой представила себе пересахаренную жизнь двух ликующих дебилоидов, из речи которых давно исчезло местоимение «я». На десятой странице выяснилось, что юзеру gadkaуа-pregadkaуа всего тринадцать лет, к тому же это мальчик.

Высказалась и Надя. В то утро ее настроение было замечательным. Она встала раньше мужа на полчаса и приготовила ароматный омлет с травами. Они вместе завтракали и полусхутя выбирали имя для не родившегося еще малыша. А потом Данила умчался на своем байке одному богу известно куда, а она осталась дома – у нее выходной, йога для беременных, ланч с Марианной, тяжелое дежурство у бабушкиной постели.

Об этом она и написала. Идеальный брак – это когда два человека просто хотят быть рядом, но при том у каждого существует своя, отдельная жизнь. Личная свобода никак не ограничивается, и может быть, поэтому ее не так уж сладко нарушать. Свобода – она как конфета в серванте. Малыш смотрит на яркую обертку через стекло и вожделеет шоколад. Если бы конфета лежала в вазе на столе, он, возможно, просто прошел бы мимо. Но она заперта и оттого желанна. Малыш, рискуя быть отлупленным, вскрывает сервант бабушкиной шпилькой, быстро сжирает шоколад, а фантик набивает ватой, чтобы никто не заметил преступления. Родители, конечно, заметят все равно. А ведь все могло бы быть по-другому, если понизить уровень досягаемости конфеты.

Примерно об этом она и написала на форуме – лаконично, в пятнадцати строках.

Конечно, ей ответили.

«А ты уверена, что твой муж не ест конфеты из вазочки, раз ты не запираешь их в сервант? – писала некто *ironichnaya_belka*. – Вдруг он у тебя просто сладкоежка?»

«Наверняка он рано или поздно найдет свою половинку. А ты слишком холодна для него», – беспричинно злилась *klubnika*.

Надя пила теплое молоко и смотрела на снег за окном. Снежинки казались нервными перепуганными мотыльками, пляшущими в оранжевом свете уличного фонаря. Хотелось плакать, снова быть худой и свободной, заказать жирную пиццу, всю ночь танцевать сальсу в приморском баре, выброситься из окна, научиться вышивать, завернуться в плед и ничего не делать, спать с полужнакомыми мужчинами и вести им учет в тайном дневнике. И все это в любой последовательности. Это пройдет. Такое бывает. С беременными – чаще, чем с остальными.

Живешь и знаешь – скоро домельтешишь
До утра, которым буднично подойдешь
К окну, и взглянешь – если бы на Париж —
На пирамиды серых московских крыш,
На караваны серых московских рож.
И будет на платье брошь, а на сердце – брешь,
Такая брешь, что лучше ее не трожь.
Сорвешься буднично – если бы в Марракеш,
На полустанок ветхий – пшеница, рожь,
И сизоносый дремлет алкаш промеж.
Возможно, просто приснилась под утро чушь,
Возможно, скуки байроновский барыш.
Уносят мысли – если бы в Мулен-Руж,
На Юкатан, где лето, глазурь, гашиш,
Где, покурив, стоишь и молчишь, молчишь...
А дальше будет – видимо, чушь и ложь,
А дальше будет – вряд ли крутой вираж,
На сердце – брешь, а на платье – все та же брошь,
Как в Голливуд торжественен путь в тираж.

Сначала, Боже, будто навечно дашь,
Потом, без зла и пафоса, отберешь.

В сущности, Надя всегда мечтала о малом. Другие о таком и не задумывались, считая это не заслуживающими концентрации буднями.

Она мечтала, чтобы мама была рядом, а бабушка была мягче и не претендовала бы на роль генералиссимуса Надиной жизни.

Но мама всегда ускользала, а бабушка затягивала узлы. Мама была как солнечный зайчик – веселая, но неуловимая. За ней хотелось бегать, подпрыгивая. А потом сжать, теплого, трепещущего, в ладони. Бабушка была как шаровая молния – могучая, непредсказуемая и равнодушная. От нее хотелось спрятаться под кроватью.

Снег за окном был густым. Хлопья воздушного риса.

Все, в сущности, получилось, как Надя и мечтала, только реальность добавила в придуманную идиллию несколько фатальных огрубляющих мазков.

Мама рядом. У нее больше нет случайных любовников, ей почти пятьдесят. Она перестала интересоваться мужчинами резко, будто лампочку выключили.

Больше некому было ее украсть.

Мама была рядом – она каждый вечер звонила Наде, по средам и субботам они встречались за капучино. Она трогательно пыталась жить Надиной жизнью – расспрашивала, советовала, сочувствовала. В школе сочувствия она была бы двоечницей и второгодницей, потому что, формально сострадая, все время ухитрялась ляпнуть какую-нибудь бестактность. Зато она ждала Надиного малыша – с искренним инфантильным энтузиазмом. Покупала какие-то распашонки, зарегистрировалась на интернет-форуме молодых мам, кто-то из новых сетевых подружек отдал ей коляску, кто-то – подогреватель для бутылочек. Малыш еще не родился, а мама уже умоляла оставлять его на каждые выходные. «Можно и на половину недели. Тебе не обязательно бросать работу, доченька. У тебя есть я. Вместе мы справимся!»

Мама была рядом.

Только вот она больше не была солнечным зайчиком.

Она тяжело переживала климакс. Гормоны бушевали внутри, как осеннее почерневшее море. Мама часто плакала – вдруг ни с того ни с

сего ее лицо сморщивалось, словно кто-то смял его в кулаке и отпустил. Она роняла голову на руки и плакала безутешно, как малыш, и беспричинно, как могло показаться со стороны. Но Надя смотрела на ее вздрагивающие кудряшки, пегие, жесткие, и все понимала. Мама по-прежнему спала в бигуди. Это было неудобно, она ворочалась и мучилась, и наверняка жалкие руины ее бывшего круга общения не заметили бы, если бы мама однажды появилась с прямыми, как солома, волосами. Но это была многолетняя привычка. Плюс дурацкое убеждение, что настоящая женщина должна быть наивной, смешливой и кудрявой.

Эти поседевшие кудри были не просто штрихом ее внешности, они были могилой всего того, что мама много лет считала смыслом жизни.

Она так и говорила, смеясь и прихлебывая дешевое шампанское: смысл жизни – получать удовольствие. А удовольствие – это свидания, непредсказуемость завтрашнего дня, тонкая талия и обнимающие ее шелка, мужчины, которые смотрят так, будто хотят сожрать.

Все вокруг говорят – в тридцать лет у женщины первый кризис, в сорок – второй. А она разве виновата, что ее миновало, не затронуло никак? И в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят она все так же смеялась, пила дешевое шампанское и весело потряхивала обесцвеченными кудряшками, а вокруг были мужчины, готовые выкрасть ее через форточку и увезти за горизонт.

Ее подруги скучнели, разводились и снова выходили замуж, но уже за кого-нибудь посерее, поплоче. Мужья их уходили к голодным и молодым. Подруги принимали антидепрессанты, воцерковлялись, страдали бессонницей и нервной булимией, делали подтяжку век, а одна по-слоновьи плавная художница по имени Вероника купила на ночь солиста эстрадного шоу-балета.

И в два часа ночи, пока он был в ванной, позвонила Надиной маме. Исповедовалась сдавленным шепотом: у него плечи пахнут ванилью и солью, а на животе у него родинка, похожая на муху, а когда он кончает, говорит «ахxxx», и это финальное «хxxx» сначала звучит как гром вдалеке, а потом как лениво утихающий ветер. Вероника говорила так вдохновенно, что на какое-то мгновение Надина мама задумалась: а может быть, и ей выписать на ночь Аполлона с родинкой-мухой?

Но наступило утро, балерун, сверившись с часами, начал одеваться, а уходя, намекнул на чаевые. Вероника проводила его, а потом залпом выпила полбутылки вишневого ликера, написала маркером на холодильнике: «Жизнь кончена» и повесилась на поясе от банного халата.

Хорошо, что люстра не выдержала ее килограммов. Испуганная Вероника доползла до телефона и сумела вызвать «скорую». Ее увезли – хрипящую, плачущую, жалкую. Пришлось дать взятку врачам, чтобы не ставили на учет в психиатрию. Она вернулась домой через три дня – с синяком на шее. Неубранная кровать пахла высокоградусным потом молодого греческого бога, а на холодильнике темнел лозунг «Жизнь кончена!». Вероника купила тур в Абу-Даби, вызвала домработницу и улетела зализывать раны.

Надиной маме не были знакомы такие трагедии. И в сорок пять вокруг нее увивались мужчины – причем не уцененные модели позапрошлого сезона, а те, на которых на улице оборачивались. И пусть многие из них были женаты, и пусть ни один не выразил желания забрать ее навсегда, сделать частью своей жизни.

Разве это так важно, если живешь в сердце карнавала?

«Мой удел – серийная моногамия», – любила говорить она.

Подруги завидовали ее легкости, стрекозиной ее натуре. И зависть эта тоже была своеобразной гарантией, что все она делает правильно.

Жила как цыганка, словно боялась корнями врасти в кого-нибудь. Выкорчевывала из своей жизни людей, как созревшую картошку. И казалось, что так будет всегда.

Но однажды – ей было уже сорок девять – она отдыхала в октябрьской остывающей Ялте, наслаждаясь спокойным морем, желтеющими горами и свежим гранатовым соком. И вдруг ее пронзила страшная мысль: золотая осень потому так и притягательна, что длится всего несколько мгновений. Самое хрупкое время года. За романтическим остыванием последуют гниение и слякоть. Шуршащее золото под ногами станет склизким и бурым, а потом и вовсе наступит вечная мерзлота.

В тот вечер она не пошла, по обыкновению, на набережную. Сидела на балконе своего номера, кутаясь в овечий плед, смотрела на море и плакала.

А еще в ту осень она купила последнюю в своей жизни упаковку тампонов.

Впору было писать на холодильнике: «Жизнь кончена!», потому что впереди была вечная мерзлота.

Однажды Надя вытащила маму на субботнюю прогулку. Погода была идеальной для того, чтобы идти рядом, прихлебывая кофе из бумажных стаканчиков, болтать и лениво отмечать взглядом пуговицы на лоскутном платье города. Вот девушка в черном вдовьем платье и шляпке с вуалью медленно идет по бульвару, наслаждается вниманием прохожих и старается играть чуть ли не мадам Бовари, для которой у нее слишком мало опыта и слишком много румянца на юных щечках. Смешная, смешная, милая. Надя с юности испытывала нежность к неформалам всех мастей – к тем, чей вызов миру был так инфантилен, театрален, безобиден и ярк. Вот пряничная пожилая пара – на старичке светлый сюртук, а старушка – в многослойных бусах из индийского аметиста. Он поддерживает ее за локоть, и с одинаковой вероятностью они могли прожить вместе жизнь или познакомиться позавчера в каком-нибудь клубе любителей Блока. Такое в Москве встречается. И вторая версия казалась Наде более романтичной, чем первая, потому что давала надежду, что старость, о которой она иногда с еле заметным волнением задумывалась, не так уж суха и неплодородна. Особенно если у тебя есть Интернет и такие вот бусы. А вот из темной арки потянуло чем-то пряным и сладким – кто-то спрятался в дворике, чтобы выкурить косячок, а дым вырвался на волю, рассказывая всему миру о происходящем.

Так они шли и шли, а потом немного замерзли, и Надя предложила погреться в какой-то галерее современного искусства. Они немного побродили по пустому залу, а потом мама наткнулась на репродукцию картины Климта «Три возраста женщины», и Надя даже не сразу поняла, что случилось, а мама уже сидела на скамеечке, закрыв руками лицо, и плечи ее дрожали. А вот музейная смотрительница была более проникательной; ей тоже было за пятьдесят, и она тоже носила кудряшки и воздушные шарфики. Она принесла Тамаре Ивановне воду и погладила ее по плечу.

– Мама, мама, да что с тобой происходит?

И тогда мама отняла от заплаканного лица ладони и, глядя в пустоту, ответила:

– У меня уже висят сиськи.

Надя поперхнулась от неожиданности.

– У тебя... что, прости?

– Сиськи, – угрюмо подтвердила Тамара Ивановна. – Сиськи у меня уже не те. Я посмотрела на картину и вдруг поняла. Я – это третий возраст женщины. С сутулой спиной, рыхлым животом и грустно наклоненной головой. И с сиськами, которые висят.

– Глупости. У тебя прямая спина.

– Это метафора, – печально улыбнулась мама. – Главное, я давно уже не плодородна. И пусть я пытаюсь выглядеть... фертильной, но это пустое. Потому что я возвращаюсь домой, смываю помаду и вижу желтые губы. Я смываю румяна и вижу сухие щеки. Я смываю тушь и вижу, что глаза не блестят. У меня осталась и жажда, и желание жить, а они не блестят больше, понимаешь? А потом я снимаю лифчик – ты же знаешь, я покупаю только дорогое белье, это разумное вложение, – и вот я снимаю лифчик и вижу их. А они скучные, дряблые и висят. Потому что я – старуха.

Надя заставила маму умыться и выпить шампанского и увела ее подальше от грустной картины. Прошло полчаса, и Тамара Ивановна со свойственным ей легкомыслием забыла о том, что жизнь кончена; весело наелась эклеров в кофейне, купила в подземном переходе серебряное кольцо-розу, вернулась в свойственный ей режим порхающей болтовни.

Но подобные всполохи случались с ней все чаще и чаще. Надю это тревожило. Она даже подумала: а может, переехать на время к маме, ну что она там, в бывшей коммуналке, одна. Но Тамара Ивановна так рьяно отвергла идею, что Наде даже стало немного обидно.

«У меня никогда не получалось ни с кем сосуществовать. Я сею хаос, и в этом хаосе мне хорошо и уютно. Если кто-то начнет перекладывать мои духи и стряхивать крошки с моего стола, я сойду с ума».

Но вместе с тем малыша она ждала – с надеждой, волнением. И Надя не то чтобы рассчитывала на заметную мамину помощь, но все равно ей было приятно. Наконец случилось то, о чем она мечтала столько лет, – мама втянула в круг своих интересов и ее, Надю, и в

радужных маминых мечтах о будущем все чаще всплывало имя дочери.

Это было так необычно и умиротворяющее, что, даже допуская возможность воздушного замка, Надя в такие минуты все равно чувствовала себя почти счастливой.

В делах любовных Марианна была не стратегом, а пехотинцем с бурлящей адреналином кровью. Она храбро шла напролом, ее интересовало только то, что находилось в непосредственном поле зрения. Она была магистром кровавых атак, ее совсем не занимал тыл противника.

Между тем в тылу у противника была жена Светлана. Морской биолог, находящийся в нежном возрасте двадцати шести лет. Загорелая блондинка с мускулистыми, как у породистой лошади, ногами. Они познакомились в Австралии, где он отдыхал с предыдущей женой, а Светлана, в те годы еще студентка, работала по гранту. Она была Афродитой и Артемидой одновременно. Прекрасная бесстрашная охотница, вышедшая из пены морской. На диком пляже стоял знак – надпись «shark zone» и рисованный профиль акулы с зубастой пастью. Борис и его жена вышли из автобуса сфотографироваться. А потом показывать московским друзьям – смерть плавала в пятидесяти метрах от нас, а ее присутствие отметили всего лишь будничным дорожным знаком. Если бы жена знала, что в пятидесяти метрах плавала не только смерть, но и прекрасная блондинка, которая – не пройдет и двух месяцев – разрушит ее семью, она бы скомандовала водителю сильнее давить на газ. Но она ничего такого знать не могла, поэтому в шутку предложила:

– Окунемся?

Он обернулся к морю, надеясь увидеть плавник, как в фильме «Челюсти». И вдруг – девушка. Как привидение, невозмутимое в своей печальной строгости. Разве что для привидения она была слишком *живой* – румянец как у матрешки, сбитые коленки, выгоревшие брови. Через голову стянула старенькую неопределенную футболку, осталась в издавшем виды купальнике. Ее молодость не нуждалась в огранке, она была хороша и так, сама по себе. Тело словно морем обточенное. Борис засмотрелся. Жена заметила, нахмурилась.

– Она русская, – сказала насмешливо.

– Это еще почему?

– Только русские так смотрят на мужиков. Вызывающе.

– А она что, на меня смотрела? – во второй раз удивился он.

Девушка тем временем с улыбкой помахала им рукой. И, подхватив ласты, пошла в их направлении. Жена посмотрела на часы:

– Нам пора. Пошли в автобус.

– Ну что ты, в самом деле. А вдруг человеку помощь нужна.

Потом, прокручивая в памяти этот момент, Борису, кажется, удавалось вспомнить, что эта улыбчивая белобрысая незнакомка сразу произвела на него гипнотическое действие. Ее хотелось подпустить ближе, ее хотелось рассматривать. Ей не было нужды бояться акул, потому что она сама была как акула.

Она попросила подбросить ее к соседнему пляжу. Ее унесло течением, а там, на пляже, группа биологов, в том числе ее научный руководитель.

– А вам не страшно? – Борис смотрел на нее как замороженный. – Здесь же купаться запрещено.

– Это для туристов, – рассмеялась Светлана. – На самом деле акулы не так уж часто нападают. Чаще – на серферов, которых путают с морскими черепаками. Смотрят снизу – доска, руки, ноги. Похоже на черепаху. А я – не похожа. Во всяком случае, хочу в это верить.

– Вы похожи на русалку, – вырвалось у Бориса.

– А хотите завтра с нами на риф? – неожиданно предложила блондинка. – Вам понравится.

– Завтра мы не можем, – вмешалась жена. – У нас экскурсия.

Но было уже поздно. Светлые глаза блондинки смеялись ему в лицо. Борис никогда не считал себя бабником. Он был привлекательным мужчиной. К тому же психологом. Вокруг психологов всегда много женщин. Он считал, что любит жену. Они были вместе почти семь лет. У них была собака, дурной веселый эрдель. Жена Бориса считала, что общая собака – серьезнее, чем общий ребенок. Потому что дети, бывает, появляются случайно, а собаки – никогда. И вот все это – его уютная вселенная с привычными шутками, непременным еженедельным сексом, пахнущей яблочными пирогами и собачьей шерстью квартиркой в Бибирево – все это вдребезги разбилось о смеющийся взгляд девушки, которую он знал меньше пяти минут. Если бы такую историю рассказал кто-нибудь из его пациентов, Борис предложил бы ему психоанализ по системе

старого доброго Фрейда, а потом долго и тщательно ковырялся бы в его детстве, как в зажившей болячке.

– Мы сможем, – сказал Борис. – Экскурсия – это банально. Ее можно отменить.

И все. Этим «мы сможем» он поставил подпись на договоре с дьяволом. Жена, конечно, что-то заподозрила, но вряд ли могла и предположить, что все так серьезно. Вечером они поссорились. А потом жена плакала на балконе номера, сутулая, красноносая, а Борис чувствовал себя виноватым. На следующий день, на рифе, он словно помолодел на двадцать лет. Именно такой была разница в возрасте между ним и Светланой. Двадцать лет. Целая жизнь. Он сверкал глазами, смеялся, шутил, прыгал с борта лодки, поднимая брызги. Жена шепнула, что он ведет себя как мудака. А ему было хорошо – как никогда в жизни. Он видел мурену и морскую звезду. А Светлана продиктовала ему свой московский телефон – домашний.

– Я вернусь через два месяца, в марте, – прошептала она.

Борис не понимал, что она в нем нашла. С ним-то все понятно. А она? Вокруг столько молодых, мускулистых, загорелых. Ее научный руководитель – австралиец, похожий на Пирса Броснана в роли Бонда, – крутился вокруг нее, как двухметровый загорелый шмель. А ей понравился Борис, мальчик из хорошей семьи. Если в нем и была чертовщинка (а она была), то за один день разглядеть ее было невозможно. Потом Светлана призналась, что ее тоже словно ужалили. У нее был в Австралии главный любовник – море – и второстепенный – будущий хирург по имени Чарльз, брюнет с усиками, как у Джона Гальяно. Она не искала амурных приключений. Но встретила Бориса – и как будто магнитом к нему потянуло.

А потом был роман на расстоянии. Телефонные звонки и огромные счета. Бесконечные смс-сообщения. Одно нашла жена. Был такой скандал, что соседка с верхнего этажа явилась к ним в половину второго ночи, в застиранном халате и с компрессом на голове. Скандальная баба, директор овощной базы. Но, увидев выражение лица жены Бориса, орать перестала. Извинилась и ушла. Поняла все, наверное.

Жена собрала вещи и уехала к матери – она и не думала, что уезжает навсегда, это был предсказуемый акт дрессуры. Эрделя тоже забрала. Все подруги говорили, что она поступила правильно, что

теперь он на брюхе приползет. Конечно, приползет, куда он денется. За их спинами – семь лет, семь июней в Крыму, семь новогодних елок, семь противней с имбирными рождественскими печеньями. Жена всегда пекла печенье на Рождество – ортодоксальная американская традиция, которая превратилась в прогрессивную российскую. За их спинами – любовь, которая уютно спит в мягком коконе взаимной привычки. А с этой Светланой у него что? Слова в его стареньком аппарате «Нокиа». Голос, искаженный расстоянием и телефонными помехами. И одно единственное утро на солнечном рифе.

И вот вечерами жена пила сливовое вино и ждала, но он все не полз и не полз.

А у Бориса как будто бы с шеи сняли петлю. После возвращения из Австралии ему все было не в радость. Особенно секс. Женщинам проще, они могут притвориться, если что. А он... Говорил, что просто устал на работе, просто не выспался, просто кризис. А жена смотрела на него – томно, как рисованный верблюд, и ее лицо блестело от крема, и кружева на ее ночной сорочке воинственно топорщились. Раньше ему все это нравилось – и крем, и кружева. А теперь – раздражало только лишь потому, что это все были проявления не-Светланы.

Жена пила вино, Борис осваивался в холостяцкой жизни. По-новому постригся, перечитал всего Гришковца, купил зеленый замшевый пиджак и подал на развод, официально. Жена вернулась в их общую квартиру, а он снял студию на Остоженке. А потом вернулась Светлана, и началась новая жизнь. Борис прыгнул в эту жизнь словно с десятиметровой вышки в бассейн. Было и весело, и страшно, и здорово, и захватывало дух.

С тех пор прошло семь лет.

Те же роковые семь лет.

И вот теперь женой была уже Светлана, а отдушиной – Марианна. Хотя разве можно их сравнивать. Светлана до сих пор была для него и солнцем, и омутом, а Марианна – скорее прекрасным ядовитым растением, которое завораживало, которое хотелось изучать. *Dionaea muscipula*. Венерина мухоловка. У него и в мыслях не было уходить к мухоловке от солнца.

Какой вывод сделала бы из этой истории Надя?

Объект безнадежен. Чтобы состязаться с Афродитой-Артемидой, надо быть как минимум Геей, землей-матерью. Чтобы чужой смелости,

гибкости и красоте противопоставить молочную мягкость груди да тепло очага, возле которого тебя ждут, что бы ни случилось.

Какой вывод сделала Марианна-пехотинец?

Он запросто уйдет от жены. От первой же ушел. Значит, подобная схема отношений ему не чужда. Любой куртизанке известно, что увести мужчину из второй семьи гораздо проще, чем из первой.

Такая она была. Огонь. Цунами.

Однажды Марианна решила выучить китайский язык. Купила увесистый трехтомник и зачем-то кисточку для каллиграфии. Нашла англоговорящего китайца, который взялся обучать ее в скайпе за пять долларов в час. Правда, и у Марианны, и у китайца был такой уровень английского, что она смогла понять только: «Привет! Как дела?» И на этом уроки закончились.

Однажды Марианна решила выйти замуж за австралийца и зарегистрировалась на сайте знакомств «Одинокие сердца Сиднея». Почему именно Австралия, недоумевала Надя? Марианне же выбор казался естественным. Во-первых, она не видела кенгуру, но всегда об этом мечтала. У них сильные, как у скаковых коней, лапы и трогательные заячьи мордочки. Сочетание незащитности и силы – похоже на саму Марианну, не так ли? Во-вторых, она любит загорелых мужчин. В-третьих, коктейль «цивилизация + океан» – это то, что ей подходит на все сто. Ну и в-четвертых, в Австралии при разводе имущество не делится, а целиком достается жене. Так ей сказал адвокат.

Однажды Марианна решила послать все к черту, уволиться из магазина и стать дрессировщицей морских котиков.

Почему именно котики?

В минувшую субботу случайный любовник сводил ее в дельфинарий, и она была очарована. Дельфины были похожи на инопланетян. Горбили блестящие серые спины, фейерверками выпрыгивали из воды и так осмысленно смотрели, что Марианна понимала – они умнее ее. А с котиком выступала рослая блонда в алом гидрокостюме. По сравнению с блондинкой котик проигрывал. На него смотрели только дети, а взрослые – и мужчины, и женщины – на прекрасную дрессировщицу, которая, разумеется, все понимала, иначе с чего бы ей подражать Памеле Андерсон в роли спасательницы Малибу?

– Она была как будто бы продолжением этого котика, – вздох рассказывала Марианна. – Как кентавр. Только с морским котиком.

Надя попыталась представить себе это мифологическое существо – получалось что-то нелепое. У Данилы был альбом «Творчество душевнобольных», так вот там было много подобных иллюстраций. Отрывка воспаленного воображения.

– Они играли в «ладушки», пели. А потом блондинка прыгнула в воду, прямо на спину шестиметровой белухи. И каталась на ней, как на серфе. А потом в тройном сальто выпрыгнула обратно на бортик бассейна. Это было так эффектно.

– Но она, наверное, спортсменка. Марьяш, ты же и «рыбкой» с бортика прыгать не умеешь, какое тебе тройное сальто?

– Глупости, – сжала губы Марианна, – в дельфинарии даже тюлени делают сальто. Хочешь сказать, я более неповоротлива, чем тюлень?

Такой уж она была.

В конце апреля неожиданно грянуло лето – в бравурном темпе марша, с нарядными бабочками, пушистыми одуванчиками, пастельными рассветами. Вечера понедельника Борис проводил с Марианной – эта традиция когда-то умиляла, но спустя некоторое время начала восприниматься чуть ли не оскорбительно. Потому что все остальное свободное время он посвящал жене. Надя понимала, что никуда он от жены не денется, но Марианна мириться с этим не желала.

– У них дача в Загорянке. Я поеду туда и поговорю с ней.

– О чем?

– Ну как о чем, расскажу ей все. Она имеет право знать. Честность – это уважение.

– И как, ты думаешь, она отреагирует?

– Вообще об этом не думаю, – невозмутимо передернула плечами Марианна. – Возможно, побьет меня... Ну а что ты так на меня смотришь? Просто есть мужики, неспособные к самостоятельному принятию решения. Они ждут пинка под зад. Кто правильно пнет, тот и прав.

– Мне кажется, ты упрощаешь.

– Если бы. У меня – опыт.

«Ну да, опыт, – подумала Надя, но вслух ничего не сказала. – Двенадцать абортотв женатых любовников, купленное по совету какой-то сумасшедшей гадалки свадебное платье, которое ты сожгла, когда очередной „мужчина жизни“ решил все-таки остаться в привычных декорациях семьи».

– Он мне потом еще и благодарен будет. Вот увидишь. За то, что он только размышлял, а я – посмела.

– Боря не похож на человека, который не знает, чего хочет. Он даже тебя не обманывает. Он же не обещал ничего.

– Он обманывает жену. Кого обманывают, того меньше уважают.

– Или больше берегут.

– Так, я не поняла, ты на чьей стороне? – Подруга взъерошилась, как рассерженная сова.

– Я просто не хочу, чтобы тебе было больно, – покачала головой Надя. – Иногда мне кажется, ты смотришь на мир через какую-то пелену.

– Ну а что ты предлагаешь сделать? Предоставить ему все условия? И жена в уютном гнездышке, и страстная любовница в отеле в удобное для него время?!

– Предлагаю быть с ним честной, раз уж ты дошла до точки. Так и сказать ему – вот, пора выбирать.

Марианна, разумеется, все равно поступила по-своему.

Да и не была бы она собою, если бы отказалась от драматической инициативы в пользу мнения тихой Наденьки.

Она сделала профессиональный педикюр, выбрала самое вульгарное и самое золотое из всех своих вульгарных золотых платьев, заказала такси бизнес-класса и разъяренной королевой появилась на тихой подмосковной дачке любовника.

О том, что произошло там, она не рассказывала – ничего, кроме того, что жена Бориса отвратительна, встретила ее в старых шортах и с грязными ногтями («Удивительно, если бы и она слонялась по огороду в золоченой парче», – подумала Надя, но сочла молчание наиболее безопасной тактикой усмирения фурии). Одно она понимала четко – Марианне не удалось выдержать этот бой, выйти победительницей. В противном случае она примчалась бы в тот же день, с тортом и молотым кофе, она заняла бы собою все пространство Надиной кухни,

и кофе выкипал бы из медной турки и шипел на плите, а Марианна, не обращая на это внимания, вываливала все новые и новые подробности.

Позже Борис, конечно, все ей рассказал. История оказалась еще более тривиальной, чем виделось Наде.

Марианнины неприятности начались еще у порога, когда она вляпалась золотым каблуком в кучку навоза – Свете как раз привезли удобрения для огорода. Кое-как оттерев каблук ароматной салфеткой, злая Марианна без стука вошла в дом. Светлана видела ее из окна и почему-то сразу поняла, кто это. Ничего предпринять не успела, да и не чувствовала она от этой женщины опасности. Чувствовала неуверенность в себе, нервозность, волнение, робкую агрессию и страх.

Светлана лепила вареники. Пока Марианна шла по тропинке к дому, Света только и успела, что вытереть руки о старомодный ситцевый передник. Так они и встретились – две женщины одного мужчины. Марианна, с искусственным загаром и прилепленными ресницами, и Света, простая, с пластырем на коленке и кое-как подколотыми волосами. Всепожирающий дракон и гибкая кошка.

Кошка насмешливо предложила дракону чай, дракон, негодуяще раздувая ноздри, отказался. Дракон даже не присел: с порога вывалил на кошку душераздирающие (как казалось самому дракону) подробности. Не погнушался и запрещенными приемами: «а после секса мы подолгу разговариваем о французском кино, и от него пахнет имбирными пряниками», «он говорил, что рутина опустошает... рутина – это, видимо, ты», «он пригласил меня в Рио... сказал, что в Рио можно приехать только с такой женщиной, как я». Кошкино спокойствие воспринималось как оскорбление. У дракона опасно покраснело лицо, и кошка, перепугавшись, предложила капли от кровяного давления. Дракон не выдержал, схватил со стола первое попавшееся – перепачканную в муке скалку – и погнался за кошкой. Кошка была ловчее и без каблуков – в три прыжка скрылась в доме, заперев за собою дверь. Четверть часа дракон ходил вокруг дома, угрожающе потрясая скалкой, а потом кошка пригрозила милицией, и дракону пришлось вернуться в такси.

Возвращаясь обратно, дракон плакал от бессилия.

Хотелось сидеть дома и быть океаном – просторным, теплым и чувственным. Ласковым и плавным. Обнимающим. Кутаться в

махровый халат, пить теплое молоко, смотреть в окно, на еще заснеженный двор. Может быть, включить Тома Уэйтса или Лу Рида, или кого-нибудь еще, у кого голос как объятия опытного любовника. Есть кремовые пирожные, и чтобы взбитые сливки таяли на языке, как выброшенные прибоем медузы на горячем песке.

– Одевайся, – сказал Данила. – Мы идем в клуб.

– В какой еще клуб? Я не хочу. Давай посмотрим что-нибудь. «Настройщика». «Лабиринт Фавна».

Но Данила уже перебирал шелка Надиных балахонов – ему всегда нравилось самому выбирать для жены одежду, одевать ее, как послушную куклу. В последнее время Наде казалось, что он немного стесняется ее беременности, пытается скрыть от окружающих ее выпирающий живот. Это было немного обидно, но она старалась не заикливаться на плохом.

Он выбрал белое шелковое платье с драпировкой и вязаной брошью-розой.

– То, что надо. Ты будешь как невинная принцесса в готическом замке.

– А ты уверен, что мой живот сочетается с понятием «невинность»? – усмехнулась Надя. – Данил, а может быть, ты сам сходишь, без меня?

На лице мужа появилось выражение детской обиды, которое давалось ему так хорошо, что Надя давно подозревала его в искусственности. Густые брови медленно ползут вверх и скрываются под растрепанной челкой, и даже глаза как будто бы меняют цвет – становятся как тоскливое в своей серости Северное море. В которое никто никогда не плюхнется с разбегу, в цветастом выгоревшем купальнике, с оранжевым надувным матрасом под мышкой.

– Ну ты же сама жаловалась, что мы никуда не ходим вместе.

– Но я имела в виду... Кино. Или кафе. Как раньше – съесть одно фондю на двоих, а потом ты курил бы кальян, и еще можно было бы взять с собою проспекты с колясками и наметить варианты...

Данила поскуучнел, как нерадивый студент, которому предлагают написать курсовую про категорический императив, в то время как ему хочется слушать регги и целоваться на ночном бульваре.

– Ладно, ладно, – вздохнула Надя. – Я иду с тобой... А там не будет слишком шумно? Я в последнее время нервничаю, когда шум.

– Да что ты, – просветлел лицом муж.

А потом порывисто подошел к ней, поднял на руки и попытался закружить по комнате, как в легкомысленном французском кино. Но он никогда не был спортивным, а беременная Надя весила за семьдесят килограмм, поэтому ему пришлось аккуратно поставить ее обратно на пол.

– Это будет самая тихая байкерская вечеринка на свете! Я тебе обещаю! К тому же мы быстро уйдем. Поздороваемся со всеми, а потом тихо слиняем. И пойдем в какой-нибудь кабак, где фондю и что ты там еще хотела.

– Договорились, – улыбнулась она. – Тогда я быстро в душ.

Металлические отзвуки бас-гитар были слышны еще на подступах к окраинному клубу, где проходила вечеринка. Этот отвратительный Надиному слуху звук не мог перекрыть даже гомон собирающейся толпы. Люди тянулись к клубу живыми ручьями, как муравьи. И что это были за люди. Массовка для фильма в жанре хоррор – у кого лицо раскрашено под Мерилина Мэнсона, у кого – жуткие белые глаза (специальные линзы, но даже если знаешь об этом, все равно становится немного не по себе), у кого – кружевные трусы с сетчатыми чулками вместо платья.

– Дань... Что-то мне это не нравится. – Она остановилась. – Ты говорил, что это тихая вечеринка.

Он даже не взглянул на нее. Крепко взял за локоть и продолжал тянуть, словно чувствовал неслышимый ей зов крови. Его глаза блестели, а лоб некрасиво вспотел.

– Это и есть тихая. Ты просто громких не видела. На «громких» – ад... Да мы ненадолго, Надюша, я же обещал...

Девушка, проверяющая билеты, была похожа на Эльвиру, повелительницу тьмы. Всклокоченные черные волосы с пробивающимися седыми прядями, латексное мини-платье, ботфорты, неровно обведенный красным карандашом рот – будто крови напилась и забыла умыться. Она искоса и с кривоватой ухмылкой взглянула на Надино белое платье.

В небольшом подвальном зале было столько народу, что московский метрополитен в час пик в сравнении показался бы пустыней. Данила увидел каких-то знакомых, бросил ей: «Я сейчас», и растворился в толпе. Надя стояла в углу, прикрывая живот руками, и

старалась дышать по системе тайского целителя Мантэка Чиа. Сосредоточенность на собственном дыхании помогала ей не думать о том, что происходит вокруг.

А вокруг – пили пиво, водку и текилу, целовались, подпевали патлатому солисту металлической группы, сам же солист прыгал по сцене и визжал так, словно у него в заднице был догорающий факел. Какая-то лысая девушка с грустными глазами вынула из кармана опасную бритву и с ничего не выражающим лицом провела лезвием по своей белой руке. Потом тупо посмотрела на проступившую алую жидкость и медленно слизнула ее кончиком языка. Надю затошнило.

Она решила пробиться к барной стойке, и, как ни странно, ей это удалось – народ удивленно расступался перед Надей, белым шелковым пятном в латексной толпе.

Попросила сок – мутноглазый бармен с колечком в брови, колечком в носу и бусиной в языке не с первого раза смог выговорить, что сока нет, из безалкогольных напитков имеются только «Тархун», но, когда Надя согласно кивнула, все равно принес ей водку. В тот момент, когда она готова была заплакать от бессилия, рядом появился Данила, словно из-под земли вырос. Он был уже нетрезв, его лицо покраснелось, как в сауне, а на локте его висела рыжая особь с мелкими крысиными зубами и косым взглядом.

– Надюша! – Он заключил ее в пахнущие терпким свежим потом пьяноватые объятия, такие крепкие, что ей пришлось выставить ладони вперед.

– Я хочу уйти. – У нее дрожала нижняя губа.

Она знала, как Данила не любит проявления слабости. Чужие слезы его смущали, обезоруживали, ранили, он терялся, выходил из себя, кричал, и это было страшно. Однажды, еще в самом начале знакомства, расслабленный сангрией и августовским солнцем Данила рассказал ей, что мать, с которой он не общался больше десяти лет, была хронической плаксой. «Она садилась на табурет, закрывала лицо ладонями, начинала раскачиваться и подвывать. А я был маленький, мне было жутко. Казалось, что я виноват. Я был готов сделать все, что угодно, лишь бы она не плакала. А она это быстро просекла и пользовалась. Сука».

Поэтому Надя старалась говорить спокойно.

– Даня, пойдём? Мы здесь уже сорок минут. Мне не очень хорошо, громко слишком, душно.

Рыжая особь, так и не отцепившаяся от Данилиного рукава, мелко захихикала. Она была похожа на гнома из сказки.

– Душно, громко, – скрипучим голосом повторила она. – Данечка, кто эта барышня?

– Конечно, пойдём, – бодро откликнулся муж. – Вот сейчас дождемся, когда выберут королеву вечера, и сразу же домой.

– Какую еще королеву? Я на воздух хочу.

И в этот момент кто-то ухватил Надю за рукав – сильные руки тянули ее вверх. «Я не хочу, не хочу, не хочу!» – повторяла она беспомощно и монотонно, как сломанная кукла. Ее никто не слушал. Ей смеялись в лицо. Было душно, пахло теплым деревом и пролитым пивом, смеющиеся лица были потными и красными. Почти атеистке Наде вдруг показалось, что она очутилась в центре дьявольского хоровода.

Антураж располагал к нездоровым фантазиям: почти все посетители клуба были в чем-то черном, кожаном, шнурованном, у многих девушек был готический макияж – выбеленные, как у древних гейш, лица, кроваво-красные или глянцево-черные губы. На мужчине, который крепко держал ее за локоть, был собачий ошейник с шипами. У рыжеволосой девушки, которая громче всех кричала: «На стол ее! Ставьте ее на стол!» – были желтые глаза с вертикальными кошачьими зрачками. Надя в обморок бы упала от животного ужаса, если бы не знала о существовании контактных линз, которые дают такой эффект. Ну а самым ужасным было то, что и Данила участвовал в сатанинском плясе, он тоже смеялся вместе со всеми и не замечал, что ей неуютно и страшно, и тянул к ней липкие руки, и вопил:

– Лезь на стол! Давай! Будешь королевой вечера!

Наконец Надя расслабилась. Перестала сопротивляться, как бабочка, смирившаяся с паутиной. Ее поставили на барную стойку. Розоватый свет прожектора, направленного в лицо, заставил прикрыть глаза ладонью. Вторую ладонь Надя держала на животе.

Люди кричали: «Танцуй! Танцуй!» – откуда-то из-под ног. Кружилась голова.

Она несколько раз крутанулась на каблуке, а потом ноги подкосились и, если бы не подхвативший ее незнакомый бородач,

грохнулась бы на пол. От бородача густо пахло сметаной, он улыбался и ухитрился ущипнуть ее грудь. Грубо оттолкнув его руки, Надя протиснулась к туалету. Данила ее так и не окликнул.

Склонившись над раковиной, умыла лицо желтоватой ледяной водой. Какая-то совсем молоденькая девушка с мутновато-карими, как нефiltroванное пиво, глазами обратилась к ней сочувственно:

– Тоже колбасит, да? Мой парень вчера принес какие-то таблетки, до сих пор отойти не могу. Не ем уже два дня. Да что там еда, я и не сплю. И зубы не чищу. Вот.

– Ты бы не пила всякую дрянь, – поддержала разговор Надя. – Опасно.

– Вот и я о том, – вздохнула пигалица. – У меня лучшая подружка в Новый год откинулась. Уж как мы веселились. Переезжали с одной вечеринки на другую. И вот едем в такси, утро уже, я ей что-то говорю, а она молчит. Оборачиваюсь, а она мертвая сидит. Я после этого две недели не пила. Переживала очень.

Надя несколько раз глубоко вдохнула. Зеркало отражало женщину, постаревшую, немного расплывшуюся и усталую. Может быть, просто свет такой. Но видеть это невыносимо – хочется отвернуться от чужого желтого лица. Хочется пить молоко, а потом плакать под одеялом, а потом посмотреть три фильма с Вивьен Ли подряд и еще один с Марлен Дитрих. Каждой порой впитывать чужую красоту и чужой глянец.

Надя достала из сумки мобильный.

Ответили ей не сразу.

– Ты мне нужен. Сейчас. Можешь за мной приехать?

У Бориса было идеальное чувство декорации. Он всегда приводил ее в те места, атмосфера которых именно в данную конкретную минуту могла показаться Наде созидательной. Иногда они встречались в шумных кофейнях самообслуживания – занимали столик в центре зала, ловили обрывки чужих бесед, сливающиеся в дыхание города, и чувствовали себя обитателями сердца диковинного, сложнейшего механизма. Иногда он выбирал тихие пустынные кафе на набережной, где Надя ела бэзе и что-то тихо рассказывала.

В то утро он привел Надю в респектабельный ресторан из свежееоткрывшихся, где все было пусть дорого, зато пусто, вкусно и просто. Они были единственными посетителями в зале, оформленном под старинный корабль. Борис отобрал у нее меню и сам сделал заказ: картошка с лисичками, стейк в грибном соусе и штрудель в ванильном соусе.

– Тебе сейчас нужна еда-колыбель, – улыбнулся он, – чтобы тебя как бы убаюкали изнутри.

– Не знаю... Такой осадок остался. Он ведь даже не заметил, что я ушла. У меня же включен телефон, мог бы позвонить. Я не понимаю, как можно так себя вести.

– А может, это репетиция? – нахмурился Борис.

– В смысле? – Надя застыла с вилкой, на которую был наколот грибочек.

– Да он у тебя как дитя. Никогда бы не решился на серьезный поступок без репетиции. Побоялся бы.

– А под серьезным поступком ты подразумеваешь...

– Ну да. А может, и так: он все для себя уже решил, но ему было бы проще, чтобы действовала ты. Тогда с него вроде бы и взятки гладки. С натяжкой, конечно, но такие типы любят мыслить схемами.

– Не говори так. – Ее затошнило, несвоевременный ужин вдруг показался лишним, хотя еще минуту назад она поглощала его с удовольствием дикаря. – Не может быть такого...

– Не может быть – это значит, что тебе страшно думать о такой возможности?

– Да не то чтобы, просто... Все же было так осознанно, правильно, так логично... И до последнего времени он вел себя идеально. Конечно, у него не получалось быть тем, на кого он претендовал. Глупая история с работой, и вообще... Но я всегда считала, что искреннее желание – это половина дела.

– Не совсем так. Желание вне чувства ответственности не значит ничего. Причем такие люди, как Данила твой, никогда и не врут. Не то чтобы они не искренние. Просто они принимают за истину только свое желание, и все. Никакой другой базы нет. Я так чувствую, значит, так правильно.

– Разве не все люди примерно так поступают?

– Беда в том, что чувства иногда деформируются. И тогда на помощь приходит... Например, опыт, ну или там какая-то база моральных принципов. Взрослость. А если всего этого нет... Сегодня я хочу так, завтра – иначе, и я имею право разрушить сегодня во имя завтра, потому что все ведь искренне, от души. – Заметив, как изменилось ее лицо, Борис поспешил добавить: – Надюша, но я же не говорю, что так оно и есть. Я просто допустил возможность. Ты уж прости, но это так логично... Не оставило бы вопросов.

– Если все так, то мне впору утопиться, – мрачно усмехнулась Надя. – Живу я в его квартире, своей у меня нет. Работу придется бросить. Денег на няню нет. Данила официально не работает, поэтому на алименты рассчитывать не приходится.

– Надя, ты неподражаема, – рассмеялся Борис. – Давай по этому поводу съедим еще по штруделю.

– Ты сейчас о чем?

– Да просто ты ни слова не сказала о том, что, если, мол, любимый уйдет, я повешусь и прочее бла-бла-бла. Тебя заботит квартира, алименты, быт. Звучит так, как будто тебе вообще все равно, даже если у тебя было бы жилье и так далее.

– В моем положении трудно быть возвышенной, уж прости, – разозлилась она. – Я уже даже в вещи для беременных влезаю с трудом. Иногда мне кажется, что внутри меня не одна девочка, а тридцать три богатыря. А ты требуешь роковых страстей.

– Да ничего я не требую, глупая. – Протянув ладонь через стол, он погладил Надю по руке. – Это же хорошо, что все так... Вот если бы ты заговорила о «повешусь и бла-бла-бла» – вот это было бы беспросветно и очень грустно. А так... все бытовые проблемы решаемы.

– Это как же интересно? – прищурилась она. – Хорошо, когда проблемы не твои, да? Чужой голод не так уж ощутим.

– Ну ты же можешь, например, переехать к маме. Или к бабушке.

– Ага. Только вот одна ясно дала понять, что не потерпит вторжения в ее личное пространство, которое называет божественным хаосом. А вторая... Да ты и сам уже знаешь. Даже несмотря на то, в каком она сейчас состоянии. Мне же проще сдохнуть, чем жить там. Честное слово, проще сдохнуть.

Большую часть сознательной жизни Надя мечтала, чтобы бабушка умерла. В этом не было ни капли мстительности, один лишь практический смысл. Правильнее даже было бы сказать: она мечтала, чтобы бабушки не было, вот и все. Не было бы в любой из возможных форм. Иногда она придумывала что-либо более рафинированное, чем смерть: эмиграция в Австралию, например. Но, по сути, это было тошнотворным малодушием, потому что, во-первых, у бабушки не было знакомых ни в Австралии, ни на других континентах, во-вторых, она панически боялась летать, а в-третьих... Можно было придумать миллион разнообразных «в-третьих», но был ли в этом смысл?

Надя мечтала, чтобы бабушка умерла. Точка.

Она никогда не представляла себе сам момент этой смерти. Хотя если бы кто-нибудь предложил выбрать из меню, она остановилась бы на спокойной и мирной, на рассвете, когда ты вроде продолжаешь видеть сон, а на самом деле тебя уже нет. Самое тоскливое пережито (правильнее было бы сказать – «переумерто», жаль, такого слова не существует) безболезненно и безмятежно. Это словно проспять длинный перелет Москва – Бангкок. Уснуть в Шереметьево, а проснуться в благоухающем орхидеями и жареными креветками чужом городе. Это у других было путешествие, они волновались во время турбулентности, требовали у стюардесс дополнительную порцию виски, пережевывали безвкусный паек, расправляли затекшие плечи и задумчиво тарацились на облака. А у тебя – настоящее волшебство.

Такой смерти она желала бы и самой себе.

Она никогда не представляла похорон, которые наверняка были бы скромными. И возвращения в квартиру, в которой бабушкин запах и бабушкины вещи и, видимо, надо как-то интеллигентно от этого всего избавиться. Но посмотришь на знакомые стоптанные тапочки, и опускаются руки.

Нет.

Надя просто мечтала о мире без бабушки, который в иные дни представлялся ей лучшим из миров. Беззаботным солнечным миром, в котором можно, проснувшись, хоть целый час проваляться с ноутбуком в постели, а не маршировать в ванную, где тебя ждет полезный для здоровья контрастный душ. Бабушка свято верила, что контрастный душ – профилактика любого заболевания, и с первого же дня, когда

Надя к ней переехала, объявила: контрастный душ – это правило, его принимают каждый день, строго по десять минут.

Однажды Надя попробовала взбунтоваться. Ей было шестнадцать, и она считала себя имеющей полное право на приватность утренних гигиенических процедур. Бабушка же любила усесться на крышку унитаза и проконтролировать, чтобы все было «правильно» – зубы чистились не менее пяти минут, переключатель холодной воды врубался не менее двадцати пяти раз, и чтобы ресницы – белесые ресницы, которые Надя привычно, без ярости, ненавидела – тайком не были подкрашены тушью.

Надя собиралась с духом неделю и вот однажды утром решила. Отрезала: «Отныне мой душ будет только теплым, особенно зимой! И мне некомфортно, когда за мною наблюдают посторонние!»

Хлипкая дверь захлопнулась перед носом изумленной бабушки. Надя посмотрела в зеркало и расхохоталась, как пьяная русалка. Это был триумф, и он длился минуты полторы.

Потом бабушка взломала дверь десертным ножиком и вlepила Наде такую сочную оплеуху, что та отлетела к стене, больно ударившись бедром об угол стиральной машины.

– Некомфортно, когда наблюдают посторонние, говоришь? – Ноздри бабушки воинственно раздувались, неряшливо выкрашенные коктейлем басмы и хны волосы торчали во все стороны.

Надя изо всех сил крепилась, чтобы не заплакать, но Внутренний Плакса, как всегда, победил с разгромным счетом. Чувством такта бабушка не отличалась никогда, но ударила впервые. И это было ужасно.

Однако в следующую секунду случилось нечто еще более ужасное.

Бабушка отвернулась, но не ушла, а, наклонившись, рывком спустила рейтузы и старомодные панталоны. И Надя увидела белый, рыхлый, в каких-то странных буграх, зад. Это было как галлюцинация. Все-таки бабушка была учительницей литературы и ничего подобного себе никогда не позволяла.

Но еще через несколько секунд выяснилось, что демонстрация необъятного зада была не актом унижения в его первобытной трактовке. Нет. Просто бабушка хотела показать ей лопнувшие сосуды

на бедрах. Короткий палец уткнулся в проступивший на коже клубок перепутанных вен.

– Видишь, что бывает, если не принимать контрастный душ? Видишь, да?

Надя потрясенно молчала.

Бабушка с достоинством выпрямилась, натянула панталоны, одернула халат и спокойно сказала:

– Контрастный душ укрепляет сосуды.

Ее беременность уже разглядела впереди финишную прямую, когда Данила ушел.

Тридцать недель беременности.

Данила признался, что давно любит Леру. Всю жизнь. Они впервые встретились, когда Лере было всего двадцать лет.

Солнечные, смешливые, мускусные двадцать.

Бессонные ночи, розы ветров на московских крышах, дешевое пиво, рок из старенького магнитофона, поцелуи в Серебряном Бору, ее татуированные руки и татуированные крылья на спине. Потом он узнал, что все, кроме крыльев, – подделка, в те годы в Москве как раз вошли в моду временные тату.

Двадцатилетняя Лера была смешной. Она претендовала на увлеченность Карлосом Кастанедой, японскими самураями, средневековой корейской поэзией и славянской узелковой письменностью. О своих поверхностных знаниях она пыталась доложить миру, нанося рисунки на тело. В итоге получилась разноцветная мешанина, возмутительная эклектика, кричащая пошлость – разноцветные овощные очистки собрали в корыто для свиней. Впрочем, сама Лера была довольна – она предпочитала носить кожаный жилет на голое тело, обнажая загорелые разрисованные руки перед любопытными взглядами.

Данила, как выяснилось, не видел разницы между пошлостью и смелостью. Он клюнул на эти руки, как карась на ароматный хлебный мякишек.

Он и не думал, что все это так надолго затянется. Но годы шли, а он так и не смог отпустить. Это была нездоровая привязанность. Отношения без будущего. Какое там будущее, когда оба без царя в голове. Они пытались расстаться – тысячу раз. У Данилы были другие женщины, в том числе и она, Надя. О, как ему хотелось, чтобы на этот

раз все было всерьез. Как он в это верил, и как больно было ему признаться себе в том, что ничего не получилось, опять.

«Больно? – думала Надя, на голову которой он все это беспощадно вывалил. – И он рассказывает мне о том, как это больно? Мне? Сейчас?»

Данила стоял перед ней на коленях и говорил быстро-быстро, как умалишенный.

Он запутался. Он так больше не может. Не знает, что делать. Он спит с Лерой уже несколько недель. Чувствует себя при этом подлецом. Но ничего сделать не может. И Лера – тоже. Не надо думать, что она беспринципная фамм-фаталь. Она за Надю переживает – за Надю и за малыша. Но это похоже на наваждение. Как будто бы в их сердца вшили мощные магниты.

– Что ты хочешь сказать? – спросила Надя, обескураженная.

Данила опустил глаза. Надя вдруг заметила, что на столе ни ноутбука, ни сканера.

– Я принял решение. Так будет лучше для нас всех.

– А почему ты не посоветовался со мной, как будет лучше для меня?

– Потому что... Надюша, прости, но я просто не мог... Не мог. Мы сняли квартиру позавчера.

Как будто бы невидимые ладони обхватили ее горло.

– Что?

– Я сейчас пойду... Чтобы еще больше тебя не расстраивать... Но я же от вас не отказываюсь. Я помогу тебе... и малышу. – Он улыбнулся. – Не оставляю вас.

Надя схватила первое, что попало ей в руки – цветочный горшок из-под давно усопшего кактуса, – и швырнула в мужа. Тот успел уклониться – горшок стукнулся о стену и разбился на десятки осколков. Надю трясло, а Данила отшатнулся с изумлением и неприязнью.

– Вот ты как, значит... Надь, я же по-хорошему хочу.

– По-хорошему? – Она ушам своим не верила. – Убирайся! Убирайся, убирайся, убирайся! Мне надо было послушать их! Цыганку! Ассоль!

– Ты сошла с ума? – Данила пытался к входной двери. В руках у него непонятно как очутилась набитая спортивная сумка. Заранее,

значит, все спланировал, собирался.

– Убирайся вон! Если ты посмеешь хоть на шаг ко мне приблизиться, я вызову милицию!..

– Я же хотел по-человечески, – прошептал он уже от входной двери.

Без Данилы квартира, на тесноту которой она привыкла беззлобно жаловаться, казалась огромной и пустой. Готический замок с подземельями, лабиринтами и минотаврами. И заблудившаяся в нем беременная принцесса.

– Раз он так с тобой поступил, он тебе не нужен, – сказала Марианна.

Она всегда любила рубить с плеча. И свою жизнь, и чужую, оказавшуюся в поле ее зрения. Ей казалось, если не обращать внимания на оттенки серого, принимая в расчет лишь два безусловных полюса, будет проще.

– Ты радуйся, что избавилась от него так рано.

– Кто от кого еще избавился, – покачала головой Надя.

– Ты молодая, сильная и способна еще сто раз восстать из пепла.

Звучало это поэтично и даже почти вдохновляюще, но Надя не была уверена, что она способна восстать из пепла и единойды.

Однажды приехал Борис.

Это был единственный раз, когда они встретились на чьей-то личной территории, и Надя немного нервничала, что (как ей самой казалось) было хорошим знаком. Если она способна нервничать из-за мужчины, значит, ее душа не выжжена. Значит, возможно, она и правда птица Феникс.

Борис привез виноградный сок и старомодные пирожные – помнил, что Надя любила именно такие. Они сидели на полу, на подушках, пили чай из восточных пиал, и Борис пытался ее рассмешить, а Надя пыталась сделать вид, что смеется искренне. Получалось плохо.

– Мне кажется, мы знакомы всю жизнь, – сказал вдруг Борис. Ни с того ни с сего, чуть ли не прервав на середине собственную фразу.

Он качнулся в сторону Нади. В какой-то момент ей показалось, что он собирается ее поцеловать, и словно невидимая пружина сжалась внутри. Надя тоже немного подалась вперед, чуть прикрыла

глаза ненакрашенными белесыми ресницами, задержала дыхание, как спортсмен перед прыжком с десятиметровой вышки.

Но он почему-то отстранился и сказал:

– Ладно. Расскажи мне.

– Что? – Вернуться в реальность было трудно. Ее как будто разбудили среди ночи и заставили доказывать сложную теорему.

– Как обычно. Что хочешь. Расскажи мне о своей маме. О своей бабушке. О своем муже.

– Нет, только не о нем, – поморщилась Надя. Волшебная медовая сладость растаяла, как утренний туман.

– Я же говорю, о чем хочешь. Это тебе поможет. Расслабит тебя. Давай, я точно знаю.

– Ну... Могу рассказать о моем первом красивом платье, – неуверенно улыбнулась Надя.

– Пойдет, – подмигнул Борис.

Наде было пятнадцать. Она посмотрела документальный фильм о Софи Лорен – оказывается, для конкурса красоты, на котором ее заметили, Софи сшила платье из старых тюлевых штор.

Надя нашла в бабушкином шкафу пестрые дачные занавески, которые та привезла в Москву постирать позапрошлым летом, да так о них и забыла. Несколько минут хмуро рассматривала легкую ткань – из этого получилось бы отличное платье в стиле пятидесятых. А если еще купить в свадебном магазине дешевый синтетический подъюбник, эффект будет полным.

Надя представила, как она появляется на пороге школы, в огромных темных очках, с ниткой жемчуга на шее и с челкой, как у Одри Хэпберн, а вокруг ее коленей кружится разноцветная юбка.

И плевать, что нет у нее ни огромных очков, ни изящества и оленьих глаз Хэпберн.

Только вот что скажет бабушка. Она ревностно относится к своим тряпочкам, ничего никогда не выбрасывает, даже старые трусы. «Все когда-нибудь пригодится, – любит ворчать она, распарывая по шву какие-нибудь ветхие хлопковые кальсоны. – Из этого получится хорошая тряпка для пыли».

На одной чаше весов – Софи Лорен и Одри Хэпберн в жемчужных бусах. Они укоризненно улыбаются – неужели ты упустишь возможность сыграть на нашем поле из-за мещанского бабушкиного

страха, что однажды из магазинов пропадут все готовые половые тряпки, и вот тогда настанет звездный час всех этих парашютообразных трусов, которые аккуратно лежат в специальном ящичке? На другой чаше – искаженное от злости бабушкино лицо. И приговор, к которому никак не можешь привыкнуть, хотя каждый день тебе выплевывают его в лицо. Никчемная, никчемная, никчемная тупица.

Софи и Одри выиграли. Задыхаясь от собственной смелости, Надя раскроила шторы. Она работала быстро и вдохновенно. Швейная машинка уютно стрекотала, управляемая ее ловкими руками. Через несколько часов платье было готово, и оно получилось даже лучше, чем Надя могла надеяться.

Она включила музыкальный телеканал, накрасила губы и танцевала, подражая голливудским дивам.

Надя была Одри Хэпберн минут сорок пять, после чего домой вернулась бабушка. И застала ее, счастливую, румяную и танцующую. Сначала она даже не поняла, в чем соль праздника непослушания, и отругала Надю за беспечность и веселый пофигизм. Слово «пофигизм» вошло в моду в девяностых, и бабушка его почему-то полюбила. Ей казалось, что оно отражает Надину суть. Бабушка выключила музыку и принялась привычно нудеть, что скоро экзамены, надо их сдать хотя бы на четыре, – может, Наде удастся вызвать жалость в экзаменаторах, ведь она так никчемна и тупа, только вот жалость на фоне нулевых знаний не имеет смысла. А если она выучит хоть что-то... То есть ежу понятно, что в хороший институт она все равно не поступит, и надо было идти после девятого класса в медицинское училище. Тогда у нее был бы шанс устроиться санитаркой в коммерческую клинику, а в перспективе выйти замуж за пациента. Конечно, старика, потому что молодые приличные мужчины на санитарках не женятся. Но старик все же лучше, чем ничего. А теперь шанс упущен. Гипотетический старик женится на другой санитарке, счастливой, а Надя так и сдохнет в одиночестве, да еще и без профессии, которая всегда принесла бы ей кусок хлеба.

Надя слушала, почти не обижаясь. За три года она почти привыкла к бабушкиным монологам о ее, Надиной, ничтожности. Вера Андреевна как будто бы читала заунывный рэп единственному благодарному слушателю.

Так она говорила, говорила и вдруг умолкла на полуслове – заметила юбку. Вернее, заметила свои бывшие шторы в новой Надиной юбке.

– Это... что?

Надя принялась объяснять – суетливо, в заискивающей интонации. Она чувствовала себя жалкой, потому что точно уже по выражению бабушкиного лица знала наверняка, что объяснения не помогут. Так и получилось. Бабушка выслушала, а потом спокойно сказала:

– Ты должна это распороть. Немедленно.

– Но... Куски будут слишком маленькими. Шторы все равно нельзя вернуть, – попробовала спорить Надя.

– Это уже мои проблемы. Не думала, что ты еще и воровка.

– Да эти шторы пылились в твоём шкафу три года! И еще столько же пропылились бы! – не выдержала Надя. – А мне нечего носить. И еще... Мне эта юбка для учебы нужна.

– Для чего? – прищурилась бабушка.

– Я буду поступать в текстильный институт. Я люблю шить. Хочу этим заниматься.

– Ну-ну, – криво усмехнулась бабушка. – Посмотрим, как ты туда поступишь. Максимум, на что ты способна, – продавать одежду, а не создавать ее.

И ведь как в воду бабушка глядела. Но, разумеется, тогда, почти двадцать лет назад, Надя не могла об этом знать.

– В общем, ты знаешь, где лежат ножницы. Ты должна распороть свое безвкусное платье и вернуть то, что не тебе принадлежит. Мою ткань.

Надя не посмела возразить. Глотая слезы, она осторожно распарывала швы.

Когда все было готово, бабушка удовлетворенно кивнула, а потом аккуратно сложила ткань в пакет.

– Вот. Когда пойдешь завтра в школу, занеси с утра на помойку. Не думаю, что из этих обрезков получится что-то приличное.

Надя сидела у кровати умирающей бабушки, пила черничный компот и читала Ирвина Ялома. В семьдесят пять лет он написал книгу о смерти – о том, как не отрицать ее и не бояться. А бабушка уже две недели не разговаривала ни с кем. Она по-прежнему отказывалась

от сиделки – как только об этом заходила речь, сдвигала брови и складывала пальцы в узловатую артритную фигу. Ходить ей становилось все труднее. Путь до туалета занимал пятнадцать минут. Она шла вперед, и у нее было выражение лица альпиниста, покоряющего Эверест. Упрямая воля к победе. Только альпиниста ждали впереди ослепительные вершины, завораживающие пропасти да бьющая в глаза небесная синева. А бабушку – старенький унитаз, польская кафельная плитка и выматывающий обратный путь.

Присутствие родных ее вроде бы развлекало. Хотя смотрела она неласково, а когда с нею заговаривали, сжимала губы в жесткую серо-желтую черту и отворачивалась к стене. Но каждый раз, когда Надя собиралась уходить, бабушка смотрела на нее с таким жалобным ужасом, с такой влажной мольбой, словно она впервые в жизни проснулась, осознала бессмысленность всего, что было до, и сразу же, глаза в глаза, встретила с чудовищем, черной дырой, с самой смертью. И пыталась сказать Наде глазами: не оставляй меня с *этим* наедине.

«Я все понимаю, – пыталась молча сообщить Надя. – Я не уверена, что люблю тебя, но я понимаю и сочувствую. И если ты захочешь попросить прощения, но думаешь, что это мелко, глупо и несвоевременно, то... Это ничего не изменит, но будет многое значить для меня».

Были дни, когда бабушка будто бы понимала.

Так они молча и смотрели друг на друга, и со стороны выглядели просто молчащими женщинами, но на самом деле Надя была исповедником, отпускающим грехи. Ну или просто хотела в это верить.

А может, ничего такого и не было. Может, она все придумала, а бабушка так и не поняла ничего.

Наде хотелось крикнуть в эти угасающие глаза, блеклые, как застиранная штора: почему ты так со мной? Кто дал тебе право? Почему ты всю жизнь заземляла меня, обрубала мне крылья? Видишь, в кого ты превратила меня? Видишь, я стала тем, кем ты меня всю жизнь видела. Я тебе не верила, а ты оказалась права – но не потому, что предсказывала будущее, а потому, что сама его лепила. Лепила из меня. А стала я никем. Ничтожеством.

Стоп.

Нельзя так.

Это уже не та бабушка, которая била ее по щекам. Не та бабушка, которая заставила распороть прекрасное платье. Это другой человек, слабый, желтый, почти не существующий.

А прошлого в любом случае не вернешь.

Надя где-то прочла, и ей понравилось: «Только тогда мы по-настоящему становимся взрослыми, когда перестаем мечтать о лучшем прошлом».

Вера Николаевна никогда не слыла сентиментальной. Совсем даже наоборот – ученики девятого «Б», над которым ей было навязано классное руководство, прозвали ее Сухарь Бородинский, за эмоциональную скупость, бедность реакций и воспетую школьным фольклором жесткость.

Вера Николаевна понимала, что отчасти они правы. Однако когда крошечный человечек, вчерашняя часть ее плоти и сегодняшнее совершенно самостоятельное существо, серьезно взглянул на нее припухшими загноившимися глазами, а потом улыбнулся, доверчиво и беззубо, что-то оборвалось у нее внутри. Как будто под сердцем тихо запела волшебная виолончель. И это было так неожиданно, так восхитительно, больно и сладко, что Вера Николаевна, посерев лицом, осела на стул. Вокруг нее засуетились больничные нянечки, кто-то пихнул ей под язык таблетку валидола – она вяло попыталась оттолкнуть руку, но ее не слушали. Крошечного человечка унесли, волшебная виолончель, всхлипнув, умолкла.

Потом одна из соседок по палате – одышливая, дебелая и светлобровая, похожая на гибрид молочного поросенка и личинки гигантской мухи, снисходительно объяснила: это была ненастоящая улыбка.

Младенцы, которым от роду два с половиной дня, не умеют улыбаться осознанно, просто когда отходят газики, у них расслабляется рот. Шутка природы. Рефлекс. Биология.

Вера молчала, сжав под одеялом кулаки.

Ей хотелось сорваться с места, орлом упасть на кровать соседки и бить ее кулаками по лицу. Чтобы она замолчала, чтобы не смела говорить такие страшные обидные вещи. «Это у твоей дочки газы, – неслышно бормотала она, отвернувшись к стене. – Потому что сама пердишь всю ночь. Спать невозможно. А моя – улыбается. Никакой

биологии, только интеллект и любовь. Но тебе не понять. Тварь. Тварь».

Конечно, она ничего не сделала. Она же не торговкой сухофруктами была, а учителем русского языка и литературы. Пыталась привить трудным подросткам любовь к Толстому (которого в глубине души считала тяжеловесным) и Достоевскому (которого, как и всех нытиков, недолюбливала).

Потом эта внезапная чернокрылая ярость не раз возвращалась.

Ярость была поводом для разогревающей нутро виолончели, шла с нею рука об руку. За нежные вибрации струн приходилось платить застилающей глаза ледяной муťou.

Томочке три года. У нее огромные глаза и боттичеллиевские кудри, она уже умеет читать по слогам и выговаривает все буквы, даже трудную «щ». Она рисует, высунув кончик маленького розового языка, напевает под нос песенки из мультфильмов, бормочет что-то детское, и это так трогательно. Она не похожа на сверстников, она – совершенство.

А какая у нее пластика, какая богатейшая мимика, как она отбрасывает золотые локоны коротким движением головы, как она смеется, как закусывает губу. Всем этим Вера Николаевна была готова любоваться целыми днями. Даже когда дочь засыпала, она часто замирала над маленькой кроваткой и, сложив ладони у сердца, прислушивалась к нежному медовому дыханию, присматривалась к подрагиванию детских бархатных ресниц. О чем думает ангел, что ему снится?

К семи годам Томочка Сурова уже была маленькой женщиной. Волосы по пояс, изящество заморской статуэтки, балетная спина, гордо вздернутый подбородок, космические блестящие глаза. Разумеется, Тома отправилась в ту школу, где учительствовала ее мать.

И вдруг однажды (первая четверть ее первого учебного года подходила к концу) застенчивая молоденькая Маргоша, учительница начальных классов, робея, обратилась к Вере в коридоре:

– Мне бы с вами поговорить... Насчет дочки вашей.

Верини губы растянулись в улыбку. О дочери она могла говорить часами. Наверное, эта милая девочка, вчерашняя студентка, хочет Тому похвалить. Лично поблагодарить Веру за такую ученицу. Отметить ее особенность.

Так и вышло:

– Ваша дочь... особенная... – На щеках Маргоши проявился свекольный сочный румянец.

– Так и есть, – кивнула Вера Николаевна, – она всегда была такой, с самого рождения. Читать слоги научилась в два с половиной года.

– Понимаю, только вот... Трудно с ней, – наконец выдавила учительница. На ее высоком лбу выступили бисеринки пота.

– Что вы имеете в виду? – нахмурилась Вера.

– Она... неусидчивая. Может посреди урока встать и выйти из класса. А когда я говорю – сядь, мол, на место – смеется мне в лицо.

– Может, ей надо было в туалет? – с некоторым раздражением предположила Вера Николаевна. – Она, наверное, спросила, а вы не услышали. Она же ребенок.

– Нет, вы не понимаете... – Маргоша чуть не плакала. – Если бы это случилось один раз... Но почти на каждом уроке. Она может пойти в игровой уголок и повернуться ко всем спиной. Совсем ничего не хочет делать. Ее прописи... Вы видели ее прописи?

– Видела, – с достоинством кивнула Вера. – И что? У нее почерк творческого человека. Я и сама всегда писала неразборчиво.

– А математика... Она не может сложить «один» и «четыре», начинает на пальцах считать.

– Так, может, дело в том, что вы не в состоянии объяснить? Вот скажите мне, Маргарита... не помню вашего отчества...

– Васильевна, – шепотом подсказала та.

– Маргарита Васильевна. Вы считаете себя хорошим педагогом? Сколько лет вы уже у нас работаете?

– Третий год... Но другие дети все понимают и все выполняют.

– Вот что, дорогая моя. Томочка уже в три года умела читать. Во всех детсадовских спектаклях играла главные роли. Она вундеркинд. А если вы этого не понимаете, дело не в ней, а в вас. Надеюсь, в институте вам объяснили, что к каждому ребенку нужен особенный подход. Тем более, если речь идет о таком особенном ребенке, как моя Тамара. Вы меня поняли?

И Маргарите Васильевне, которая вдруг почувствовала себя нашкодившей первоклашкой, оставалось только кивнуть.

За все четыре года начальной школы она больше так и не рискнула связаться с грозной Томиной мамой, готовой всегда встать на

защиту непутевой дочери.

Но когда Тамарочка перешла в школу среднюю, сразу начались проблемы. Веру вызвала сначала учительница математики, седая строгая Валерия Петровна. Она была дамой холодной и опытной, и Верина ярость ее не пугала и не смущала.

– Это возмутительно, – хорошо поставленным голосом сказала она. – Ваша дочь – уникум. Я не знаю, чему ее учили в начальной школе, но она не вынесла ровным счетом ни-че-го. Самая отстающая девочка в классе. К тому же избалованная хамка. На вашем месте я бы поговорила с ней с помощью пучка крапивы.

«На твоём месте я бы заткнулась, а то у тебя изо рта чесноком воняет, – сжав кулаки, подумала Вера Николаевна. – Старая тварь!»

Другие учителя тоже были недовольны Томочкой. А простодушная географичка даже посоветовала перевести ее в другую школу, для сложных детей. И еще по наивности сформулировала это так:

– Там, конечно, жесткие условия... Зато, может, человеком станет... А то смотрите, сейчас она еще маленькая, а потом подрастет – и что? В подоле принесет?.. Ой, Вера Николаевна, вам что, плохо? Валокординчику накапать?

– Не надо, – сквозь зубы ответила та.

Черная соленая пелена застила глаза, а горло словно сжали чьи-то когтистые лапы. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. И это было страшно.

Шли годы, Томочке исполнилось четырнадцать. Это была самая красивая девочка в школе, самая живая, смешливая, остроумная. Она была как бокал новогоднего шампанского, в котором танцуют золотистые пузырьки. Сердце пело у Веры, когда она смотрела на дочь – как та смеется, как танцует и поет. К Томиным четырнадцати стало ясно: ученица она нерадивая, невнимательная и несмышленная. Все домашние задания выполняла за дочь Вера – но даже так Томе едва-едва удавалось учиться на троечки.

Вера Николаевна считала: если Бог в одном месте недодал, то в другом – точно отвалил в избытке. Бог же не дурак и любит гармонию. К слову, в Бога она никогда не верила, но в сложившейся ситуации это было неважно. У нее была дочь, очаровательная, медово-сливочная маленькая женщина, с мягкими волосами, каких у самой Веры даже в нежном возрасте не было, с гибкими руками, тонкой талией и

оленьими ресницами. Живая кукла, которую ей так нравилось наряжать и баловать и которую впереди ждал – и это было для Веры аксиомой – ошеломляющий успех.

Весь последний школьный год Томочка готовилась поступать во ВГИК или ГИТИС. Подготовка заключалась главным образом в том, что она тренировалась ходить на высоких каблуках и подводить глаза, как Мирей Матье, а репетиторами ее были девочки из ПТУ бытового обслуживания, с которыми она познакомилась во дворе. Нельзя сказать, чтобы Вера Николаевна была в восторге от такой дружбы – девки грубые, курящие, их речь приправлена матерком. Зато они, будущие парикмахерши и маникюрши, взбивали волосы ее дочери в такое воздушное безе, рисовали на ее ногтях такие порочные туберозы, и главное – все это так радовало Томочку, что Вера предпочитала не выпускать переживания за двери своего сердца.

Конечно, никуда Тома не поступила. Провалилась в первом же туре. Возглавлявшая комиссию старая красивая актриса брезгливо поморщилась при виде Томиных кудрей и обтянутых ажурными колготками ног. Басню в ее исполнении даже не дослушали. Она произнесла несколько слов и услышала насмешливое: «Спасибо».

Провал дочери Веру не насторожил. Кто же это поступает в такие институты просто так, с улицы, без всякого блата, с первого раза? Было решено расслабиться и насладиться годом свободы, а следующей весной – вернуться и всех покорить. Тома устроилась на полставки в районную библиотеку и приступила к самозабвенному и почти истерическому прожиганию жизни. У нее появился взрослый женатый любовник, которого она (по наивности, как казалось Вере) называла женихом. Любовник дарил цветы и платья, водил в рестораны и катал на теплоходике по Москве-реке, а потом в их дверь позвонила разъяренная женщина с ночным горшком в руках. Жена, подслушавшая телефонный разговор. На Томочку («Тварь малолетняя!») были вылиты помои.

Год пролетел быстро. Весной Тома снова никуда не поступила, но в этот раз формулировка была более жестока. Полная профессиональная непригодность. Нефотогеничное лицо. Никакого артистизма. Сплошной пафос. Пошлость. Переигрывание.

Тамара плакала, но недолго. Она была перекатиполем и не умела переживать долго. Вся ее жизнь могла показаться непрерывным

движением вперед, но на самом деле была истерическим бегом по кругу. У нее появился новый женатый любовник, а потом еще один. После – был холостой, молодой, перспективный. Вера надеялась, что оказавшаяся никчемной дочь найдет хотя бы пресловутое женское счастье, кого-нибудь родит, немного размордеет, подобреет, успокоится.

И дочь действительно немного размордела, а потом и родила «кого-нибудь» – Надю, тощую крикливую девочку с глазами немного навывкате; только вот предложения выйти замуж ей так и не поступило. Холостой и перспективный обнаружил в себе еврейские корни и срулил в Израиль.

Когда Вера Николаевна впервые поняла – вернее, нашла смелость признаться самой себе, – что ее любимая девочка – пустышка? Избалованное создание, слишком тепличное для борьбы; слишком капризное для того, чтобы держать удар; слишком ленивое, чтобы честно и бесхитростно работать?

Должно быть, это случилось, когда Надя уже ходила в детский сад. До того Вера Николаевна кое-как, но все-таки надеялась. Но ничего не менялось – шло время, а главными реалиями Томочкиной жизни так и оставались любовники, сменяющие один другого. Ей было наплевать на все, кроме поиска, в который она превратила свою жизнь. Со стороны она казалась почти счастливой – такая красивая, всегда идеально причесанная, смешливая, остроумная, моложавая, игривая. Внутри была пустота, о которой мало кто догадывался. На собственного ребенка ей было плевать, и это Веру Николаевну почему-то ранило. Хотя особенной любви к этой новой девочке, совсем не похожей на ту медовую малышку, которой когда-то была дочь, она не испытывала. Не могла себя заставить полюбить, умиляться ею. Но очень боялась, что Тома превратит ее в такой же пустоцвет, каким была сама. Томочка ласкала дочь, а у Веры сердце кровью обливалось, она-то знала, что бывает, когда отдаешься слепой любви.

О, на этот раз она не могла позволить себе выпустить реальность из цепких рук. Честно отмечала каждый недостаток подрастающей девочки, старалась не кормить ее сахарными иллюзиями и учила трезво оценивать свои возможности, которые казались ей ничтожными. Девочка любила шить и что-то там лепетала про текстильный институт, но Вера так живо помнила, как горели глаза ее

дочери, когда та представляла себя кинозвездой. «Больше никакой богемы в нашей семье! Ты должна получить нормальную, обычную специальность. Ту, которая тебе подходит!»

Девочка обижалась, сжималась вся, и иногда Вере казалось, что та ее ненавидит, и все никак не могла понять за что?

В середине июля случилось в целом нечто предсказуемое. Мамина вечная мерзлота отступила. Мама познакомилась с мужчиной по имени Павел Антонович, обладателем михалковских усов с проседью, флегматичного темперамента и двух грациозных печальных доbermanов, которые его с мамой, собственно, и свели.

Мама гуляла по Фрунзенской набережной. Она всегда любила гулять пешком. Летний воздух был как психоделические кактусы: вдыхаешь – и краски становятся ярче, голоса – громче, мысли – глубже.

Незнакомая черная собака подбежала к маме и ткнулась носом в подол ее желтого плаща. В другой день это, возможно, ее бы разозлило – и порода «серьезная», а бегаёт без намордника, и плащ испачкала, а химчистка дорогая. Но дурманый июльский воздух возымел эффект: она просто положила ладонь между нежных собачьих ушей и рассмеялась.

– Ну что же ты, дурень? Бегаешь тут один. А вдруг машина?

– Это девочка, – сказал подбежавший рослый мужчина. – Грета.

На поводке у него был еще один доberman. Тоже девочка, Соня. У нее была течка, поэтому ей не разрешали свободно бегать. Она была в смешных мужских трусах, красных, полосатых, как у рисованного алкоголика из журнала «Крокодил».

Павел Антонович любил доbermanов, как детей. Больше у него никого не было. Жена умерла почти десять лет назад – меланома; полгода носил фрукты в онкодиспансер, продал машину и вручил деньги какому-то ушедшему башкирскому предсказателю, который тряс шаманским бубном над черно-белой фотографией жены. Жена на фотографии была молодой и легкомысленной, в синтетическом голубом платье. То есть это только Павел Антонович помнил, что платье – голубое. Шаман кинематографично выпучивал глаза и что-то бормотал над подрагивающим огоньком церковной свечи. Павел чувствовал себя дурак-дураком. Но не уйдешь же просто так. Деньги уже отданы, восемь тысяч долларов.

Ничего не помогло.

Хоронил как в тумане, потом уехал в пансионат на Валдай – в квартире было тошно, разбирать вещи жены не было сил и помочь некому – и там пробовал утопиться. Это казалось правильным, но не хватило сил. Оказывается, это непросто – вдохнуть под водой. Вечерами он много пил, преимущественно дешевый коньяк. Санаторные врачи смотрели на него презрительно. Павел Антонович обрастал щетиной и начинал попахивать камамбером и сыростью. Из пансионата вернулся не посвежевшим, а словно поросшим склизким мхом.

Впрочем, коньячный туман все-таки пошел на пользу. Пьяным было просто складывать в купленную на вьетнамском рынке клетчатую сумку то, что напоминало о жене. Книжки, платье, вышивание и даже коробка с ее любимым травяным чаем, – все было аккуратно сложено в сумку и оставлено на пороге какой-то церкви.

А когда квартира опустела, ему как-то полегчало. Он начал обживаться в одиночестве – понемножечку.

У них был взрослый сын – но как будто ненастоящий. Формальность, дающая право, если кто-то спросит: «А у вас есть сын?» – ответить: «Есть». Сын был фотокарточкой и голосом в телефонной трубке. Он давно жил в Америке, в городке Портленд, с женой и детьми, которые по-русски ничего не понимали. Как и многие эмигранты в стрессе, сын стал русофобом. Павлу Антоновичу казалось, что это защитная реакция. А сын был уверен, что Америка – рай. Каждую вторую субботу месяца они по этому поводу вяло переругивались. Сын ни разу не пригласил родителей в гости. И даже не приехал на похороны матери.

Так и плыл Павел Антонович по течению. К одиночеству с годами привык. Записался в библиотеку, научился сносно готовить, своими руками сделал в квартире ремонт, завел собак. И даже ежемесячные перебранки с сыном с годами научился воспринимать как благодать.

И вдруг – женщина на набережной, смешливая и ласковая, в желтом плаще. Играет с его собаками, по-свойски чешет их за шелковыми ушами. А те и рады – улыбаются ей по-своему, по-собачьи, и пытаются поставить лапы на грудь.

Сложилось все как-то быстро. Приглашение в кофейню – заказали по фруктовому салату и сначала один чайник пуэра на двоих, а потом,

когда стало понятно, что вместе – хорошо, еще и мартини с консервированной вишней. Женщина так заразительно смеялась, что и Павел Антонович неожиданно для себя самого заулыбался, приосанился, начал выдавать полузабытые шутки. Они проговорили четыре с половиной часа. На следующий вечер вместе смотрели фильм – никто из них не запомнил, какой именно, потому что на пятнадцатой минуте пахнувшая духами «Ангел» белокурая голова опустилась на его плечо, а потом как-то само собою вышло, что они начали целоваться, и это было одновременно очень глупо и очень здорово. Еще через несколько дней женщина впервые вошла в его дом, и в законсервированной квартире словно началась весна. Ее ужаснула казенная атмосфера и пыль. Впрочем, это не помешало ей не только принять приглашение остаться на ночь, но и даже это самое приглашение спровоцировать.

Она была обычной немолодой женщиной – с легким варикозом, суховатой шеей, бледным валиком жира на животе и осенними желтеющими пятками, и весь вечер Павел Антонович думал, что в их возрасте трудно быть страстными. Однако стоило волшебной женщине, щелкнув выключателем, с какой-то детской пластикой стянуть через голову платье, как время потеряло значение, и темная кровь потекла давно не хоженными потайными тропами к центру его вселенной. И все было так, как бывало в его жизни (не сегодняшней, а той, которую он считал условно *прошлой*) сотни раз. А потом они курили в постели, как герои мелодрамы, режиссеру которой не хватает фантазии на нетривиальные ходы. А потом босиком стояли на балконе, встречали рассвет, и ее запах – пыльноватые духи «Ангел», вишневые сигариллы и распаренная кожа – почему-то казался почти родным.

Еще через две недели Павел Антонович решился предложить ей оптом все и сразу, что он мог предложить женщине в принципе. Руку, сердце, место на левой половине кровати, купленные на пенсию сочные тюльпаны, вечера у мерцающего телеэкрана, зимний Суздаль и летний Геленджик.

И женщина – немолодая женщина, которую не портило увядание, – приняла все эти скромные дары с благодарностью.

– Мама, что значит – ты выходишь замуж?

Беспомощная улыбка, орлиный размах разведенных рук, ветер треплет кокетливую челку. И слова, которые она говорила дочери

сотни раз, с одной и той же раздражающе блаженной улыбкой, с одной и той же интонацией:

– Он тебе понравится. Мы решили сдавать наши московские квартиры, а жить на его даче, под Коломной. Еще и деньгами тебе будем помогать.

Тамара Ивановна не понимала, что в эту минуту в Надиной голове словно захлопнулась невидимая дверь, превратив мир из бескрайнего цыганского поля в тесную тюрьму.

– Мам, но вы знакомы всего ничего.

– Ты же знаешь, я всегда полагаюсь на интуицию. И люблю спонтанные решения.

– Мне почему-то хотелось верить, что с годами ты поняла – интуиция у тебя хреновая.

Мама не обиделась. Она, возможно, была неисправимой эгоисткой, ну уж никак не черствым сухарем. Можно ли обижаться на бледную беременную женщину, увлажнившиеся глаза которой походили на протухшие лесные болотца?

– Мы же договаривались. Мы же планировали. Ты, значит, готова поселиться на даче под Коломной с первым встречным, в тот момент, когда мне так нужна помощь! Впервые в жизни помощь нужна. – Надя погладила себя по животу, будто пыталась успокоить ребенка, хотя тот невозмутимо спал, не чувствуя ее взвинченного настроения.

– Павел Антонович – не первый встречный. Павел Антонович – мое все. – Мама едва ли понимала, насколько оскорбителен вкус ее спонтанных признаний.

– Но почему нельзя подождать? Просто подождать – три-четыре месяца. – Надя, конечно, понимала, что диалог становится похожим на потерявшую вкус дешевую польскую жвачку, но зачем-то по инерции, без надежды на чудо, продолжала уговаривать. – Если он твое «все», он никуда не убежит.

– Наденька, мне уже не тридцать и даже не сорок, – грустно улыбнулась мама. – Это от тебя жизнь не убежит, а от меня – умчится галопом, стоит только отпустить. И мужчин у женщин моего возраста уводят только так. Сама знаешь, сколько в Москве хищниц.

Это многозначительное «сама знаешь», замешанное в коктейль с по-совиному округлившимися глазами, видимо, намекало на ту женщину, о которой Надя старалась не думать вовсе. Леру.

Она все-таки не выдержала:

– Да кому он нужен, твой псориазный хрен?!

Мамино снисходительное печальное спокойствие было обиднее оплеухи. Надя почувствовала себя жалкой.

Да, она жалка – настолько, что на нее невозможно обидеться даже в том случае, если она спляшет пасадобль на чьей-то кровоточащей мозоли. Ее все равно пожалеют, поглядят по голове, а потом уйдут в свою уютную жизнь, оставив ее, маленького грустного воина, наедине со стоглавым кровожадным чудищем, которое еще не выпустило стальные когти, но уже жадно принохивается, вытягивая шею навстречу жертве.

Надя не поступила в текстильный институт.

Экзамены запомнились эйфорическим пунктиром. На других абитуриентов, своих соперников, она смотрела почти с обожанием, снизу вверх. Они были похожи на обитателей ее детства – художников, за которыми Надя так любила наблюдать в мастерских Бульварного кольца и на которых она так мечтала быть похожей. Они были ее ровесниками, но в свои шестнадцать Надя – дитя, а они все – такие свободные и взрослые. Как будто были возвращены на другой плодородной почве, напитаны свободой так, что она сочится теперь из каждой поры, намекает о себе каждым поворотом головы и кокетливым взмахом самодельных серег. Бранные слова, которые Надя привычно считала стыдными для озвучивания, они вставляли в дерзкий ток речи настолько изящно, что хотелось улыбаться и аплодировать. Пространство, которое, казалось, было особенно к ним дружелюбно, – эти дети садились прямо на асфальт, скрестив ноги и продолжая болтать; жестикулировали, как глухонемые; громко смеялись. Они настолько ясно представляли свое место в мире. У Нади – мечты, фантазии, у них – четкие планы. Они были такими серьезными и даже категоричными, но при этом не казались смешными.

Разве могла Надя противопоставить этой энергии свой скудный опыт – опыт нищей мещанской девочки не без амбиций? Вот есть старые джинсы и есть моток выцветшей кружевной тесьмы. Надо так переставить слагаемые, чтобы на выходе получилось нечто, что можно носить в школу без риска стать объектом насмешек одноклассников.

Не найдя свою фамилию в списке, Надя, конечно, расстроилась, но все же решила, что это справедливо. Они – достойны, она же – могла рассчитывать только на удачу. Но ей не повезло.

Был июнь – тополиный пух, душное марево, стертые ноги и огромные очереди у квасных бочек. Надя зачем-то приехала не в Ясенево, к бабушке, а в Большой Палашевский. Но матери дома не оказалось, а своих ключей у Нади не было. Вот и стояла посреди улицы – дура-дурой. Жмурилась на солнце. Одинаково сильно желала холодной минералки и сдохнуть от жалости к себе. Что она теперь будет делать? Впереди – год, пустой и никчемный. Готовиться ко второй попытке? Но, во-первых, сможет ли она за год стать такой же яркой и богемной, как почти все, с кем ей удалось познакомиться на экзаменах? А во-вторых (и это главное), на что она будет жить этот год? Бабушка ясно дала понять – финансово поддерживать idiotские идеи она не намерена. На маму рассчитывать тоже не приходилось – слишком ненадежна, деньги ей руки жгут, как только появляются – сразу спускаются на чулки и туфли.

У нее была таксофонная карточка – позвонила Марианне.

Марианнин мир взорвал телефонную трубку громкой музыкой и сочным смехом. Вечная попрыгунья-стрекоза, конечно, никуда и не думала поступать – вот еще, тратить нежность своих шестнадцати лет, одну из самых бьющих под дых вёсен жизни непонятно на что – зубрежку, библиотеку, репетиторов, ложный адреналин крысиного забега. Высшее образование – для обычных людей, а ее, Марианну, и без того ждет блестящее будущее. В то лето у нее случился роман – сейчас Надя уже и не помнила, с кем именно, но это точно был кто-то взрослый, бесшабашный и богатый, по крайней мере по меркам неискушенной школьницы.

– Я не поступила, – кричала Надя в трубку. – Слышишь меня? Не поступила!

– Что? – смеялась Марианна, и по тембру смеха становилось понятно, что это, скорее, не естественная реакция, а поза, «вот_как_чертовски_очаровательна_я_когда_хохочу». – Аaaa! Валер, отстань, не трогай меня... Надь, прости, ко мне Валерка заехал, родителей нет. Что там у тебя?

– Я не поступила в институт. – Надя вдруг почувствовала, что сейчас расплачется, впервые за весь день.

– И все? – Новая порция серебряного смеха. – Нашла чему печалиться... Мы с тобой работать пойдём!

– Что? – Надя на всякий случай подула в трубку: слово «работать» казалось несовместимым с образом подруги. – Куда работать?

– Не на завод, разумеется! Есть отличная вакансия – младшие продавцы в магазин парфюмерии. Потом расскажу. Двоюродная тетка моя открывает магазин такой. Там и работы-то – сидеть в хороших костюмах в красивом помещении. Покупателей нет почти. А платят нормально.

– Но я не хочу быть продавщицей. Я модельером быть хочу.

– Ладно, Надюш... Мать на три часа всего ушла, войди в положение. Потом поговорим. – И Марианна отключилась, а Надя снова осталась на солнечной улице одна.

Правда, ненадолго – ее заметила появившаяся со стороны Патриарших мать. Тамара Ивановна, как всегда, была смешлива и легка – в шифоновом сарафане, с взбитыми в пену кудряшками, в облаке жасминовых духов. Она вприпрыжку подбежала к дочери и чмокнула ту в нос. В мамином присутствии солнце сияло ярче.

– Ребенок, а что ты тут делаешь? Мы разве договаривались?

Надя покачала головой. Ее покрасневший нос (все-таки всплакнула) и понурые плечи остались вне зоны маминого внимания. К Тамаре Ивановне негатив не лип, она предпочитала концентрироваться на хорошем. В детстве Надя считала, что это дар, потом – что наказание. Возможно, это было и тем, и другим. Как в «Том самом Мюнхаузене» – смех удлиняет жизнь тому, кто смеется, а не тому, кто шутит. Для мамы – дар, она всегда словно в воздушном шаре, наполненном веселящим газом. Для окружающих – боль, а как иначе, если тебе плохо, а самый близкий человек легкомысленно смеется в лицо?

– Ладно, пришла так пришла. Пойдем же ко мне. У меня есть пирожные. Знаешь, мне тут подруга мужчину сосватала, а он кондитер. Ты обалдеешь. Я таких пирожных никогда в жизни не пробовала.

Надя позволила отвести себя домой. Притулившись на шаткой табуретке знакомой кухни, раздвинув горы грязной посуды (мама была маниакальной чистюлей по отношению к своему телу, но в ее доме всегда было возмутительно грязно; посуда не мылась неделями, а окна – годами), она без удовольствия выпила бледноватый чай из

засаленной чашки и, не чувствуя вкуса, сжевала предложенный эклер. А вот мамин аппетит был отменным – ее крупные сахарные зубы впивались в нежное тесто, губы пачкал жирный крем. Насытившись, она наконец заметила:

– А ты что-то грустная сегодня. Женские дела?

Она, конечно, знала про вступительные экзамены, но объема ее памяти не хватило на то, чтобы запомнить точную дату.

– Я не поступила в институт.

– И расстроилась? – преувеличенно бодро воскликнула Тамара Ивановна. – Полно тебе, это ерунда. Ты же не мальчик, армия тебя не ждет.

– А что ждет? – Надя подняла на маму влажные глаза. – Я не знаю, что делать дальше. Наверное, надо поступать в следующем году. А чем весь год заниматься?

– Хорошо, что ты сразу ко мне пришла! У меня есть идея. Помнишь, тетю Нину? Ну, Нину Карачарскую?

Надя помнила. Нина Карачарская и ее волосы. Нина Карачарская и ее браслеты – много-много, серебряных, тонких, при каждом взмахе рукой они словно смеялись. В далеком Надином детстве Карачарская была уже немолода – сильно за сорок. Возраст был ей к лицу, к тому же в какой-то момент ей удалось сделать из времени ручного пуделя. Она перестала меняться, и в кулуарах, конечно, поговаривали о бешеных тысячах, заплаченных пластическому хирургу, но явных улик не было. Нина всегда была на виду, никогда внезапно не исчезала на пару недель, чтобы потом объявиться с отеком лица, гипсом на носу и проработанной легендой об автомобильной аварии.

Нина была художницей, не очень удачливой. И четыре персональные выставки (одна – в Париже), светлая мастерская в мансарде старого московского особняка, соболья шуба до пят и посверкивающие сквозь толщу тяжелых, как у индианки, волос, брильянты – все это дали ей мужчины. Мужчины ее боготворили, женщины – презирали. Даже Тамара Ивановна Сурина, обычно беззлобная и не склонная к пустой зависти, говорила: «Без яркой внешности наша Нинка была бы в полной жопе», а все, кто это слышал, поддакивали, причмокнув.

Однако в середине девяностых все изменилось. Вялая, как морская черепаха, Нина Карачарская проснулась, расправила плечи,

повела носом, хищно принюхиваясь к аромату свободных денег, гуляющему по растерянной стране. Потом купила у вьетнамцев футболку и три ночи вручную расшивала ее бисером, а то, что получилось, продала жене какого-то посла. Хорошие руки, трудолюбие и связи – прошел год, и она зарегистрировала фирму, наняла пятерых помощниц, а потом открыла небольшой магазин.

– Нине нужна помощница. Как раз вчера об этом речь зашла. У нее уволился человек, и ей срочно нужна замена. Могу тебя пристроить.

– Правда? – обрадовалась Надя. – Мам, пожалуйста!

– Нет проблем. – Тамара Ивановна улыбнулась, как фокусник, который вот-вот выпустит из цилиндра белых голубей. – Ты могла бы и шить, подмастерьем будешь, и бумагами заниматься. Набьешь руку, посмотришь, как устроено производство, и в будущем году тебя в твоём текстильном с руками оторвут.

Договорились, что мама свяжется с Ниной Карачарской в тот же вечер, а наутро позвонит Наде.

В ту ночь Надя почти не спала, мучимая счастливыми предвкушениями. Спокойная красивая Нина – лучшей начальницы и не представить. Небольшая контора, такие интересные вещи – Карачарская занималась и батиком, и народными костюмами. Однако утром звонок так и не раздался, да и мамин телефон не отвечал. Два дня Надя не выходила из квартиры. Два июньских дня – солнечных и жарких – были потрачены на пустое ожидание звонка.

И вот наконец выяснилось, что Тамары Ивановны вообще нет в городе. Она поправляет здоровье в Эссентуках – спонтанное приглашение мужчины. Вернулась мама только через две недели, загорелая, с порозовевшими щеками и как будто бы утюгом разглаженным лицом. Привезла Наде подарок – магнит для холодильника.

– А как же Нина Карачарская? – потухшим голосом спросила та.

– Ой! – Загорелая ладошка взлетела к смеющемуся рту. – А я и забыла о ней. Но ничего же страшного, сейчас и позвоним!

Однако выяснилось, что за две недели Карачарская уже успела найти помощника, и больше вакансий в ее небольшом доме моды не было. Тамара Ивановна закусила пухлую губу и развела руки – с

улыбкой провинившегося малыша, который точно знает, что его простят, да еще и умилятся его никчемности.

После этого случая Надя не разговаривала с мамой два месяца, до самой осени.

Хорошо, что была Марианна и ее тетка, открывшая парфюмерный магазин.

Продавать духи было просто и скучно – побрызгал на специальную бумажную палочку, с милой улыбкой рассказал о компонентах аромата, принял деньги и упаковал коробочку в подарочную бумагу – вот и все. Покупателей почти не было. Марианна целыми днями читала журналы и приглушенным шепотом болтала по рабочему телефону. Она ощущала себя золотой рыбкой в ухоженном аквариуме – на своем месте. Надя же скучала у окна. У нее было чувство, что жизнь, так и не начавшись, кончилась.

Парфюмерный магазинчик быстро разорился. У Нади и Марианны уже был опыт – их легко взяли в галерею элитных алкогольных напитков. С тех пор они так и кочевали по магазинам и бутикам, всегда вместе.

А в текстильный институт Надя так и не поступила.

На ультразвуке врач увидел девочку, которую Надя не смогла распознать за нагромождением черно-белых линий. Линии колыхались, как мультипликационное море. В центре экрана пульсировало крошечное – не больше горошины – светлое сердце.

– Посмотрите, она пальчик сосет, – умилялась линиям докторша. – Вы уже решили, как назовете? Почему не взяли с собой ее отца?

Надя хотела было возмутиться последнему вопросу. Она считала Москву достаточно феминистским городом для того, чтобы люди не спрашивали взрослую женщину о том, где ее муж, да еще и с таким отвратительным умильным выражением лица. И не смотрели косо, если мужа нет. Но в последний момент проглотила гневную реплику, и она колючим меховым шариком застряла в горле.

Ей придется привыкнуть.

Лучшая тактика – вообще не обращать внимания, не чувствовать обиду. Современная Москва, может быть, и пропитана идеями феминизма, только вот и мультфильмы, и стихи Агнии Барто, и книжки для детсадовцев, и сценарии детских утренников – все это

существует под лозунгом «папа, мама, я – счастливая семья». И рано или поздно придется объяснять дочери отсутствие одного из компонентов священного триумвирата.

Надя честно старалась и продержалась «незамеченной» до восемнадцати недель беременности, но потом живот взбунтовался с категоричностью отрока, вступившего в опасный возраст, когда наиболее благодатным выбором кажется то, чего не хотят твои родители. Он словно был обижен на Надю за то, что та его прячет. И начал расти в какой-то странной плоскости – как будто бы внутри нее раздувалось огромное яйцо, острый конец которого был обращен к миру.

Живот выиграл с разгромным счетом, а Надю вызвал «на ковер» старший менеджер бутика. Некая Наташа, высокая холеная холодная девица, которая считалась бы красавицей, если бы не выражение лица. Выражение лица было таким, словно она исподтишка брезгливо приноживалась к собеседнику.

– Думаю, вы понимаете, почему я вас позвала, – сказала Наташа, вертя в руках серебряную десертную ложку.

Она сидела за небольшим офисным столом, в глубоком кресле, перед ней был чай и диетический салат из проростков, Надя же стояла, руки по швам, как первоклассница перед строгим директором школы.

Пришлось ответить:

– Понимаю... Но я хотела бы сказать в свою защиту.

– А мы не на суде. Нет, я не говорю, что вы должны уйти прямо сейчас. Завтра я позвоню в кадровое агентство. Вы – толковый работник, не думаю, что они найдут замену за два дня.

– Но я себя отлично чувствую. Я все тот же толковый работник. Разве я взяла хоть один отгул, хоть один...

– Да мне все равно, – улыбнулась Наташа. Она была из тех редких людей, кому улыбка не к лицу. – Я поставила вас в пару. Одна – эффектная, другая – толковая. Замену эффектной найти было бы проще.

Надя не знала, на что ей обижаться больше – на то, что ее в лицо называли серой мышью (да еще и выставив так, будто бы «мышиность» – бонус), то ли за то, что ее лучшую подругу, которая так старается соответствовать (а втайне даже лелеет амбициозные планы открыть собственный бутик), все равно считают бестолковой.

– Считаю, что будет честным, если я дам вам две недели. И премию, конечно.

– Но куда же я...

– Вы не обижайтесь, Надя. Но ко мне в половине пятого придет наш новый байер. Мне хотелось бы успеть пообедать.

Эту унижительную манеру подобным образом заканчивать разговор сама Наташа почему-то считала европейской.

Так Надя потеряла работу.

– А почему бы тебе не начать шить? – предложил Борис.

Как всегда, был вечер среды. Как всегда, они пили кофе с молоком у огромного окна. Как всегда, их принимали за счастливую пару, ожидающую малыша, и, как всегда, Наде казалось это лестным, а Борису было все равно.

Борис был единственным, кто не проявил к ее пустоте ожидаемого сочувствия. Он был из тех, кто считает сочувствие непродуктивным.

– Наденька, в самом деле, ну почему? Ты же рассказывала, что в детстве мечтала как раз об этом.

– Да ну, глупости, – поморщилась она. – Ты наверняка мечтал стать космонавтом или пожарным, так что же теперь.

– Я мечтал стать заключенным, – улыбнулся он. – В моей детсадовской группе была девочка, самая красивая. Она однажды сказала – давай играть в тюрьму. У нее отец сидел. И заперла меня в кладовке на целый день. Иногда заходила и говорила: «Третья камера, все построились, руки на стену!» Хотя я был там один. А воспитатели решили, что меня раньше забрали из сада. Вечером, когда я нашелся, все жутко испугались. Но я ее не выдал.

– Как мило.

– Но мне было пять лет. А ты сама себе шила.

– Марианке тоже, – улыбнулась Надя. – Но у нее мать нормальная была. Отдавала ей платья старые, а я их перекраивала. Мне казалось, что получается нечто в стиле Мадонны. Сейчас, конечно, понимаю, что это был ужас-ужас.

– Но вот ты можешь сшить платье по выкройке?

– Ну... Могу в принципе. Что сложного? По выкройке все могут.

– Хорошо. А если ты посмотришь на платье, повертишь его в руках, то сможешь повторить фасон?

– Не знаю, – нахмурилась она. – Если он не очень трудный и если есть подходящая ткань... Наверное, смогу.

– Ты просто посмотри по сторонам, что продается вокруг. Либо вещи, которые мало кому по карману, либо ширпотреб с кривыми швами.

– Ты-то откуда знаешь? – рассмеялась она. – Не похож ты, Боря, на модника.

– У меня жена все-таки, – развел руками Борис, и его улыбка была как пощечина.

Надя в очередной раз подумала о том, как странны и ненормальны эти отношения. Любовник ее лучшей подруги. Не просто любовник – любимый мужчина. Который видит в ней, Наде, непонятно кого – друга? пациента? Который ей – что уж скрывать и малодушничать – нравится, нравится как мужчина женщине. Который невозмутимо говорит о жене, и Надя чувствует себя двойной предательницей. Двойной – потому что не рассказала Марианне об этих встречах-посредам и потому что позволяет ему рассказывать о теневой стороне луны. Интересно, он знает, что думает о его браке Марианна?

Весь вечер Надя об этом думала. В пустой квартире думать удобно – не отвлекает никто. Она нашла на антресолях старые журналы «Vugda» и убедилась, что представленные там модели вполне носибельны – после небольшой творческой обработки. В конце концов, винтаж в моде. В России, правда, эта мода не очень прижилась – люди слишком ярко помнят нищее прошлое, чтобы позволить себе носить вещи с чужого плеча. Но уже выросло новое поколение, не знавшее голода, – выросло и стало платежеспособным. Эти девочки отправляются в Лондон, чтобы на знаменитой Portobello road купить у пропахшей марихуаной и нафталином экстравагантно одетой торговки платье, как у топ-модели шестидесятых Твигги – той, что ввела моду на худобу, веснушки и короткие юбки. Конечно, хитроглазая торговка обманет и подсунет восьмидесятые, а то и вовсе новодел, но в сопровождении легенды о том, что сама Кейт Мосс покупает здесь наряды для вечеринок, косорылое платьишко покажется мечтой.

Надя же могла бы предложить что-то по-настоящему интересное, точную имитацию стиля.

И вот наконец у нее загорелись глаза. Отпихнув ногой стопку журналов, она помчалась к антресолям, где годами хранила барахло.

Надя была не из любителей прозрачного минимализма, ей всегда было жаль избавляться от вещей. Выбрасывая вышедшее из моды платье, она чувствовала себя так, словно выгоняет на мороз состарившегося пса. Как будто знала, что однажды настанет день, когда эти выцветшие кружева и толстые синтетические юбки сыграют в ее жизни фатальную роль.

У Нади не было денег. Совсем. Она оплатила контракт в роддоме, прикинула, сколько надо отложить для детского приданого, кое-что положила на сберкнижку – воспитанная легкомысленной мамой, она все же успела перенять бабушкин священный ужас перед мифическим «черным днем». Тогда и выяснилось, что отныне и единый проездной в ее денежной амплитуде отдалился от незаметной мелочи в сторону недостижимой роскоши. Она не могла себе позволить купить новую ткань. Но у нее были платья, плащи, юбки, даже скатерти и шторы. Весь вечер она, бормоча, ворошила тряпье, как сумасшедший старьевщик, и сортировала по пакетам. Там же, на антресолях, нашлась и разобранная старая швейная машинка – сейчас такими никто не пользуется, но Надина нога еще помнит старенькую педаль.

Она разволновалась так, что не смогла уснуть, – впервые за последние дни в ее жизни появилось что-то светлое, дающее надежду. Надя вынесла к мусорным контейнерам компьютерный стол мужа, а его место заняла швейная машинка.

В итоге, к четырем часам утра она сшила три балетные пачки-шопеновки – пышные, как безе из итальянской кондитерской, и раскроила ткань для будущего платья.

А когда небо посветлело, заварила ромашковый чай и, разложив юбки на спинке старого дивана, любовалась с улыбкой. Они были похожи на сброшенные крылья ангела. Пачки-шопеновки в моде, цену она поставит невысокую, их должны быстро купить. Вырученные деньги пойдут на ткань. Она сделает сайт, зарегистрирует блог, на Марианнином цветном принтере напечатает флайеры. Начнет брать заказы, а может быть, и свои модели создавать. Родится малыш, ну и что. Маленькие дети много спят – в это время Надя сможет шить в кухне. Все наладится. Она – не в пропасти.

Это не просто скомканные юбки лежали на диване, это Надино будущее лукаво подмигивало ей из-за угла.

Балетные пачки и правда разлетелись быстро, даже сайт не понадобился. Надя сфотографировала их, разместила объявления на популярных интернет-форумах, и уже на следующее утро за юбками приехала молчаливая бледная девушка, похожая на фарфоровую принцессу. Купила сразу три и сказала, что если Надя сошьет еще, то она с удовольствием возьмет. На девушке была шляпка с чуть порванной вуалью, и она казалась не от мира сего. Надя пожалела, что запросила так мало.

Но это было начало.

Из шести старых платьев получилось одно – странное, лоскутное, в рваной бахrome. Америка, шестидесятые, голос Джимми Моррисона из динамиков, улыбочивые длинноволосые дети солнца с гитарами и священной пустотой в глазах. Задыхаясь от осознания собственной наглости, она решила объявить космическую цену – триста долларов. Через неделю платье купила длинноногая надменная девица, которая вошла в Надин дом на шпильках, оставляющих вмятины на паркете, и брезгливо поморщилась на невымытые окна.

Надя купила ткань. Сшила еще шопеновок, разноцветных, как леденцы, шляп-таблеток с вуальями, несколько платьев в стиле пятидесятых годов. Из обрезков получились броши-цветы. Купила павлопосадских платков и сшила из них пончо. Шила она быстро и весело – творить нравилось гораздо больше, чем продавать. Получая от покупателей деньги, она почему-то чувствовала себя немного мошенницей, хитроглазой Лисой Алисой.

Борис сделал ей сайт – с пошловатым доморощенным дизайном, но все-таки лучше, чем ничего. Теперь по утрам Надя шила, а по вечерам сидела в Сети, как рыбак у моря.

Наде приснился сон, которому позавидовали бы и Иероним Босх, и Терри Гиллиам. Во сне Борис показал ей огромную жемчужину с неровными бело-розовыми боками. А потом привязал жемчужину к воздушному шару и с улыбкой фокусника запустил его в небо. Надя следила за удаляющимся красным пятнышком в детском ожидании чуда. Во сне она не была беременной, и на ней был легкий белый сарафан. Когда воздушный шар был проглочен рыхлым комкастым облаком, Борис перестал улыбаться и сказал: если сумеешь найти жемчужину, мы будем вместе.

И Надя побежала искать – почему-то по Большому Каменному мосту. А на середине беспричинно остановилась, посмотрела вниз и увидела гигантских червей с переплетенными в нервном танце склизкими телами. Вдруг один из червей перевернулся, и у него оказалось лицо Данилы.

Не было ни страха, ни брезгливости – только облегчение.

«Так вот почему он так себя повел, – подумала Надя во сне. – Такова его природа». В тот же момент она поняла, что воздушный шар улетел от нее навсегда. Когда-нибудь он упадет на землю, но будет подобран кем-нибудь другим, не Надей. Кем-нибудь, для кого и шар, и жемчужина, и Борис будут неожиданностью.

Может быть, это и правильно, потому что у неожиданного счастья выше градус. Предвкушение и борьба обесценивают результат. Потому что реальный мир никогда не сможет конкурировать с придуманным.

Небеременная Надя в белом сарафане вбежала в первый попавшийся бар и заказала тройную текилу. Барменшей оказалась Марианна, ее смуглые тонкие руки были покрыты уродливыми татуировками.

– Я должна кое-что тебе сказать. – Она без улыбки смотрела куда-то мимо. – Про жемчужину. Это фальшивка. Она пластмассовая. Он купил ее в галантерее, за двадцать пять рублей. Важно, чтобы ты узнала. Все мужчины – фальшивка.

Надя проснулась, взволнованная и потная. Погладила живот, хотя малыш был погружен в дельфинье самадхи, которому не мешали конвульсии Надиного сердца.

Она прошлепала босыми ногами в кухню, зажгла ароматическую палочку «апельсин-корица», заварила сушеную мяту.

Остался неприятный осадок.

Хотелось позвонить Борису – хотя она никогда не решилась бы сделать это и днем, не то что на рассвете.

Хотелось позвонить Марианне – убедиться, что она по-прежнему нервная и веселая, а вовсе не холодная и отстраненная, как во сне. Но и это было невозможно – Марианна считала сон священным. Засыпала, как будто уходила в монастырь. Отключала телефоны, обрубала все мирские связи.

Хотелось позвонить Даниле и сказать, что она поняла его природу, а понимание – значит прощение. Но это было бы глупо. Во-первых, он

не один, он обнимает татуированную, сонно сопит в ее висок. Вторых, через несколько часов странный сон выветрится, и Надя поймет, что все не так, червячье существо – просто аллегория, а она – не настолько мудра и великодушна, чтобы простить подлость.

Поэтому она просто выпила мятный отвар; без удовольствия, по-овечьи сжевала найденный в холодильнике пончик в шоколадной глазури, потом поставила без звука «Завтрак у Тиффани» и уснула в кресле перед телевизором, уткнувшись носом в пропахший Данилиными сигаретами плед.

Тридцать пятая неделя. Живот рос как укутанное одеялом дрожжевое тесто, и Надя чувствовала себя немножко не собою. Она не видела своих ног, не могла сама завязать шнурки. Неповоротливый пятипалубный корабль.

Иногда, конечно, срывалась – наедине с собою. Окружающим казалась спокойной и ровной, а некоторым – даже и вовсе счастливой, а дома накатывало, особенно ближе к ночи. Она чувствовала себя несправедливо обиженной, покинутой, насильственно запертой в вакуумный мешок. Бывало, просыпалась среди ночи в панике – сердце колотилось в ритме автоматной очереди, руки тряслись, лоб щеконала испарина. Тогда она укутывалась в халат, наливала себе немного белого вина и, сидя на подоконнике, оплакивала несложившуюся жизнь. Поступок Данилы не укладывался в голове, воспринимался подлой подножкой. Уйти с таким легкомыслием, с таким оскорбительным шиком, в такой сложный для нее момент. Но самым обидным, пожалуй, было то, что Надя чувствовала в произошедшем и свою вину. Она могла всего этого не допустить. Она бы могла предсказать все это заранее, остановиться в любой момент – когда он подошел к ней на Воробьевых, когда он предложил переехать, когда неприятноприторная администраторша загса спросила: «Вы согласны?» – и посмотрела сначала на грязные джинсы Данилы (брезгливо), а потом на Надю (сочувственно); когда она поняла, что месячных нет довольно давно, когда Марианна привела ее в клинику. В любой момент она могла принять решение, и ничего этого не было бы. Все можно было прочитать заранее.

Она старалась держать себя в руках и даже училась быть счастливой.

– Представь, что ты – персонаж компьютерной игры, – советовал Борис. – И сейчас ты перешла на более сложный уровень. Обстоятельства изменились, играть стало труднее. Но это значит, что у тебя есть шанс набрать больше баллов.

Ему легко было говорить. Он-то как раз находился на новичковом уровне – безмятежное счастье, дома расслабленная жена целует его макушку, в отеле страстная любовница рвет его рубашку.

Но, как ни странно, совет помог. Каждый раз, когда к горлу подступала саднящая горечь, Надя вспоминала, что она всего лишь персонаж игры, и ее единственная цель – выжить и заработать бонусные очки. Она как бы смотрела на себя со стороны, анализировала свои чувства с позиций кого-то другого – наверное, буддийского Внутреннего Свидетеля.

Данила снова появился в ее жизни как цунами – неожиданно, разрушая все на своем пути.

Просто однажды рано утром, Надя еще спала, раздался звонок в дверь. Она закуталась в плед и неповоротливой медузой поплыла по коридору, пытаясь разлепить глаза. В последнее время она просыпалась уже уставшей.

А за дверью были они – Данила и Лера. Молодые, свежие, ясноглазые, и будущее их было, в отличие от Надиного, непредсказуемым, и это газировало их кровь. Она даже отшатнулась – как ей противно стало, и стыдно, что она такая распустиха, беременная, в старом пледе, с зубами нечищеными, а они – как модели из рекламного проспекта. Хотела захлопнуть дверь, но разве коровья медлительность может оказать сопротивление кошачьей резкости? Данила успел поставить ногу в проход. Он был обут в тяжелые мотоциклетные ботинки. Он улыбался. Хотелось разбить ему лицо.

Лера маячила за его спиной, красивая и равнодушная.

– Что же ты так негостеприимно, – с ухмылкой пожурил ее Данила. – Мы ненадолго. Чаем угостишь?

– Мог бы хотя бы позвонить, – буркнула Надя, испытывая к себе отвращение за неумение говорить «нет».

Она юркнула в ванную, наскоро умылась и почистила зубы, кое-как причесалась и переделалась в домашнее платье, которое наполнило и было украшено пятном от кетчупа, но другой одежды в ванной не оказалось. Когда Надя вернулась в кухню, незваные гости уже пили

чай – да еще и не пустой, а с купленной ею шоколадкой «Моцарт». Дорогой шоколад был ей по-прежнему не по карману, но иногда Надя себя баловала. Почему-то эта шоколадка добила, а еще она вдруг заметила, что они не сняли обувь, и ей теперь придется мыть пол, беременной. У нее задрожала губа. Плакать было так унижительно, но не плакать – невозможно.

– Эй, чего это ты, – словно удивился Данила. – Садись с нами. Я тебе вот тоже чайку налил.

– А шоколадку мне тоже можно? – выдавила она. – Данил, ты понимаешь, что у меня, вообще-то, денег нет? Ты ушел просто так, ничего мне не оставил, а сейчас впираешься без предупреждения и жрешь мои продукты?

– Как это отвратительно, – покачала головой Лера. – Те, у кого по-настоящему денег нет, едят шоколад «Аленка». Или вообще гематоген.

Если Даниле мечталось разбить лицо, то эту наглую девку хотелось просто убить, раздавить, как таракана, чтобы ее не было, чтобы она не смотрела своими мутными рыбьими глазами, чтобы не ухмылялась так, чтобы не делала вид, что она тут ни при чем. Чтобы ее не было – не было совсем.

– Ничего не оставил? – прищурился Данила. – Вообще-то я квартиру тебе оставил, разве этого мало? Кстати, по этому поводу я и пришел.

У Нади сжалось сердце, она осторожно опустилась на табуретку. Естественно, эти двое заняли удобные стулья, а ей оставили шаткий табурет. О квартире она много думала. Это была квартира Данилы. Разменять ее без доплаты было невозможно – на самой окраине, однокомнатная, в панельном доме, тесная, линолеум вздут, паркет исцарапан, плитка в ванной отваливается. Прекрасно понимала она и то, что, случись суд, ей ничего не светит. Втайне надеявшись на благородного дона, притаившегося в склизкой мерзлоте Данилиной души, она понимала, что надежды эти, скорее всего, пустые.

Так и вышло. Озвучить страшное было доверено Лере.

Надя поняла, что и разговор они репетировали, и роли распределяли. Быстрый обмен взглядами, Данилин короткий кивок, и вот уже Лера говорит, с истомой мультипликационной Багиры растягивая слова:

– Нам нужно где-то жить, понимаешь? Все это время мы снимали квартиру. Думали, что ты в беде и трогать тебя нельзя. Но птичка принесла на хвосте, что ты теперь зарабатываешь, и неплохо.

– Ага, миллионы. – У Нади закружилась голова. – Вот думаю, что купить в следующем месяце: виллу в Сен-Тропе или ночь с Хавьером Барденом?

– Не юродствуй, – поморщился Данила. – Мне правда неприятно, что все так вышло... Но надеюсь, ты способна войти в мое положение. Я не работаю, Лера – работает кое-как... А у тебя все-таки стабильные деньги.

– Данил, ты спятил? Мне рожать со дня на день! Еще ничего не куплено, а сколько всего надо! Детский контракт в хорошей клинике, коляска, которая сможет проехать по этой долбаной грязи!

– Можно переехать в центр, там чисто, – лениво заметила Лера, доедая шоколад.

И тогда Надя не выдержала. Откуда только прыть взялась, и сила, и резкость. Если бы ей показали это со стороны, она бы не поверила, подумала: куда мне, я беременная, отечная, опухшая, медленная. А ведь метнулась через стол, как рысь, вцепилась в белые патлы, дернула так, что прядь осталась в сжатом кулаке.

– Пошли отсюда вон, пошли отсюда вон оба!

И словно сквозь пелену алую видела, как испуганный Данила держит за плечи визжащую Леру, как они пятятся к выходу. И это была победа, правда, короткая. Потому что последним, что услышала Надя, прежде чем за ними не захлопнулась дверь, а сама она не рухнула без сил на прохладный пол и не захлебнулась рыданиями, было:

– На сборы тебе две недели. Надеюсь, обойдемся без судебных приставов, но если что – не побрезгуем и ими... Совсем ты распустилась, мать, нельзя быть такой озверевшей.

Две недели.

А через две недели у Нади ПДР – предполагаемая дата родов.

Она рыдала прямо на полу, в прихожей, уткнувшись носом в помятый носок старой лакированной туфли, все повторяя, как заведенная: «Скоты, скоты, скоты...»

– А почему бы тебе не пожить у нас? – неожиданно предложил Борис.

– Что? Что значит – у вас?

– Ну, у меня же дача, в Загорянке. Там хорошо – воздух и сосны. Можно переждать там последние дни до родов, ну и потом. Поживешь на природе, придешь в себя, а там я что-нибудь придумаю. У меня есть знакомый риелтор, найдем тебе недорогую квартиру на съём... К своим же ты возвращаться не намерена?

– Я думала жить у бабушки... Только вот тяжело. Она же совсем никакая. Почти не ходит и почти не говорит, но смотрит так живо и зло. Мне будет трудно.

– Да и не надо тебе такой энергетики, – поморщился Борис. – Пусть твоя мать хоть раз возьмет на себя ответственность. Поухаживает за ней, пока ты рожаешь и приходишь в себя... В Загорянке, правда, условия скромные. Зато Света тебе поможет.

– Света?

– Ну, моя жена. Она там постоянно живет, каждый год, как минимум до октября.

– Я не знаю... Сомневаюсь, что Марианке такое понравится.

– Может, тогда поедешь жить к Марианке? – насмешливо предложил Борис.

Который, разумеется, знал, что Марианнина тесная квартира менее всего приспособлена для едва родившегося малыша. Там всегда надушено и накурено, там продирают глаза к полудню и на протяжении полутора часов принимают душ, по вечерам пьют виски и слушают Эмми Вайнхаус, там скудный свет, покрывала из пушистого синтетического меха, а на стене висит огромная фотография хозяйки дома в неглиже. Отличная атмосфера – для воспитания опасного психопата.

Все Наде сочувствовали, все пытались дать совет, но что-то конструктивное предложил только он, Борис.

Мама сказала: а давай сходим к гадалке. Мне рассказывали о бабке одной, живет в Вологде. Берет недешево, но оно того стоит. Может даже обратно Данилу приворожить.

Марианна сказала: а давай найдем амбалов, чтобы те объяснили этому мудаку Даниле, что нехорошо оставлять беременную женщину без жилья. Пока он будет лечиться, ты десять раз успеешь и родить, и встать на ноги.

Бабушка сказала (вернее, прохрипела едва слышно): неудачница. Жалкая, жалкая, жалкая неудачница.

И только один Борис сказал запросто: а переезжай ко мне, я помогу. Ты просто живи, а я все устрою, сделаю все за тебя.

Подумав несколько часов, Надя решила: да гори все огнем, это же шанс – не то чтобы на счастливую жизнь, но хотя бы не сойти с ума. Она быстренько сложила в старый чемодан немного одежды, упаковала «родовую сумку», разобрала и аккуратно перемотала скотчем швейную машинку, – работать она собиралась до последнего дня беременности. Маленький ноутбук, зубная щетка, балетная пачка из свежей партии – подарок Светлане, которая вынуждена будет потесниться ради незнакомой женщины, оказавшейся в беде.

Светлана – отдельная глава этой странной истории. Перспектива встречи с нею и пугала, и завораживала. Наде было до жути интересно посмотреть в глаза женщине, которая не считает изменяющего мужа кобелем, которая продолжает любить и прощать и не выглядит при этом (во всяком случае, по словам самого Бориса) жалкой приспособленкой.

– Ты волнуешься так, будто я тебя знакомлю с родителями, – подтрунивал Борис, когда они подъезжали к Загорянке.

Надя была знакома с Борисом чуть меньше года, но впервые оказалась в его авто. Здесь пахло ароматическими сандаловыми палочками и тихо играл рок. Она концентрировалась на чем угодно – слишком густом и душном запахе, музыке, которая была ей в целом чужда, пыльных деревьях за окном – только бы не думать о самом главном.

Светлана встретила их у калитки. Она была именно такой, какой описал ее Борис. И разумеется, оказалась совсем не похожей на обрывки образа, нарисованного Марианной. Довольно высокая, плотная, светловолосая, сильно загоревшая, расслабленная. Красивая или нет – даже не поймешь. В любом случае она была из тех людей, в которых красота если и присутствует, то уж точно не солирует. Неважно, есть она вообще или нет, когда умеешь так красноречиво смеяться взглядом.

На ней был выцветший сарафан в пол и мужская рубашка, узлом повязанная на животе. Широкие босые ступни все в пыли. Казалось, ей было наплевать на то, какое впечатление она производит. Впрочем, улыбка была открытой и приветливой, будто Света и правда обрадовалась незнакомой беременной женщине.

Приветственный поцелуй, едва уловимый запах земляники и жасмина.

– Проходите на террасу, я сделала вам гаспаччо и лимонный торт... Только не думай, что у меня так всегда, я обычно ленивая... Давай с сумкой помогу.

Надя даже попятилась от такой энергичности.

Светлана легко подхватила чемодан – одной рукой. Она была как ветер – легкая и не раздражающая в своей суетливости. Надя всегда считала, что в ДНК Марианны есть гены ветра, но куда той было до Светы. Марианна – как разыгравшаяся кошка, Света – как дискотечный неоновый луч. Движения ломкие, быстрые и точные, смех – сочный, голос – громкий.

Дача была небольшой – старый дощатый домик с недавно пристроенной летней террасой. Зато на огороженной нарядным забором территории росли пышнолапые сосны и был вырыт темноводный искусственный пруд. Здесь было безмятежно, как в детстве. И так же, как в детстве, жужжали жирные комары, пахло яблоками и теплым тестом, а вдали кричали дети.

Для Нади заранее подготовили комнату – и это было приятно. Она понимала, что едва ли хозяйке дома в радость такая неожиданная обуза, но видела – Света выстирала простую льняную штору, до блеска натерла зеркала. Комната была небольшой, пустой и светлой. Надя развесила платья в шкаф, поставила на полки книги, а на стол – любимую ароматическую свечу, собственную черно-белую фотографию в латунной рамке (на фото – Надя молоденькая, безмятежная и трогательно роковая), и комната приобрела обжитой вид.

Сквозь всегда полуоткрытое окно Надя видела кусочек выцветшего неба.

Марианна, узнавшая о том, что ее обманули, – это ураган и цунами, священная разрушительная сила, рвущая в клочья все, что встречается на пути. Стирающая с земной плоти города, поворачивающая реки, ставящая океаны на дыбы. Надя десять раз пожалела о том, что была честна. С другой стороны, у нее не было выхода – с Марианной они были слишком близки, чтобы и дальше скрывать правду. Рано или поздно она бы и так поняла, где находится

Надя, и отсрочка добавила бы во вкус предательства дополнительную горчинку.

Сначала Марианна не поверила. Зелеными своими глазищами, широко распахнувшимися от изумления, смотрела на ту, кого много лет считала лучшей подругой, – смотрела с недоверчивым недоумением.

А Надя, потупившись, рассказывала – все с самого начала, о том, как Борис подошел к ней в кафе, о том, как они впервые встретились в «Старбаксе», о его странном рассказе и странной миссии. Надя намеренно умолчала о своих двойственных чувствах, о том, что она долго, почти до самого последнего, не могла разобраться, как она относится к Борису. То это было почти вожделение, замешанное в высокоградусный лонг-дринк с почти ревностью, то просто тепло чужой ладони, греющее твою руку, когда холодно и хочется плакать. Она умолчала обо всем этом, понимая, что это будет жирной чернильной точкой для дружбы, которую Надя все же надеялась сохранить.

О, как кричала Марианна, как она нервно мерила широченными шагами комнату, и даже каблуки ее стучали как-то особенно воинственно, как она прятала взгляд, не давала Наде за него уцепиться!

– Как ты могла?! Столько дней скрывать от меня? Я больше никогда не смогу тебе верить! Ты понимаешь, никогда! – Ее лицо, покрытое тонким слоем дорогой золотистой крем-пудры, некрасиво покраснело. Вспотевшей пятерней Марианна нервно провела по челке. Она была не похожа на себя саму, и это было страшно.

Да еще и ребенок устроил китайский цирк в Надином животе. Казалось, она только что чувствовала у ладони крошечные бугорки его выпирающих пяток, и вот уже она гладит вроде как голову, а потом опять пятки. А может, это все ей кажется, потому что с пространственным воображением у Нади всегда было туговато.

Марианна вела себя как жена, уличившая мужа в интрижке с хорошенькой продавщицей галантереи. В какой-то момент в потоке ее речи даже проскользнуло: «Я верила тебе столько лет, лучшие годы моей жизни!», будто она участвовала в водевиле, написанном спившимся и отчаянно лажающим сценаристом.

Надя пробовала активировать логику подруги.

– Марьяш, но ведь ничего между нами не было... Я жутко жалею, что не сказала тебе... Но Борис мне здорово помог, как психолог. Поверь, никакого романа у нас никогда не намечалось. Я бы не смогла так с тобой.

Но разве у извергающегося вулкана есть логика?

За пятнадцать минут извержения Надя услышала о себе многое: и то, что дружить с нею можно лишь из жалости, и что, конечно, ревновать к такой, как она, бессмысленно, и что Марианна всегда была паровозом, а Надя – прицепившимся к ней вагончиком, а вагончик, как известно даже детям, не самоходен, так что без нее, Марианны, Надя – пустое место, пустое место, пустое место.

Помнила ли Марианна о том, что «пустое место» – волшебный пароль, как джинна из бутылки вызывающий из недр Надиного подсознания серую вуаль тоски? Может быть, и помнила. Надя много раз рассказывала ей о бабушке, в детстве – с обидой и подступающими слезами, позже – с попыткой шутить. Но Марианна всю жизнь была настолько заиклена на себе самой, что информацию о других усваивала дозированно. Например, каждый год забывала поздравить Надю с днем рождения. Никогда не помнила, что у Нади аллергия – вплоть до отека Квинке – на арахис. Зато могла ни с того ни с сего сказать: «А помнишь, как в седьмом классе тебе нравился некто Петя и ты писала ему записочки? Представляешь, вчера встретила его на улице, он превратился в жирное чудовище, так вот радуйся, что у вас тогда не сложилось!» И Надя не сразу, но вспоминала, что и правда, был какой-то Петр, учился двумя классами старше, относился к Наде, разумеется, как к безликой мелюзге, и над знаками ее внимания безобидно подтрунивал.

В тот вечер она вернулась домой – вернее, в свой новый, условный дом – с тяжелым сердцем. Борис, конечно, сразу понял, что случилось, и с расспросами не приставал. Они со Светланой поужинали вдвоем, а для Нади оставили на столе тарелку картошки, жаренной с лисичками.

А ночью Надя все ворочалась, не могла уснуть. В комнате было светло – полнолуние.

– Ты медуза, Надя, – сказал однажды Борис. – Желейная медуза, которая плывет туда, куда несет ее волна, и у которой даже нет красивых ядовитых щупалец.

Пили чай на остывающей веранде. Солнце сначала было красным и круглым, как в мультфильме, а потом и вовсе утонуло за чужими покосившимися дачками.

Светлана испекла шарлотку с грушами – такую нежную, что Надя, поклявшись на джинсах сорок четвертого размера, что больше она ничего калорийнее огурца в рот не возьмет, съела четыре куска.

А у Светы и Бориса – любовь, возродившаяся как птица Феникс. Вот она – стряхивает пудру серого пепла с цветных еще влажных перышек, поводит твердым клювом и удивленно оглядывается по сторонам.

Утром, когда они собирали упавшие яблоки в эмалированные миски с отколовшейся эмалью, Света призналась, что это не подарок судьбы, а многократно отыгранный сценарий. Так бывает всегда.

– Я знала, что так будет, – с улыбкой призналась Светлана, и не было в этом никакой нарочитости, позы. В движениях – размеренное спокойствие, яблоки одно за другим аккуратно отправляются в миску. – Разве что это самый затянувшийся его роман. Раньше были интрижки.

– Но неужели тебе не больно? – удивлялась Надя. – Я просто слишком хорошо помню, как это было...

– Как было что? – прищурилась Света.

– Как я просыпалась в поту, как проверяла его мобильник, как мне впервые рассказали о его интрижке и какой ненужной и никчемной я себя почувствовала... – Она поежилась, несмотря на то что солнце было таким же горячим и ласкающим, как минуту назад. – И когда я узнала, что у него девушка... а я беременна. И я считала, что я в безопасности, что беременность – это как талисман...

– Вся разница между нами в том, что я никогда не обольщалась, – Света вздохнула и покачала растрепанной белокурой головой. – Мне нравится любить настоящих людей, а не придумывать их... Пойдем чайку выпьем, я тебе подробнее объясню.

Они переместились на веранду. Стояли последние дни бабьего лета, небо было бело-голубым, а пчелы жужжали так безмятежно, словно время остановилось. Света разлила по пиалам прохладный зеленый чай, высыпала на блюдечко клюкву в сахаре. Надя, проглотив одну, подумала, что она и сама стала как эта клюква. Снаружи припорошена напускной благодатью, ходит и улыбается, даже шутит,

даже метко иногда, а внутри – горько-кислая, что в общем-то типично для уроженки темных болот. Света же похожа на медовое яблоко – цельная и свежая.

– Понимаешь, мало кто умеет любить настоящих людей. Мы с Борей об этом много говорили. Одна из его любимых тем. К нему в центр в основном приходят так называемые влюбленные.

– Так называемые? – усмехнулась Надя.

– Да невротики обычные, расплодилось их... Сами не понимают, чего хотят. Обижаются на жену за то, что она не похожа на мать. А когда им это разжевываешь, обижаются уже на психолога... Была вот недавно девушка одна, после попытки самоубийства. Хрестоматийная история. Двадцать лет. В юности была фанаткой Джонни Дэппа, фотографии собирала. И влюбилась в университете в мальчика, у которого была такая же стрижка. А он – в нее. С жутким скандалом уехала из родительского дома, они стали жить вместе. У нее родители консервативные. А через полгода он обрился наголо. В йога-клубе посоветовали. И с тех пор все пошло не так. Ссоры, сплошные недовольства. Девочка в депрессии. И в какой-то момент она дошла до ручки и шагнула в окно. Хорошо, что этаж – третий. Сломала позвонок и два ребра – можно сказать, отделалась легким испугом. Начали разбирать потом по косточкам и пришли к тому, что он перестал быть ее идеалом. Когда она встретила его, поверила, что идеалы существуют, а когда он обрился наголо – до нее вдруг дошло, что он – суррогат, имитация.

– А почему ты говоришь, что случай хрестоматийный? Девочка-то на всю голову больна.

– Девочка-то – да, – усмехнулась Света. – У нее все до абсурда доведено. Но отчасти так поступает большинство. Влюбляется не в реального человека, а в придуманный образ. В волосы Джонни Дэппа. Первая стадия – наполняет этот образ чертами, начинает искать в каждом жесте доказательство существования этих черт. Вторая стадия – разочарование. Потому что человек не оправдал ожиданий. Не глупо ли?

– Хочешь сказать, что вы с Борисом с самого начала договорились о честности?.. И не притворялись? Совсем-совсем? – не верила Надя. – То есть он так тебе и сказал – Свет, мол, ты, конечно, девушка

хорошая, но я – знатный потаскун. И тебе совсем-совсем не хотелось его изменить?

– Да фигня это все. Нельзя изменить взрослого человека, наивно на это надеяться... Нет, я, конечно, переживала... С другой стороны, он никогда не давал повода сомневаться, что меня любит.

– Ну как это? Любит тебя, а трахает всех подряд?

– Во-первых, не всех подряд. Если бы он был банальным кобелем, я бы с самого начала не влюбилась, – рассмеялась Светлана. – Во-вторых, мне это трудно даже словами объяснить. Вот Боря бы тебе сейчас все разжевал, он это любит. А я... У меня просто никогда не было сомнений, что мы – вместе, а все остальное – так... Атмосфера доверия была в семье. Я точно знала, что он мне не врет. Ему не было смысла врать, потому что я дала ему полную свободу – не формальную, а настоящую, честную.

– И что, у тебя никогда не возникало желания, например, отомстить? – Надя посмотрела на длинные загорелые Светины ноги. Накачаные, как у Анны Курниковой. – Вон ты какая хорошенькая, наверняка охотников много.

– Да пойми, это же глупо! Нет, если мне захочется быть с другим мужчиной, я не буду себе отказывать в удовольствии, ни минуты не сомневаюсь. Но это будет чистое удовольствие, не месть.

Она была такой спокойной. Иконописная глубина в серых глазах. Розовый прыщик на смуглой щеке. Слегка обветренные губы. Такая земная и в то же время нездешняя.

– И ты думаешь, что Борис это примет? Такое вот чистое удовольствие? – скептически прищурилась Надя.

– Конечно примет, – уверенно кивнула Света. – Да мне и думать не надо, мы это обсуждали.

– Да мужики только говорят так. А стоит какому-нибудь безобидному коллеге позвонить тебе в полночь, как проблем не оберешься. Мне кажется, все эти свободные браки сводятся к тому, что мужик гуляет, где хочет, а женщина держит марку.

Света не обиделась.

– Ты же видишь нашу семью. Теперь, можно сказать, изнутри. Разве я похожа на несчастную? Ту, которая просто держит марку?

– Значит, вы – счастливое исключение.

– Да нет же, просто мы не боимся быть не как все... Ладно, не грузись, Надюш. Вредно тебе в таком состоянии думать о нервном.

– Хочешь сказать, что... – ей было трудно это произнести почему-то, – у меня с Данилой не получилось, потому что я видела в нем кого-то другого?

– А у тебя были в этом какие-то сомнения? – весело спросил подошедший со спины Борис.

В руках у него был бумажный пакет, из которого торчал аппетитно пахнущий французский багет. Борис был вспотевшим и усталым, Светлана радостно засуетилась, принесла ему ледяной «Тархун». Он выпил залпом и рухнул в старое кресло.

– В электричке народу – тьма. Сто раз пожалел, что не взял машину... А у вас тут весело, девочки, как я посмотрю.

– Да вот, собирали яблоки, пробило на бытовую философию, – улыбнулась Света. – Я пыталась объяснить Надюше, как устроена наша семья.

– И что? Не въехала девочка? Да не смотри ты так на меня, почти никто не въезжает... А про Данилу твоего – я думал, ты и сама понимаешь. Помнишь, мы с тобой однажды говорили об этом?

– Мы о многом говорили, – осторожно сказала Надя. Ей было неловко, что Борис подслушал такой «женский» разговор, да еще и не постеснялся об этом заявить, не кашлянул громко, приближаясь к ним, не сделал вид, что не разобрал ее последней фразы. А теперь ей было так неловко, что хотелось выпрыгнуть из собственного тела.

Света подала ему ужин: деревенский творог с домашним вареньем и чай. Он ел, а она любовалась. Было заметно, что не просто смотрит, а именно любит. Это выглядело так... патриархально и совсем не сочеталось с тем, что Надя только что от нее услышала.

– Помнишь, ты мне рассказывала о своем первом муже? – с набитым ртом невозмутимо спросил Борис. – Как его звали, не помню... Олег?

– Егор, – нехотя подсказала она, оглаживая живот.

В последнее время Надя всегда гладила живот, когда нервничала. «Интересно, когда я рожу, привычка останется?» – иногда думала она.

– Ну да, ну да. Помнишь, что мы с тобой по этому поводу решили?

– Что он на бабушку похож. Что мне надо было пережить эту ситуацию с бабушкой, обидную. И я нашла мужика, с которым можно ее бесконечно переигрывать. И все равно проиграла. Как-то так.

– Ну да. И ты вроде бы согласилась?

– Ну, доля правды, наверное, в этом есть... Хотя мне трудно судить.

– А я вот был уверен, что ты меня услышала и начала думать в этом направлении, – подмигнул Борис, в деревенской манере протирая тарелку хлебным мякишем. – И уже все давно знаешь.

– И что же я должна была, по-твоему, узнать?

– Ну как что? Все же из детства идет. Откуда вообще берутся наши представления о любви? Мы видим, как родители любят друг друга, как мы любим их, а они – нас. Потом мы перерастаем все это, составляем собственную картину мира. Но иногда так трудно вытравить из себя родительские схемы. А у тебя не было отца, зато была бабушка. Было два определяющих человека, благодаря которым ты пыталась понять, что же такое любовь. Все дело в том, что ты никогда не была главной для самой себя. Ты воспринимала себя как второстепенную героиню, и это грустно, но и забавно тоже.

Надя никогда не чувствовала себя солнцем собственной планетарной системы. Если бы она писала автобиографию, у нее не хватило бы ни сил, ни дерзости отвести себе центральную роль – как бы жалко это ни прозвучало.

Дочь главной героини.

Внучка главной героини.

Лучшая подруга главной героини.

Любовница главного героя, робко примеряющая ампула будущей жены. Ампула трещит по швам, как старое платье. Все же невеста – слишком роковой персонаж. Слишком много читательского внимания, а внимание – даже формальное, вежливое – было для Нади невыносимым, в прицеле чужих глаз она порой чувствовала себя голой.

В детстве ее безусловным солнцем была мама. И так благодатно было греться в его лучах. Таборная яркость маминых нарядов, черный излом бровей и карминная сочность капризных губ, гладкий лоб, дешевые вульгарные бусы и блеск помады – все это казалось завораживающим, как ларец с пиратским кладом. Больше всего на

свете маленькой Наде нравилось сидеть около стены на детском стульчике, расписанным под хохлому, и наблюдать за примой.

В приме не было ни грамма спонтанности. Казалось, каждый ее жест, каждый взгляд выверен с алхимической точностью. Она скользила по квартире в отороченном плюшем атласном халате, морщилась от головной боли, варила себе тридцать третью чашку кофе, курила в форточку, красила ногти на ногах темно-вишневым лаком, а потом дула на них, издали, с остервенением, как трубящий слон. Иногда кружилась по комнате, неслышно напевая что-то джазовое, легкое, как взбитые сливки. Иногда застывала у окна и хмуро смотрела на заснеженный двор.

Надя обожала приму, была самым преданным ее фанатом, самым благодарным из ее зрителей.

Потом место солнца досталось бабушке, потом – Егору, потом эстафетную палочку принял Данила, а она, она сама всегда была где-то на периферии. И это было привычно, как собственное тело. И было странно думать об этом не как о константе.

– Хочешь сказать, – осенило Надю вдруг, – что сначала я выбрала мужчину, похожего на бабушку, а потом – похожего на маму?

Мысль была подобна удару кулака по темечку.

– Умница, – просиял Борис. – Бабушка была жестокой. А мама, как ты сама говорила, ускользящей. Тебе было необходимо сначала пережить любовь как жестокость, а потом любовь как ускользание.

А потом Светлана вынесла шарлотку с грушами, вот тогда Борис это и сказал.

– Ты похожа на медузу. Медузу без красивых ядовитых щупалец. Но теперь у тебя есть шанс обдумать все это и наконец зажить как Надя Сурова. Не как человек-пострадавший-от-жестокости-ближнего. И не как человек-пострадавший-от-ускользания ближнего. А просто как Надя Сурова, сама по себе. Как раз удачное время, чтобы взять паузу, подумать об этом. А потом начать все заново. Как говорят американцы, получить фреш-старт.

– Нет, постой. – У Нади разболелась голова. Она и правда вдруг почувствовала себя колышущимся сливочным желе; думать было трудно. – Наша встреча была случайностью. Никого я специально не искала. Если уж на то пошло, мне просто понравился секс. А потом – понравилось его отношение к жизни. Легкость его...

– Вот именно. И в маме тебя очаровывала легкость. А попытка ее оседлать была почти эротическим переживанием... А то, что ты любила его, – неправда.

– Ну что значит...

– Слушай, – с улыбкой перебил Борис. – Я сейчас тебе одну вещь скажу. Ты не смущайся, я со Светочкой все равно это уже обсуждал... Думаешь, я не заметил, как ты смотрела на меня, тогда, в самом начале?

Надины глаза стали вдруг влажными, а щеки – горячими. Где-то в ее сердцевине проснулся и недовольно заворочался ребенок.

Света собрала тарелки и деликатно ушла в кухню, хотя посуда в этом доме всегда мылась ближе к ночи.

– Да не красней ты так. Как школьница, в самом деле. Я не был бы психологом, если бы не заметил. Вот скажи мне, разве влюбленная женщина, которая ждет ребенка, станет так на чужого мужика смотреть?

– Ну... У меня просто было трудное время. Он не уделял мне внимания. И я... запуталась. Не понимала, чего хочу.

– Золотые слова. Не понимала, чего хочешь, потому что чувствовала, что готова уже прервать эти отношения. А с другой стороны, забеременела так некстати. И так называемая семья – всего лишь твоя модель самозащиты... Все равно рано или поздно ты бы переросла эти отношения.

– Ты так думаешь?.. Да ну, у меня в голове не укладывается... Это все твои дурацкие психологические примочки.

– А тебе и не надо сейчас ничего укладывать. У тебя дела и поважнее есть, – Борис кивнул на ее живот. – Ты просто иногда об этом думай, этого будет достаточно. Пройдет время, все само по себе уложится... И знаешь еще что?

– Опять какую-то гадость скажешь? – слабо улыбнулась она.

– Иногда мне кажется, что за этим я и встретился с тобой взглядом. Тогда, в магазине. Чтобы ты побыстрее поняла. Потому что пусть ты и не была девушкой, пытавшейся прыгнуть с крыши, или ненормальным философом, давшим обет молчания... Зато ты в таких дебрях жила, что любому из них представить страшно. А сейчас у тебя появился шанс.

– Шанс?

– Стать самой собой. Перестать обслуживать собственные комплексы. Зажить настоящей Надей Суровой, новой, счастливой.

Ребенок – это пожизненная тюрьма. Несмываемая красная точка лазерного прицела на твоём сердце.

Надя сидела на больничном подоконнике, меланхолично рассматривала счастливых отцов, которые, прижимая к груди помятые тюльпаны и розы, толпились под окнами, и думала о вещах, которые не сделает уже никогда.

Не совершит затяжной парашютный прыжок.

Не пересечет экватор на легкой, как ореховая скорлупа, парусной шхуне.

Не попробует рыбу фугу.

Не поможет голодающим Сомали.

Не научится водить вертолет.

Все говорят, в последние дни беременности чувствуешь себя особенно наполненной. Надя чувствовала себя приговоренной.

И не то чтобы она когда-либо всерьез мечтала стать парашютисткой или съесть божественно нежную рыбную мякоть, которая, будучи неправильно приготовленной, мгновенно убивает едока. Она как раз предпочитала мясо и с детства боялась высоты. Просто эти многочисленные «никогда» были безнадежнее, чем гробовые гвозди. Они словно усмехались в лицо: какая-то часть твоей жизни навсегда окончена. Это необратимо. Время хаотичного планирования будущего осталось позади. Тебя поставили на полочку, на твой лоб приклеили стикер. Отныне любая твоя спонтанная глупость лишится приставки «милая». Ты несешь полную ответственность за мультипликационного человечка в дурацком кружевном чепчике. Его насморк, его кишечные колики, его дурное настроение, двойки, сбитые коленки, первая выкуренная сигарета и первое любовное разочарование – все это будет отчасти и на твоей совести. Нежный, пахнущий молоком, медом и космосом комочек превратится в небритого замотанного мужика, у которого в глазах – тоска и разочарование, а изо рта несет сигарной горечью и дешевым коньяком. Или в сутулую женщину с твердой линией рта, которая хранит вибратор в прикроватной тумбочке и на этом основании считает себя почти феминисткой. Но для тебя этот давно отделившийся человек все равно навсегда останется крошечным

Буддой в кружевном чепчике. Для которого ты была домом и космосом, который, когда ты клала ладонь на округлившийся живот, с той стороны упирался в нее крошечными пятками.

Надя родила быстро, по-крестьянски. Ничего не успела понять. Отошли воды, она взволнованно попросила обезболивающий укол. Медсестра замешкалась, побежала сверяться с медицинской картой. А в это время пришла другая смена, Надю посмотрели в кресле и увели в родовой зал. Боль была, но недолго. Зато такая боль, какую невозможно представить, не испытав, – Наде казалось, что хладнокровное чудовище разрывает ее изнутри сухими когтистыми лапами. Капля пота щекотно стекла по лицу. Было мокро и страшно. А потом все засуетились вокруг, орали, чтобы она тужилась и что ей невероятно повезло, все идет как по маслу. Надя выпустила на волю сочный звериный крик. Распятая в кресле, как лабораторная лягушка, она выдавливала из себя Чужого. Акушерка с пропитым лицом лежала на ее животе, как на газоне. И вот наконец Надю пощадили, чудовище разжало когтистый кулак, боль прошла – мгновенно, как будто рубильник переключили. Кто-то заплакал у ее ног – хриплым мультипликационным голосом. А потом ей вручили крошечную красную девочку. Положили на грудь. Надя рассеянно улыбалась, не вполне понимая, что происходит.

– Везучая, – хмуро заметила акушерка. – Всего четыре часа – и отмучилась. Вчера тут одна страдальца, двадцать восемь часов подряд. Разорвало ее всю, как воздушный шар.

Надя улыбалась. Она слышала слова, но не понимала их сути.

– Здоровая девочка, восемь-десять по шкале Апгар.

– Назову Ирой, – неожиданно сказала Надя, хотя весь последний месяц смаковала на кончике языка кисло-сладкое имя «Ульяна».

Красную девочку вымыли, завернули в казенные пеленки и унесли. Наде предложили холодный чай с лимоном. От многочасовой жажды у нее треснула губа.

Она устала, как марафонец, но уснуть так и не смогла – сидела на подоконнике, пила ромашковый чай и читала «Приглашение на казнь», не понимая сути. В тот же день пришло молоко – в пульсирующей груди стало жарко, и на нежном хлопке ночной сорочки проступили два жирных пятна. Палатная сестра заметила, что и тут Надя оказалась в немногочисленной стае везунчиков, – другим женщинам

приходилось мучительно сжегиваться, открывать шлюзы для молочных рек, а у Нади все вышло само собою. Красная хныкающая девочка обхватила потемневший сосок, как леденец, и мгновенно успокоилась. «Послушать их, так я везучая, – усмехнулась Надя. – А на самом деле – не жизнь, а черт знает что».

А потом была суета – неделя карусельной суеты. Хорошо, когда из роддома тебя встречает семья. Те, кто ждет тебя, и уже все приготовили – постель, чтобы ты могла отдохнуть, детскую комнату, дом, в котором ты будешь царствовать, осваивать новую роль. Наде же обо всем пришлось заботиться самой.

Впрочем, самым трудным было решение вернуться в бабушкину квартиру. Октябрь обещал быть холодным, и по-прежнему гостеприимная загорянская дача едва ли могла считаться подходящим домом для той, за кого Надя теперь несла пожизненную ответственность. Она наняла похожего на юркого старого таракана ушлого мужичка с «Газелью», и тот перетаскал немногочисленные пожитки в Коньково. Бабушкина сиделка заранее отмыла квартиру. Надя купила смешные шторы с плюшевыми мишками и лимонное дерево – ей казалось, что это символ, что вот так метафорически она пустила корни в новую жизнь.

Бабушка почти не вставала, только насмешливо наблюдала за суетой, поджав серые губы. Иногда, напившись какао, которое ненадолго ее бодрило, она приподнималась на сухом, как старая ветка, локте и говорила что-нибудь вроде: «А ведь я знала, что так и будет. С самого начала. Как только ты переехала сюда девчонкой. Теперь тебе одна удача – ждать, когда я подохну и квартира достанется тебе».

Надя слушала вполуха. Она не высыпалась и никак не могла привыкнуть к материнству. Все валилось из рук – только что отглаженные пеленки, чертовы глупые пустышки, пластмассовые бутылочки, хорошо хоть, не маленькая Ирина. Надя мало отдыхала и много плакала. Она быстро поняла, что выбрала самое неудачное время года для родов. Нет бы ей родить в марте, чтобы часами гулять с коляской по распускающимся городским паркам, вокруг прудов с лебедями и утками, по оттаивающим бульварам. Холодной же осенью не хотелось даже из-под одеяла нос высовывать, не то что одеваться, как капуста, в вышедшие из моды мамины и бабушкины свитера и

тащиться во двор, где ветер и морось, где грязь чавкает под ногами, а небо висит ниже крыш новостроек.

Но она больше не обладала естественным правом на слабость. Все равно приходилось подниматься сначала в половине шестого утра, а потом – в восемь. Кормить девочку, которая даже улыбаться еще не научилась и была больше похожа на гусеничку, чем на настоящего человека. Укутывать ее в шерстяные одеяла и нести на несколько часов на улицу.

Надя словно превратилась в девочкину скорлупу – она больше никому не была интересна как отдельное существо, если с ней кто-то и заговаривал, то речь была обращена к покачивающейся коляске. Но даже при таком раскладе, среди этих «кого-то» не было мужчин. Для мужчин невыспавшаяся Надя с коляской наперевес стала невидимкой.

Через неделю объявился Данила. Ему вдруг стало интересно посмотреть на метаморфозу своего семени, и бодрый его голос сообщил: «Я купил тебе персики и собираюсь приехать. Можешь ее оставить мне на пару часиков, мы отлично погуляем в парке!» Почему-то персики Надю особенно рассмешили – если бы Данила их не упомянул, она, возможно, даже удержалась бы от посылания его в известное каждому русскому человеку лаконичное путешествие. А так – не сдержалась, впрочем, это было почти беззлобно и даже как-то походя. Она думала – перезвонит, и настроилась держать удар. Напрасно – то ли Данила посчитал формальную миссию выполненной, то ли просто испугался, то ли нашел неожиданно уютной роль отвергнутого. Впоследствии выяснилось, что она угадала – Данила полюбил жаловаться на жизнь, целостность которой портила единственная частность – крепостная стена, возведенная бывшей женой (сукой) между ним (благородным отцом) и его крошечной дочерью (невинным пострадавшим ангелом). Говорят, со временем он настолько органично вжился в роль, что ему даже удавалось в нужный момент пустить слезу. Девушкам это нравилось, особенно тем, кто помоложе.

– Я порвала с ним, – торжественно объявила Марианна и, наткнувшись на непонимающий Надин взгляд, сочла нужным уточнить: – С Борисом. Я решила, что так будет лучше для всех.

Наде было доподлинно известно, что это Борис в минувшую субботу пригласил ее ненормальную рыжую подругу в бар на высшем

этаже модного отеля. И там, за неуместным для прощального свидания, но от этого не менее вкусным карпаччо из тунца, объяснил, что в жизни его случился непредсказуемый вираж. Отношения их не то чтобы зашли в тупик (назвать тупиком объединявшую их анисовую сладость было бы пошло), но заблудились в лабиринте, и поскольку Марианна больше похожа на Афродиту, нежели на Ариадну, надо поставить точку, пока не поздно. Пока все еще красиво, пока на их общем столике стоит свеча и тарелка с общим карпаччо, а под ногами, за панорамным окном, шумит золотое море ночного города. Пока она красит ради него ресницы (зеленая тушь вульгарна, но ей – возможно, единственной в мире – к лицу). Пока он не сказал ей ни единого обидного слова, пока она все еще смотрит на него влажно, и влага эта обусловлена не обидой, а страстью. Все это прозвучало красиво – ну или, во всяком случае, так, как нравилось Марианне. Не доев пресловутое карпаччо, они сняли номер в том же отеле – один из лучших номеров, – и это была их последняя общая ночь. Когда Марианна проснулась, его уже не было. Она заказала свежий сок сельдерея и даже всплакнула, сидя с нечищеными зубами у золотистого зеркала, которое отражало ее такой красивой. Всплакнула не от горечи, а от торжественности момента. Все это (кроме утреннего эпизода со слезами перед зеркалом) рассказал ей сам Борис несколькими днями ранее.

Однако Надя, разумеется, притворилась, что ничего не знает. Изобразила доверчивого зрителя, пришедшего на бенефис экспрессивной актрисы, которая тихо, но с чувством рассказывает: «Он так плакал. Пообещал развестись, сказал, что я лучшая женщина его жизни. Но я сказала ему, что так больше продолжаться не может, я уже перегорела. Я уходила, а он плакал, представляешь, Надька?»

Бабушка лежала на боку, скрючившись, как еще не родившийся младенец. И, как младенец, еле слышно причмокивала посеревшим сухим ртом.

Однажды Надя смотрела документальный фильм о каком-то диком племени Амазонии. Они отрубали головы пленникам и по особенной секретной технологии мумифицировали обтянутые мертвой кожей черепа – так, что они усыхали до размеров кулака. Страшные маленькие мертвые лица.

Надя вспомнила об этом, глядя на дремлющую бабушку. У нее была такая же маленькая серая голова. Не больше кулака.

Последняя стадия болезни смягчила бабушкины черты.

Она всю жизнь держала лицо на привязи, как опасного охранного пса. Лицо было как пес – настороженный, мускулистый, жестокий, готовый наброситься и разорвать в клочья. И вдруг цепь лопнула, а пес, вместо того чтобы набрасываться на неосторожных прохожих, потянулся с хрустом и убежал за горизонт, расслабленно повиливая пушистым хвостом.

Бабушкины истонченные злостью губы расслабились, и уголки рта даже подтянулись вверх, изображая подобие улыбки.

Глаза всю жизнь были как сталь, а стали как опустевшие окна дома под снос.

Бабушка спала и во сне – это было видно – о чем-то мечтала. Что-то хорошее ей снилось, светлое.

Иногда Надя, подкравшись и еле дыша (бабушкин сон был чутким, как у собаки, даже когда ее окутал ватный кокон болезни), укладывала маленькую Ирочку рядом, на пропахшие лавандой и аптекой простыни. И бабушка во сне обнимала ребенка рукой, неосознанно, а Надя стояла рядом и плакала, потому что это было самое неожиданное и трогательное, что она видела во всей своей жизни. Куда там первая весна, в которой ей захотелось любить, куда там первая осень, в которой ей захотелось сдохнуть. Нет в целом мире ничего более нежного, чем эта картина: желтая усохшая рука, обнимающая посапывающего ребенка. Так малыш прижимает во сне плюшевого мишку – формально предлагая защиту, но на самом деле испрашивая ее. Надя никогда не видела бабушку такой. Оказалось, что под панцирем она нежнее устрицы, которой случайный любовник однажды угостил Надю во французском кафе, и та нашла, что никогда в жизни не ела ничего вкуснее.

Так хотелось бы закончить книгу тем, что они помирились и приняли друг друга такими, какие они есть, – три женщины семьи Суровых. Но этого не случилось, и бабушка все равно умерла, и последним ее словом, обращенным к Наде, было не «прости», а «неудачница!», привычное и почти не причиняющее боли, как прикосновение отцветшей крапивы. А мама укатила не то в Ярославль, не то в Суздаль и не застала ни смерти, ни похорон. Всем занималась

Надя одна, и это было хуже, чем сама смерть, – и наигранное сочувствие похоронных агентов, и неузнаваемая бабушка в гробу – в белом, по-деревенски повязанном платочке она казалась совсем дряхлой старушкой, и куда подевались ее стать, мощь и стальной ее стержень. И оплывшая сотрудница морга, которая никак не хотела объяснить, почему тело все не выдают, хотя назначено было к девяти утра, а когда Надя сорвалась, обозвала ее истеричкой. И могильщики, которые, работая лопатами, тихо переговаривались о чем-то своем – кажется, о фильме «Аватар». И знакомое лицо на заказанном в спешке кресте. В гробу лежала чужая тихая старушка, а с креста насмешливо смотрела Надина бабушка, привычная, с поджатыми малиновыми губами, и вместе с крестом этим и пришло осознание потери – хотя Надя так до конца и не могла разобраться, любит она бабушку или нет. На кладбище и на импровизированных поминках никого, кроме самой Нади, не было. Она попыталась позвать соседку с пятого этажа – видела однажды, как она разговаривает с бабушкой во дворе. Но та неожиданно отказалась, причем довольно грубо. Надя напекла блинов и выпила водки – две полные рюмки.

А умерла бабушка тихо, во сне. На рассвете Надя привычно прокралась в ее комнату с накормленной Ирой в руках. Сначала ей показалось, что бабушка спит, и она привычно положила дочку рядом. Но пергаментная рука не шелохнулась навстречу молочному младенческому теплу, зато Ира широко открыла глаза, серьезно посмотрела на мать и заплакала. Двухмесячные дети никогда не плачут тихо. Надя потрогала бабушкин лоб и обнаружила, что та давно остыла.

На девятый день объявилась мама – нарядная и с тортом. Все это время она была вне зоны действия Сети и даже не знала о бабушкиной смерти. Надя ей сухо сообщила – та разрыдалась так экспрессивно, что захотелось ее ударить. Но вместо этого она налила маме чай. Съев почти весь торт, мама ушла – ее ждал мужчина, которого надо было нежить, а Надя осталась с дремлющей Ирочкой вдвоем.

Дочь была такой маленькой, что пока не нуждалась даже в игрушках, но Надя смотрела на нее и представляла, как сладко будет подарить ей мир.

Ира улыбалась во сне.

Ее улыбка была как связка разноцветных платков в цилиндре фокусника, как фальшивый козырной туз за пазухой шулера, – одно движение ловких пальцев, и сценарий меняется.

Как солнце в рукаве.

Наде было одиннадцать лет, она последний год жила в Большом Палашевском, но еще не знала об этом. Был ноябрь, и все было плохо, хуже некуда – четвертная тройка по математике и безответная любовь. По утрам Надя плакала – ела привычный бутерброд с сыром и плакала, а однажды написала ручкой на предплечье: «Жизнь – дерьмо!», и в тот день ее чуть из школы не выгнали. Но мама ни о чем не знала, а по утрам она и вовсе спала. Она считала, что для богемы просыпаться раньше полудня – грех. А Наде было обидно. И вот однажды серым слякотным утром она плелась в школу, с ненавистью глядя на окружающий ее серый мир. Серым было все – дома, небо, лужи, лица встречных прохожих. И вдруг она почувствовала, как что-то мягко царапнуло ее руку, чуть ниже локтя, – какой-то посторонний предмет, непонятно как оказавшийся в рукаве ее заношенного пальто. Надя остановилась, стянула промокшие перчатки, просунула озябшие пальцы между ветхой шерстью пальто и посиневшей своей кожей и наконец извлекла на свет небольшой золотой кружок.

Солнце, вырезанное из золотой фольги неуверенной, словно детской рукой. И на нем – надпись:

«Доченька, я тебя люблю!»

И тогда она поняла, что любовь – разная.

Для кого-то – самопожертвование, фонтан донорской крови для жадно сосущего прикормленного вампира. Для кого-то – вулканическая страсть, для кого-то – почти стыдная слабость, для кого-то – мерное пощелкивание кнутом и святая убежденность, что без жестоких ударов любимый не выдержит кросс. Для кого-то – отданное семя. Сначала оно распухнет в неведомую зверушку с короткими тощими ручонками, а потом и в настоящего человека – и будет тот себе расти, как трава сорная, а потом и стариться, как пыльный дворовый пес, вдали от сеятеля, который свое давно отлюбил. Для кого-то – тюрьма с карцером, сырыми подземельями и штатным Великим Инквизитором. Тепло мерцающего очага, электрический картежный азарт, синтетический наркотик нового поколения. Прекрасный сад, в котором зацвели вишни. Серная сауна преисподней с пляшущими

чертями, поделенный надвое хлеб, бескрайний океан с затопленными пиратскими кладами. Старая фотография с полустертым лицом. Для кого-то весь мир к ногам, а для кого-то – солнце в рукаве.

Глупая осенняя креза,
Небо цвета тусклой бирюзы.
Пить прозак, давить на тормоза,
Предвкушать озоновость грозы.
То бодрисься – хренов Кибальчиш,
То молчишь – оборванный Гаврош,
По утрам – натянуто остришь,
Ближе к ночи – в одиночку пьешь.
Чаще водку, реже – каберне,
Так недолго и пойти ко дну.
Впрочем, есть отрада и на дне:
Выть на полноблинную луну.
Шашки, нарды, изредка – петанк.
Завернувшись в утро, как в саронг,
Ты ныряешь в день, как пьяный панк
В мутнолицый медленный Меконг.
И морзянкой твой сердечный стук
Увлечет куда-то на восток,
Твой недуг, как Шива, многорук
И, как он же, грозен и жесток.
Осень канет в черную дыру,
Значит, и тебе давно пора —
Улетаешь сдуру поутру
Редкой птицей в сторону Днепра.
Вся надежда – маленький секрет,
Многослойный, как грибной кокот, —
Серый сброд, тоскливый пьяный бред
Обернутся в праздничный джекпот.
Где-нибудь у Спаса-на-Крови,
Улыбнувшись, но едва-едва, —
Мол, такая штука, се ля ви —
Солнце достаешь из рукава.